

ISSN 0132—2036

ЮНОСТЬ

1982

2



В. СИБИРСКИЙ.

Совместные учения.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

1982
ФЕВРАЛЬ
(321)

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

ЮНОСТЬ ²

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН

Владимир АМЛИНСКИЙ

Борис ВАСИЛЬЕВ

Виталий ГОРЯЕВ

Сергей ЕСИН

Леопольд ЖЕЛЕЗНОВ

Натан ЗЛОТНИКОВ

Римма КАЗАКОВА

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Кайсын КУЛИЕВ

Мария ОЗЕРОВА

Андрей ПОТЕМКИН

Алексей ПЬЯНОВ

(заместитель главного редактора)

Юрий САДОВНИКОВ

(ответственный секретарь)

Владислав ТИТОВ

Алексей ФРОЛОВ

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство «Правда».
Москва

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького, № 32/1.

В НОМЕРЕ:



Проза

Франц ТАУРИН. Высокие берега. Повесть. Окончание	10
Юрий ВЯЗЕМСКИЙ. Дом на углу Дельфинии. Рассказ	41
Аркадий АДАМОВ. Вечерний круг. Повесть	48



Поэзия

Виталий КОРЖИКОВ	9
Владимир КОСТРОВ	38
Николай НОВИКОВ	39
Кайсын КУЛИЕВ	46
Константин ВАНШЕНКИН	47
Владимир АНДРЕЕВ	90
Александр ЗАГОРУЛЬКО	100



Публицистика

Евгений МАНЬКО. Большая родня	3
Георги ТАНЕВ. Что нам дает Сибирь	66
Встреча в декабре	68
Николай ЧЕРКАШИН. Дела походных дней	69
Евгений БОГАТ. Уход	91



Критика

Константин ЩЕРБАКОВ. ...Не проходит бесследно	74
Александр КАМЕНСКИЙ. Под знаком исканий	80
Юрий ОКЛЯНСКИЙ. Начало	83
Лев АННИНСКИЙ. Рампа реальности	85
Родион ЩЕДРИН. Опера в драматическом театре	86



Наука и техника

Аркадий ШИМАНСКИЙ. Ох, уж эти примеси!	101
--	-----



Спорт

Две дуэли в Мериано	106
Геннадий ШВЕЦ. Приглашение к бобслею	108



«Зеленый портфель»

Борис ЛАСКИН. Солнечный удар	110
------------------------------	-----

1—4-я стр.— оформление
обложки А. В. Сальникова.

Макет
Л. К. Зябкиной.

Главный художник
Ю. А. Цишевский.

Художественный редактор
О. С. Коккин.

Технический редактор
А. В. Сальников.

Телефоны:

Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел критики — 251-96-78
Отдел науки и техники — 251-27-57
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел спорта и информации —
251-48-85
Отдел сатиры — 251-05-06
Отдел оформления — 251-73-63

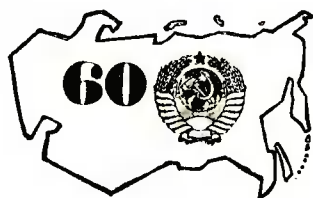
Сдано в набор 10.12.81.
Подп. к печ. 26.01.82.
А 08612.
Формат 84×108¹/₁₆.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,18.
Учетно-изд. л. 17,62.
Тираж 3 215 000 экз.
Изд. № 567.
Заказ № 1730.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125665, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.



**ЕВГЕНИЙ
МАНЬКО**

БОЛЬШАЯ РОДНЯ



Владимир Владимирович Москвин преподавал историю в Московском государственном пединституте. Группа на физическом факультете оказалась одной из самых трудных.

Вначале, в первом семестре, была лишь одна «неподдающаяся» — Таия Кузнецова, но постепенно под ее влиянием стали расхолаживаться другие, и к началу второго курса Владимир Владимирович понял, что на занятиях с ними он попросту «сотрясает воздух». Как ни старался изменить положение — ничего не получалось. По-прежнему в зачетках Тани и ее товарищей рядом с «математическими», «физическими» и прочими пятерками соседствовали едва натянутые им «исторические» тройки.

Что же, пустить дело на самотек и к концу курса равнодушной рукой выставить в матрикулах холодное «удовлетворительно»? Или ужесточить требования? Налево и направо разбрасываться двойками? Но чего добьешься такого рода ужесточениями?

Москвин — историк по призванию. Еще в школьные годы, изучая прошлое России, он старался представить, какими были люди, язык, обычаи в те далекие, подернутые дымкой веков и тысячелетий времена. «Слово о полку Игореве» знал чуть не наизусть, с большим рвением изучал исторические дисциплины и в студенческие годы, много читал помимо того, что рекомендовали преподаватели.

Разрослась семья Москвиных — появились и праправнуки у основателя пролетарской династии, фабричного паренька Ивана Москвина.

Фото Л. Шимановича.

Не пропал у него интерес к истории и после защиты диплома, хотя такая угроза была. Дело в том, что на Сахалине, в поселковой школе, куда Москвин приехал по распределению, ему, историку, предложили занять две вакансии: преподавателя русской литературы и преподавателя английского языка. Родная словесность не пугала — получил солидные знания в вузе, а вот что касается английского... Он занасялся терпением, благо селение стояло на берегу той части Тихого океана, что поименована именно этим словом — залив Терпения, — и поступил в заочный институт иностранных языков.

Сильно загруженный двумя предметами, Москвин тем не менее оставался до мозга костей историком. Вел два школьных кружка — «Прошлое Сахалина» и «Географические открытия русских мореплавателей в Восточной Азии и на американском континенте». Установил связи — личные и по переписке — со знатоками истории Сахалина, в том числе с одним, еще помнившим приезд на остров А. П. Чехова. Да и занятия английским обернулись стороной, о которой, честно говоря, не мечтал: к третьему курсу почувствовал, что ему по плечу труды англоязычных историков в подлиннике, и стал выписывать из Москвы и Ленинграда книги, связанные с эмигрантской деятельностью большевиков в годы до и после первой русской революции — периода, который его особенно интересовал...

И вот через несколько лет этому человеку довелось вести семинарские занятия в группе будущих физиков, не проявляющих к истории интереса. Найти выход из ситуации стало для Москвина делом принципа.

Надо сказать, что именно в ту пору молодой ученый приступил к подготовке кандидатской диссертации. Однажды в архиве ему в руки попался документ — некий приходный ордер. Подобные Москвин уже не раз встречал и раньше — в них фиксировалась доставка в тюрьмы новых узников, участников революционных боев 1905—1907 годов. Однако этот ордер — небольшой листок бумаги, исписанный убористым почерком, — привел его в сильное волнение, он встал и торопливо заходил по комнате, чрезвычайно удивив коллег, занимавшихся за соседними столиками. В документе, вновь и вновь перечитываемом Владимиром Владимировичем, значилось: из Богородской тюрьмы препровожден в Бутырскую «крестьянин деревни Шатрище Спасского уезда Рязанской губернии Иван Степанов Москвин». Перед внуком лежал документ об аресте его деда.

В просторную комнату архива, за окнами которой лежала огромная, полная движения и звуков сегодняшняя Москва, вошли и заговорили в полный голос события далекого 1906-го.

Нет, для диссертации ничего не даст пожелтевший за десятилетия документ. А для «неподающейся» Тани Кузнецовой и ее товарищей?

Владимир Владимирович с нетерпением дожидаясь дня, когда тема семинара позволит ему заговорить о находке. Подготовку к нему провел особенно тщательно. Заблаговременно определял проблематику двух рефератов. Один из них был посвящен нравственно-психологической атмосфере различных слоев русского общества в годы первой революции. Его Москвин поручил подготовить студенту, недавно переведенному из другого вуза и еще не успевшему зарезвиться равнодушием к предмету. Вместе они подобрали произведения художественной литературы, которые помогли бы воссоздать дух человеческих взаимоотношений, настроения людей, колорит эпохи. Выступление новичку удалось, это Владимир Владимирович сразу же почувствовал: студенты слуша-

ли своего нового товарища внимательно. Но когда он закончил, с места, как и ожидал Москвин, поднялась Таня Кузнецова.

— Вроде бы живая, интересная нарисована картина, — снисходительно сказала она. — Но основана-то на чем? На художественных домыслах писателей. Кто по-настоящему знает, о чем думали, мечтали, чем тревожились тогда люди? Нет таких!

— А ссылки писателей на мемуары? — спросил автор реферата.

— Это частности! — не сдавалась Таня. — Из нескольких кусочков смальты не сделаешь мозаики во всю стену.

— Кто сказал, что нет таких людей? — вмешался в спор Москвин. — Все мы, каждый из нас — живые свидетели истории, какой-то части истории родной страны. Вот вы, Таня, в прошлом году вместе со студенческим отрядом были на строительстве животноводческого комплекса в Казахстане. Поколение вашего отца начинало в том краю с первых колышков, с первой борозды среди моря ковыля. Поколение старшего вашего брата собрало первый, невиданный там урожай. А вы с друзьями двигаете дальше развитие целинной экономики. Это же и есть живая история.

— Сравнили, Владимир Владимирович!

— Ну, хорошо... Великая Отечественная война — это уж наверняка сама история... Так ведь? А сколько ее участников живет и трудится рядом с нами! Не отделить дня минувшего от дня нынешнего, тысячами нитей сцеплены они воедино. Жив-здоров мой отец, он еще даже не на пенсии. А ведь он живой свидетель дней Великого Октября. Не так уж давно умер мой дед — участник революции 1905 года. На днях, работая в архиве, я случайно обнаружил несколько документов, связанных с его арестом...

По рядам пошли копии, святые Москвиным с приходного ордера Бутырской тюрьмы, с протокола допроса в камере предварительного заключения царской охранки. Неизвестно, удалось ли ему пробить стену равнодушия, но вместе с другими в эти документы с живым интересом вчитывалась «неподающаяся» Кузнецова.

...В буднях, в каждодневности не часто задумываемся о прошлом, о прожитом. День нынешний и день грядущий волнуют нас больше. Квартал на исходе, а с выполнением плана туго — какие меры предпринять, чтобы выйти из прорыва? Экзаменационная сессия на носу, но еще не прочитана масса литературы. За счет чего выкроить столь необходимые часы? Где достать журнал с шумевшим романом? Как провести отпуск? Да мало ли у человека сегодняшних забот, горестей и радостей, которые затмевают прошлое. И все-таки нет настоящего без прошлого.

Задумайся, какого роду-племени твой сосед по станку — молодой токарь или старик пенсионер, предложивший в сквере сыграть партию в шахматы. Или вот он, преподаватель истории Владимир Владимирович Москвин.

Какие тут корни? Какие глубины?

Совсем мальчишкой впервые ступил его дед в темное пугало Павлово-Посадской мануфактуры, где среди адского стука и скрежета, задыхаясь от мохнатой хлопковой пыли, судорожно металась у станков тысячи ткачей. Станок, к которому поставили мальчика, с первой же минуты показался злым существом, имеющим какие-то коварные, враждебные по отношению к нему замыслы. Недреманным оком, спрятанным где-то в грохочущей глубине, оно, это существо, подстерегало каждое движение его рук, готовое при первой же возможности схватить, из-



мять, истерзать живую плоть. Даже ночью, когда после четырнадцати часов работы он забывался тяжким сном, станок не отпускал от себя, властвовал над телом и мозгом, скрежетал железными зубьями.

Тянулись дни, однообразные, похожие один на другой, точно серые нити полотняной основы. И казалась невероятным счастьем возможность никуда не торопиться в воскресенье, постоять утром у крыльца барака, глядеть, как плывут по бескрайнему небу вольные облака, ощущать на лице теплое дыхание ветра, вдыхать запахи разросшейся под окнами повилики.

Уже в семнадцать лет он был с теми, кто не соглашался жить жалкой рабской жизнью, безропотно служить одичавшим от сытости хозяевам. Сначала была первая маевка на берегу тихого лесного ручья с ласковым именем Иволга. Потом первая — обжигавшая руки — листовка, которую поручили ему тайно распространить в цехе старшие товарищи. И, наконец, — первый удар нагайкой, полученный от озверевших казаков, вызванных владельцами мануфактуры для разгона участников митинга. И глаз, сверкнувший из-под пшеничного чуба, был такой же, как тот, из кошмарных юношеских снов.

В 1904 году Ивана Москвина избрали секретарем фабричной ячейки Российской социал-демократической рабочей партии. А год спустя, во время ноябрьской стачки на Павлово-Посадской мануфактуре, возник Совет рабочих депутатов, и Москвин стал его секретарем. Против казачьей лавины шли теперь не

с голыми руками — создали вооруженную боевую дружину.

Из дней нынешних, когда перед глазами весь последний путь Родины, каждому из нас видны сила и великое значение первой русской революции. Сложнее было видеть это самим ее участникам. После ареста, дожидаясь суда в камере московской Бутырки, Иван Москвин обдумывал с товарищами свои ошибки, жадно ловил проникавшие с воли весточки от товарищей: что думает, что пишет о революции Ленин?

Предварительное заключение непомерно затянулось — лишь в 1909 году состоялся суд. Наказание Москвин отбывал там же — в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы. Уроки революционной практики, полученные в дни всеобщей стачки, подкреплялись уроками революционной теории. Давали их товарищи по камере — профессиональные революционеры. Они же за годы заключения подготовили его к сдаче экзамена на звание учителя. До внуков Ивана Москвина дошла тоненькая тетрадка с ломкими листками, на которых дед записывал свои рассуждения о законе Архимеда, доказывал теорему Пифагора, писал диктант (не без подсказки, если учитывать, что дело происходило в тюрьме): «Самому крепкому

Такой была семья Москвиных в начале двадцатых годов. На снимке первый справа — Иван Степанович.

Фотография из семейного архива Москвиных.

дереву страшна буря, если растет оно в чистом поле, одно. Клонит его ветер, гнет долу, а то и сломать может. А одно к одному, встанут лесом деревья — и ураган им не страшен. Вместе они — сила».

Годы после выхода из тюрьмы были полны испытаний. С выданным охранкой «волчьим билетом» нигде не принимали на работу. В судьбе Москвина приняла участие агент ленинской «Искры» П. Г. Смидович. Его брат, лесничий, устроил Ивана к себе объездчиком. Находясь под надзором полиции, он не прекращал партийной работы — в деревнях, разбросанных по брянским лесам, среди железнодорожников. Потом была война, были окопы, тяжелая контузия, тиф. В 1916-м попал в германский плен, откуда вернулся уже после Октябрьской революции. Впоследствии Иван Москвин рассказывал сыновьям и внукам, как стал избивать его в лагере для военнопленных свой, русский офицер — за то, что не так его поприветствовал, и как защитил от пудового кулака немецкий солдат — рабочий. «Не в крови родство и даже не в языке, — учил дед, — а в том, кем ты живешь на земле — тружеником или кровососом». Всей своей жизнью учил, а не только словами.

Жизнь его часто бывала связана со словом «первый».

Первая сельскохозяйственная коммуна на Брянщине — он был одним из организаторов и работников этого трудового товарищества.

Первая в Брасовской волости машинно-тракторная станция — он был назначен ее директором.

Первые опыты по озеленению Москвы социалистической — это сделалось заботой Ивана Москвина, когда он стал заместителем директора Лесной станции Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

А вот прописка та в Москве была уже второй по счету. Когда Москвина впервые зачислили в жилищно-коммунальный город, как поминте, ограничивался для него несколькими квадратными аршинами Бутырской тюремной камеры, и лишь три-четыре бледные былинки, выросшие в расщелине за оконной решеткой, представляли собой живой мир, какой несколько лет кряду только и мог видеть будущий озеленитель Москвы.

Разрасталась, хорошела, озеленялась Москва — разрастался и семейный корень Москвиных. У Ивана Степановича выросли сыновья Дмитрий, Владимир и Александр, дочери Наталья и Мария. А ко дню нынешнему давно стали взрослыми многочисленные внуки.

Уже есть правнуки. На нескольких страничках нелегко рассказать о житье-бытье такой обширной фамилии, как Москвины. Хорошо, почти все они живут в одном городе, и мне представился случай встретиться со всеми сразу.

Хозяева квартиры подтвердят: никогда их гостиная не видела одновременно столько людей. Мужчины и женщины. Пожилые, среднего возраста и совсем юные. В цивильной одежде, в военной форме. Блондины, брюнеты, русоволосые. Общительные и замкнутые, улыбчивые и сдержанные. Вот они расположились на разнотельных, принесенных от соседей стульях вокруг стола. А еще — в уголке, где стоит телевизор, и вдоль книжных шкафов, и в креслах под фикусом. Сидят, переговариваются вполголоса.

Раздается еще один звонок. В комнату входит запыхавшийся, смущенный, что заставил себя ждать, мужчина.

— Извините, еле такси поймал. И дорога — светофор на светофоре.

— Ничего, Борис, — отвечает хозяин дома, уже знакомый нам преподаватель истории Владимир Владимирович Москвин. — Мы пока тут осваиваемся. Как ни странно, но не все еще знают друг друга, я имею в виду наших младших.

Наконец и последний гость прибыл. А в глазах у хозяйки озабоченность. Большая его родня разбилась на группки, у каждой — свой разговор. О делах житейских, повседневных. В одном углу обсуждают фасон костюма для мальчишек из какой-то повой, особо износостойчивой ткани. В другом — какие сорта яблонь и слив сажать на участке садового кооператива. Под фикусом — разговор о чьем-то внуке, отличившемся в городских легкоатлетических соревнованиях. Стоп, а почему те трое разговаривали о тонкостях часового дела? Вроде бы нет в семье людей такой профессии... И выяснилось: настолько разрослась родня, что не только младшие, но и старшие не все знакомы друг с другом. В двух случаях приглашение было ошибочно передано совсем другим Москвиным, и никого не удивило их появление в этой гостиной.

Озабочен Владимир Владимирович. Как завязать общий разговор, в котором бы «раскрылась» семья?

И тут самовар вносят в комнату, огромный, дедовский — двое крепких парней едва поднимают на стол.

— Вот это да! — восклицает кто-то из самых младших Москвиных, должно быть, видевший такую машину только в кино.

— Как раз на нашу семейку! — подхватывает другой.

А железнодорожный машинист Анатолий Тихонович Москвин, попавший сюда, как и часовщика, случайно, басит:

— Паровоз, право слово, паровоз.

Владимир Владимирович, приложив палец к губам, просит тишины. Прошумел где-то внизу автобус. На Савеловском вокзале гухнула электричка. И в наступившей тишине мы услышали уютный и домашний голос самовара. И теплая волна прокатилась по этой комнате, где собрались Москвины. Когда-то вокруг этого самовара собирались приезжавшие в Москву земляки из Павловского Посада, чтобы навестить узников Бутырки, варили в нем яйца для сообщников собравшихся переждать заключенным. Глядя на этот старый тульский кипятивник, и уже, кажется, не домашним уютом веет от него — историей. Что-то боевое есть в блеске чуть потускневших медных боков, на которых мастера отчеканили медали, какими был отмечен их труд. Может, такие же были на ружьях, с которыми в 1905-м защищалась от царских сапорогов боевая дружина павлово-посадских ткачей...

На помощь Владимиру Владимировичу приходит его одиофамилец, железнодорожный машинист, видно, наиболее общительный из собравшихся. Он самым первым явился сюда и всех последующих встречал вместе с хозяином как свой человек в доме. Жал каждому руку широкой шершавой ладонью, представившись, спрашивал имя-отчество, интересовался, кто чем занимается, где работает. А теперь громко говорит:

— Что я хочу вам сказать, одиофамильцы... Выто — родня, привыкли друг к другу, а я только что с вами познакомился. Один человек всем вам дал жизнь, а кого только среди вас нету. Я, друзья, так подумал: окажись вы вдруг на дальнем острове, в отрыве от всех — не растерялись бы. И дом ностро-

ить, и хлеб испечь, и рубашку сшить можете... И учителя тут, и врачи, и геолог, и генерал... Одним словом, вот что — записывайте меня в свою семью.

— А у вас, Анатолий Тихонович, что, обеднела мастерами родня? — спрашивает Владимир Владимирович.

— Ну нет, милый, — без обиды отвечает машинист, как бы невзначай коснувшись алеющей на лацкане колодочки боевого ордена Красного Знамени. — Не только на вашем самоваре медали. Просто тут не место о том говорить, твоя фамилия собралась, знатная, скажу я тебе, фамилия.

И снова теплая волна прокатилась по комнате, еще больше сблизив этих не так уж часто собирающихся вместе людей. И, пожалуй, не чувство крови, а чувство другого, более высокого свойства заговорило в душе каждого из них, то, которое мы называем чувством семьи единой, товарищества. На родной, просторной нашей земле каждый занят трудом. И если он по-настоящему предан работе, которую избрал, то нет для него дороже чувства сопричастности к делам страны, к делам народа, частицей которого он с гордостью себя осознает.

Высек искру старый машинист. Поддержал, раздул хозяин дома вспыхнувший живой огонек застольного разговора. И пошла воспоминания, размышления, расспросы о том, что известно одним и неизвестно другим.

— А помнишь, Саша, как ты из кузнецов в летчики переквалифицировался?

— Как же! Отец тогда говорил мне: ты и Володя — главные люди на земле. Ну хоть на герб вас бери — один с молотом, другой с серпом. И вдруг такой поворот. А я ему в ответ: кто же молот и серп защищать должен?

— Когда родился у Ивана Степановича первый внук, он собственноручно в одвой из куртия Тимирязевской опытной станции посадил сто лиственниц: сотню лет жить внуку!

— Мы прошлой весной были в той аллее. Яркая такая хвоя на ветках проклюнулась, нежная. А деревья могучие — небо подпирают.

— Помню в 41-м, в ноябре, проснулась ночью — слышу гул артиллерийской канонады. Просто захолоуло все в душе: неужели не выдержим? Но вспомнила, как все в Москве спокойно, как, не жалея сил, все мы работаем на оборону, какой всюду строгий революционный порядок, и говорю сама себе: выстоям! Ты-то еще тогда совсем маленькая была, в круглосуточном заводском детсадишке воспитывалась. А брат твой в шестой класс ходил, все жаловался — неумогу книжки читать, где про еду говорится...

— У нас на факультете в день, когда полетел в космос Юрий Гагарин, были сорваны лекции — говорят, впервые с сотворения института. Все бросились на улицу — в стенах зданий невиданной человеческой радости было тесно, ею надо было делиться с каждым встречным, со всею Москвой. Наша группа надела белые халаты, в которых работали в клинике, и каждый на груди нарисовал краской одну огромную букву. Вместе они составляли слова: «Юрий Гагарин на орбите! Ура первопроходцу Вселенной!» Выстроились шеренгой через всю Пироговку и пошли к центру, на Красную площадь...

Да, было о чем поговорить потомкам Ивана Москвина. Сын его Дмитрий учился в очень трудную для страны пору. Голод, разруха. Страсть к знаниям у

молодого рабочего была велика, преодолел все трудности. Не оставили его ни слабость школьной подготовки, в которую вмещалась одна, а за ней и другая война, ни ежедневная разгрузка угля из вагонов, чем он зарабатывал себе на студенческое пропитание, ни холодная клетушка общежития, где приходилось ютиться. После рабфака был зачислен в Плано-вый институт. Успешно его закончил. Как экономист вел практическую работу, связанную с составлением и осуществлением планов первой пятилетки — в масштабах отдельных предприятий и целых отраслей городского хозяйства. А затем долгие годы вел подготовку специалистов, читая курс политической экономии. У доцента Д. И. Москвина три сына. Старший, Дмитрий, пошел по стопам отца. Препо-дает политэкономии в Институте стали и силавов. Он профессор, доктор наук. Второй сын, Алексей, — врач-травматолог. Сотни и сотни людей ему и его коллегам, с которыми он несет вахту у операционного стола, обязаны здоровьем, а то и самой жизнью. Третий сын Дмитрия Ивановича, Иван, препода-ет математику.

Первые самостоятельные шаги другого сына Ига-на Москвина — Александра — связаны с трудовой сельскохозяйственной коммуной. А в тридцатые годы по путевке комсомола он пошел служить в авиацию. То было время, когда, утвердив в мире свои политические позиции, молодое Советское го-сударство, укрепляя экономику, всемерно заботи-лось об усилении обороноспособности страны. Став боевым пилотом, Александр Иванович связал с авиа-цией всю свою жизнь. От сержанта до генерала — таков его путь. Он не просто генерал — доктор наук, профессор. В последние годы служил в Академии Генерального штаба. И сейчас, уйдя в отставку, про-должает преподавательскую деятельность. Младший сын его — Михаил — окончил Московский автодорож-ный институт, работает по специальности. А стар-ший — Сергей — по образованию транспортник. Ездил с геологическими партиями, но неожиданно-негадано начал писать стихи, поступил на заочное отделение Литературного института имени А. М. Горького. Дочь Галина — инженер-программист.

И еще одна — средняя ветвь семейного древа Мо-сквиных. Ее зачинатель Владимир Иванович Моск-вин был первым трактористом Брасовской сельско-хозяйственной коммуны на Брянщине, первым ди-ректором которой, как мы помним, был его отец. Делом этим овладел на краткосрочных курсах, где всех их учили на единственном имевшемся там трак-торе — стареньком, латанном-перелатанном американ-ском «Фордзоне», который то и дело глох посреди борозды. Зато в коммуне, куда вскоре вернулся с курсов, первая борозда получилась ровной и глубо-кой. Долго бежала по полю сельская молодежь за новеньким, недавно полученным в подарок от пра-вительства трактором, обещавшим большие перемены в труде, в жизни. Урожай той осенью был добрый. Коммуна направила Владимира в Москву, на учебу. Так что несколькими годами позднее старшего бра-та он поступил на тот же рабфак и вслед за тем окончил Плано-вый институт. Учился блестяще. Пото-му-то прямо со студенческой скамьи его рекомендо-вали преподавателем в Институт народного хозяйст-ва имени Г. В. Плеханова. Преподавал политэконо-мию на факультете советской торговли. А через не-сколько лет снова стал студентом — его направлял в Институт красной профессуры — кузницу кадров высшей квалификации для различных отраслей эко-

нсмйки. После учебы возглавил Научно-исследовательский институт плодовоовощных культур. Затем Владимира Ивановича Москвина перевели в Госплан СССР, где он работал в отделе товарооборота. Защитил кандидатскую диссертацию. Перед недавним уходом на пенсию ряд лет был советником по торговле в советском торговом представительстве в ГДР, затем работал в научно-исследовательском институте. У него шестеро детей. Борис — главный редактор журнала «Турист». Юрий — физик, кандидат наук, занят в области самолетостроения. Ольга — преподаватель кафедры общей физики Института народного хозяйства. Уже хорошо нам знакомый Владимир — преподаватель истории партии, декан Московского государственного педагогического института имени Ленина, кандидат наук. Сергей тоже кандидат наук, экономист. Образование инженера получил Михаил. У шестерых этих Владимировичей десять детей. Большинство — еще школьники, но есть и взрослые. Род их занятий: черная металлургия, строительство, издательское дело, медицина.

Я проследил родство лишь по мужской линии, где потомки Ивана Степановича Москвина сохранили его фамилию. А если еще взять всех детей по материнским линиям и жен всех Москвиных...

Однако не количеством разветвлений привлекает нас древо трудовой династии — этой ли, другой ли. Просто подобные примеры дают возможность более ясно ощутить живую связь ушедшего дяди с грядущим, отчетливее познать, насколько тесно все мы связаны, деды, отцы, внуки, в своих делах, мыслях, устремлениях.

И в заключение — нечто вроде эпилога.

В сутолоке больших городов люди давно перестали замечать, какое это великое чудо — радио. А вот когда ты находишься, скажем, в поселке, что лежит в нескольких сотнях километров от Петропавловска-Камчатского, то начинаешь остро ощущать, что радио было, есть и будет в веках великим изобретением человеческого гения. С такими мыслями проснулся я на следующее утро после приезда сюда, когда услышал через открытую форточку доносившийся голос диктора:

— Говорит Москва. Московское время двадцать три часа. Передаем ночной выпуск последних известий.

И пошли сообщения. Пущена еще одна турбина на сибирской ГЭС. Садовод из Чуйской долины вывел новый сорт яблок... И в самом конце выпуска — сообщение, которое, конечно же, заставило весь полуостров затанцевать дыхание:

— В сельской школе Милюковского района Камчатки силами художественной самодеятельности поставлен балет Чайковского «Щелкунчик». Постановку осуществила преподаватель истории Татьяна Сергеевна Кузнецова.

Час спустя я шел в парники, где на термальных водах выращивают клубнику. Асфальтовая дорожка туда — мимо школы. Возле входа в здание интерната в окружении ребятшек стояла молодая учительница.

— Татьяна Сергеевна, а когда следующая репетиция?

— Татьяна Сергеевна, а можно мы в паре с Литвиновой будем готовить роль?

Я поздоровался. Кузнецова молча кивнула в ответ и тут же спросила с веселой язвительностью:

— Скажите, почему приезжающие на Камчатку журналисты на вулканах, в Долине гейзеров, на тер-

мальной электростанции обязательно бывают, а вот в школах — почти никто?

— Постараюсь исправить пробел, допущенный коллегам, — шутливо стал я оправдываться. — И учителя, Татьяна Сергеевна, решение принято до вашей критики: утром слушал московское радио.

Вспыхнули щеки молодой учительницы.

— Дело тут не во мне — просто очень музыкальные у нас дети...

— Вы по образованию историк?.. А как сблизилась с музыкой?

— Музыка — это увлечение. А вообще-то я прежде всего физик, а потом уж историк, — все еще не оправившись от смущения, ответила она.

Разговор наш продолжался в уютном — с пальмой под самым потолком — холле интерната, куда пригласила меня Кузнецова, распровавшись с кружковцами. Тогда-то я и услышал от нее фамилию ее институтского преподавателя Владимира Владимировича Москвина.

Окончив институт (с тройкой по истории), Кузнецова год-другой преподавала физику в Москве. Затем решила повидать белый свет, попросила направить ее на Дальний Восток. Выпал нуть на Камчатку. Здесь она стала работать в школе и заодно поступила в заочный педагогический институт, но теперь уже... на исторический факультет. Видно, есть в том отзвук тоненьких ученических тетрадок, по которым проходил когда-то свои «университеты» дед Таниного институтского преподавателя. Есть! Уверен в том. Поэтому и сообщаю здесь для Т. С. Кузнецовой последнюю новость семьи Москвиных.

У родоначальника династии Ивана Москвина, рабочего-подростка с павлово-посадских окраин, появился еще один праправнук. Недавно он громким голосом возвестил мир о своем появлении на земле. Руслана. Голубоглаз. В честь предка его назвали Иваном.



ВИТАЛИЙ КОРЖИКОВ

☆☆☆

Они мечтали — выйти в паре
В интербригдовской копонне,
И воевать в Гвадапахаре,
А побеждать — твк в Барселоне.
Дружить с девчонкой андалузской
И отличиться под Узской!
А лег нвд ними холмик русский
С одной звездой и общей каской.
Уже давно размыты лица,
Ни славы, ни лихого вида.
Но к ним приходят поклониться
Из Барселоны и Мадрида.
Не видно дат, не ясно имя.
Лежат под синевой бездонной,
И облака идут над ними
Интербригдовской колонной.

☆☆☆

Была отбита у врага
сожженная квартира —
остались стены да рубцы,
да эхо дапных рот.
И стол. Сказали:
здесь лежалв кврта командира.
И посреди была стрела,
зовущая вперед!
О как взволновнно зажглась
моя мальчишья лира!
Как «в битву ринулись полки»,
как «в бой пошеп народ»!
И сердце вскинулось:
туда, за картой командира!
Где в бой бойцов велв стрела,
зовущая: «Вперед!»
Ах, как победнвя веснв
всю землю молодила.
И юность броско позвала
распахнутым: иди!
И жизнь лежала впереди,
как карта командира,
и вся дорога, как стрела,
звенела впереди.
И зазвучало надо мной,
покачиваясь: «Вира!»,
и волны круто понесли
и брали в оборот,
в океан — он волновал,
как карта командира,
и ветер мчапся, как стрела,
зовущая вперед!
Уже полжизни за спиной,
и мир, и больше мира,
потерты ветрами края

и складки — сдоль широт,
а все покоя не дает
мне карта командира,
все светит алая стрела,
зовущая вперед.

Шинель

Дядька с фронта вернулся в тыл,
Сняв шинель, распахнул: — Взгляни-кв,
На! — и сразу меня накрыл
Всей Отечественной Великой.
От суконных ее краев
И от взмахв: «Носи! Наследуй!»
Пахло порохом всех боев,
Наступлением и Победой.
Горсть пробойн была в сукне —
Он лортного с утрв сосватал,
Подогнал по размеру мне,
Все подпалины вглубь запрятал.
И она, изнутри щедра
На волнекия и печачи,
Окрылялв меня с утра,
Не давала уснуть ночами.
Чуть накроюсь с головой —
Весь в пробойнах брезжит воздух.
Будто небо передовой
Над тобой разметнулось в звездах.
И в каком-то бессонном сне
Вся — окопы, холмы, овраги —
Открывалась Европа мне
От Саратова и до Праги...

☆☆☆

Ты помнишь, танк над краем рва
И ту медальку, на которой
Осталось только «За отва...»,
А дальше — стукот темнокорый,
Как мы, юнцы, стоим в кругу,
А ветер над сторовшей пуцей
Трубит «гу-гу, гу-гу, гу-гу!»,
Диктуя слог недостающий!
Трубит, как будто бы в долгу
Пред теми, что назад — ни шагу!
Чтoб знали: до последних «гу», —
Чтo «За отвагу», «За отвагу»!
Он сам ломился сквозь обстреп,
Он сам сползал в огне по траку,
Он сам кричал и сам горел!
Он видел смертную атаку!
Я столько ветров научил
Дружить в пути с бедой земною,
Я столько ветров приручил
По всем морям бродить со мною.
И может, поспе всех дорог
Перед каким ни есть итогом
Какой-нибудь из них бы мог
И мне помочь поспедним слогом.
Но тот! Как надо жарко жить,
Каких же стоит кругосветок,
Его братвнье заслужить,
Его дыханье напоследок.
Чтoбы обстрепая, обожжен
И закален единоборством,
И нам бы вслед однажды он
Мог повторять с таким упорством,
Как там, над рвом, где мы, юнцы,
В сердца отвагу собирапи,
В краю, где падали отцы
И твнки в битвах доторали.



ФРАНЦ ТАУРИН

ВЫСОКИЕ БЕРЕГА

Глава четвертая

ВЕСЕЛЫЙ РАЗГОВОР

1

ПОВЕСТЬ

Рамазан разозлился. Разозлился не на шутку. Куда ни кинь, а поступают с ними бессовестно. Он понимал, что дать ему работу по квалификации сейчас невозможно: цех еще только строится. И поэтому не был в претензии, что поставили землю копать. Хотя могли бы и сейчас найти работу посерьезнее, есть же на строительстве всякие и ремонтные и инструментальные мастерские, где умелые руки очень быгодились. И это было даже не столько лично ему наносимой обидой, сколько очевидным ущербом делу. И тут уж возникало гневное раздражение на нерадивых руководителей, которые серебряным рублем медную копейку достают.

Но и личная обида была. Не позаботившись о жилье для них, сунули в палатки на лесной поляне и успокоились, как бы забыли, что зима на носу. А еще обиднее, что не только не подумали, но и думать не желают — поэтому и стали отфутболивать из одного кабинета в другой, когда Рамазан пришел за пропиской.

Так что все основания были, чтобы рассердиться капитально. А рассердившись, Рамазан всегда веселел от злости. Так уж водится у настоящих мужчин. Еще отец рассказывал: когда в его — отцовы — молодые годы выходили «стенкой» улица на улицу, то самые отчаянные и хлесткие бойцы бросались в гущу схватки всегда с улыбкой на лице.

Докипев до веселой злости, Рамазан готов был выплеснуть ее на любого начальника. Но тут надо было не продешевить. Чтобы не получилось из пушки по воробьям. И еще — ударить надо не растопыркой, а кулаком, то есть всем вместе. Как после профтехучилища. Но тогда Николай Николаевич помог... А теперь? Там они были еще ребятами, а здесь сами с усами. Самим надо идти и добиваться...

Рамазан спросил у Судейкина, кто может решить вопрос с жильем и пропиской.

Степан Семеныч подумал. Пожалуй, только Бычков, кроме него вряд ли кто решит.

— А кто такой Бычков? — спросил Рамазан.

— Заместитель генерального директора по быту.

— Специально такой заместитель имеется? — удивился Рамазан.

— А как же иначе!.. — удивился, в свою очередь, Степан Семеныч.

— Очень замечательно! Теперь ясно, кто виноват! А то начальников много, а позаботиться о рабочих некому.

Рисунки
В. Скрылева.

Окончание. Начало см. в № 1 за 1982 год.

Степан Семеныч попытался было возразить, что забота имеется, просто не хватает жилья, но Рамазан решительно отверг его доводы. Жилья действительно мало, не хватает для всех, а прописка?.. Тут чего не хватает?..

— Чего уж там,— поддержал Сеня Дракохруст.— Скоро белые мухи полетят. Надо идти к начальству, идти и требовать...

— Всем вместе надо идти,— сказал Рамазан.— Мне откажут, тебе откажут, всем не откажут.

— Глядите, ребята, хуже бы не наделать,— усомнился осторожный голос.— Известное дело, не нами сказано: с начальством спорить, что против ветру плевать...

— Чего предлагаешь, Матвей Кузьмич? — строго спросил Сеня Дракохруст.

Матвей Кузьмич, присев у костра на корточки, разжился угольком, завалил его в трубку и, затянувшись пару раз ядреным махорочным дымом, степенно разгладил побуревшие от курева сивые усы:

— А чего я предложу? Я говорю, хуже бы не наделать...

— А куда хуже-то? — резко возразила Полина.— Из палатки, что ли, выгонят?..

Договорились завтра же после работы никому никуда не откалываться, а всей бригадой в полном составе прямо в кабинет к товарищу Бычкову.

2

День у Леонтия Даниловича не заладился с самого утра.

На планерке, как и должно быть, производственники, все, что могли, валили на него, на Бычкова. По его вине не обеспечили доставку обедов на шестой монтажный участок, не завезли мебель и постельное белье в только что построенное общежитие, не нашли подсобников для стройплощадки РИЗа, сорвали своевременный подвоз рабочих на дальние производственные объекты... Это только часть главных его вин, что же касается второстепенных, то им, как говорится, несть числа...

Леонтий Данилович давно уже свыкся с неизбежностью попреков и научился неплохо парировать их, но сегодня этих наскоков было больше обычного, и — что особенно удручало — почти все они были резонными. И Леонтий Данилович подумал, грустно усмехаясь, про себя: завод еще не начал работать, еще не изготовлено не только ни одного автомобиля, но ни одной самой крохотной детали, а к нему, заместителю генерального директора по быту, столько претензий. Сколько же их будет, когда завод пустят?..

Завершая планерку, главный инженер выдал «всем сестрам по серьгам», не остался забытым и заместитель генерального по быту. К наказаниям Леонтий Данилович притерпелся, но в устах главного инженера они были особенно жесткими, царапали душу. Начисто не было у главного инженера добрынькинской вальяжной обходительности.

До своего служебного кабинета Леонтий Данилович добрался далеко не в радужном настроении. Не полегчало и в кабинете. Всякого рода неувязки и неполадки, словно из худого решета, сыпались сегодня на его голову. Чего стоила одна телеграмма от ташкентского «толкача», сообщавшего, что отгрузки овощей и фруктов задерживаются из-за отсутствия вагонов — иными словами, овощи и фрукты поступят позже и наполовину гнилые. Или веселенькое письмецо из главснаба министерства

о том, что часть фондов, выделенных Большому автомобильному на третий квартал, будет реализована только в четвертом квартале... И еще и еще...

И тут доложили, что на прием пришла какая-то рабочая делегация.

Вот именно только ее и не хватало ему сейчас для полноты счастья...

3

Рамазан вошел первым, за ним Сеня Дракохруст и Василий Петреску. Подождали, не пригласит ли присесть большой начальник, но тот молчал, смотрел на них хмуро.

— С обидой пришли, товарищ заместитель генерального директора,— сказал Рамазан, подходя вплотную к столу.

— С обидой?.. — переспросил Леонтий Данилович.— На кого же вы обиделись?

— На вас, товарищ заместитель генерального директора.

Такое необычное начало разговора несколько даже позабавило Леонтия Даниловича.

— Чему обязан? — осведомился он, чуть приметно усмехнувшись.

Но Рамазан вовсе не склонен был переводить разговор в шутивное русло.

— Уже три месяца проработали у вас, жилья не даете, даже прописки городской не имеем,— сказал он строго.

— Не вы одни. С жилплощадью у нас очень трудно,— ответил Леонтий Данилович.

— А нам не трудно на зиму в палатках оставаться? — спросил Сеня Дракохруст.

— Пожалуйста, по одному,— поморщился Леонтий Данилович.

— А мы все про то же,— возразил Сеня Дракохруст и, поглядев на Рамазана, добавил: — Говориты, начальнику легче одного слушать.

— Нам сказали: «Поживите пока в палатках, ближе к рабочему месту. Потом переведем». Когда потом? Уже месяц возят на работу в Новый город, е живем в лесу. И дети тоже. Пришли в отдел кадров, никому до нас дела нет, гоняют из одного кабинета в другой. Не только жилье дать, на прописку бумажку написать не хотят. Очень нам это обидно, товарищ заместитель генерального директора. Потому обидно, за людей не хотят считать.

Всю эту тираду Рамазан выпалил одним духом, не давая времени начальнику хотя бы вставить реплику. Впрочем, Леонтий Данилович и не собирался ему возражать, хорошо понимая, что этот невысокий, ладно сложенный паренек — Рамазан оказался ему значительно моложе своих лет — совершенно прав.

— С пропиской решим немедленно,— ответил он Рамазану,— а с жильем пока ничего твердо обещать не могу.

— Как же это так — «не могу», — снова врезался в разговор Сеня Дракохруст,— прописка в палатке не согреет.

Леонтий Данилович помрачнел и вздохнул. На его щеке уже висели два постановления парткома и один приказ генерального, и все по жилью. А тут еще добавилась эта бригада, о которой он успел позабыть и которую — он это хорошо понимал — надо устраивать в первую очередь.

Вызвал секретаршу, поручил ей отыскать начальника жилстроя и соединить с ним.

— Когда сдаете шестнадцатое общежитие?..
Выслушав ответ, помрачнел еще больше.
Обычно, отвечая просителям, Леонтий Данилович старался сколь возможно смягчать ответ, чтобы не обескураживать вконец человека. Но с этими нельзя было юлить, поэтому признался, что твердого срока назвать сейчас не может.

— Зайдите через неделю.
— Неделя долго, — возразил Рамазан. — Завтра придем.

Когда вышли из здания управления, Сеня Дракохруст сказал Рамазану:

— Не надо было уходить из кабинета, пока не пообещал точно, когда даст жилье.

— Ты на три аршина в землю смотришь, — усмехнулся Рамазан, — только одного не сообразил: не мог он нам сейчас ничего пообещать, хоть за грудки его бери. Вот мы и дали ему сутки сроку, пусть подумает.

Сеня Дракохруст посмотрел на него с хитрецей.
— Считаешь, будет думать?

— Будет, — убежденно сказал Рамазан. — Он не глупее нас, понимает что к чему.

4

Леонтий Данилович Бычков был человек обстоятельный. И будь у него возможность сосредоточиться на просьбе бригады, он бы, безусловно, отыскал какой-нибудь выход. Но обстановка в течение последующих суток сложилась явно не в его пользу, а следовательно, и не в пользу тех, кому он хотел бы помочь.

Вопрос о Рамазановой бригаде затерялся среди прочих.

А в конце второго дня в кабинет заместителя генерального снова вошли те же трое.

— Я просил вас, товарищи, зайти через неделю, — сказал Леонтий Данилович.

— Но мы предупредили вас, что придем сегодня, — вежливо, но твердо возразил Рамазан.

Заместитель генерального директора вспыхнул, однако, взяв себя в руки, сдержался.

— К сожалению, ничего вам сегодня сказать не могу.

Невысокий коновод круто повернулся и пошел из кабинета. Затем Леонтий Данилович услышал четкую команду «Заходи все!», взволнованный возглас секретарши, и тут же шумной толпой ввалились, заполнив кабинет, человек тридцать.

— Товарищи! Товарищи!.. — восклицала растерянная секретарша на пороге кабинета.

Пока Леонтий Данилович обдумывал, какими словами урезонить самоуправцев, у стола снова возник Рамазан.

— Пока не скажете, когда дадите жилье, из кабинета не уйдем! — предупредил он Леонтия Даниловича. Обернулся к своим товарищам искомандовал: — Садись, ребята! Кто где стоит.

Леонтий Данилович не то чтобы растерялся, но стал в тупик. Можно было, конечно, обернуть дело скандалом. Времена стихийного бунтарства давно миновали. Хотя в любом случае — Леонтий Данилович это отлично понимал — скандальный оборот не обошелся бы и ему даром. Но дело было даже не в предусмотрительной осторожности. Леонтий Данилович понимал, что только крайняя нужда вынудила этого парня — Рамазана — ему сразу понравилась — подбить своих товарищей на такой вызываю-

щий протест. Короче, он отлично понимал, что требования этих людей справедливы.

Но как успокоить их?.. Уговорить, солгать, пообещать?..

Не позволяло чувство собственного достоинства. Да и люди эти, и так доведенные до крайности, не заслуживали того, чтобы водить их за нос. Нет, тут надо было действительно решать...

— На каком объекте работает сейчас бригада? — спросил Леонтий Данилович.

— Детский сад, — ответил Рамазан.

— Не горит... — произнес про себя Леонтий Данилович и приказал секретарше немедленно соединить его с прорабом пятого стройучастка.

— Забираю у тебя бригаду Судейкина, — сказал Леонтий Данилович прорабу.

По-видимому, прораб кричал так громко, что Леонтий Данилович отвел руку с трубкой подальше от уха.

— Все понял, все!.. — повысил голос Леонтий Данилович, обрывая вылетающий из трубки рокот. — Завтра еще отработают у тебя, и передавай всю бригаду в жилстрой... Так надо.

Потом велел соединить его с начальником жилстроя.

— Когда ты обещал мне сдать шестнадцатое общежитие?.. Не годится. Долго. Через десять дней!.. Так надо... Перебрасываю бригаду Судейкина. Будут работать как черти. Им жить в этом общежитии. Понял? — Положил трубку и обратился к не спускавшим с него глаз просителям: — И вы все поняли. Десять дней. Быстрее закончите отделку, быстрее вселитесь. Вопросы есть?

— Все понятно, — сказал Рамазан.

Но осторожный Матвей Кузьмич не сдержался, чтобы не спросить начальника:

— А без обману?

На него дружно зашикали, и Леонтию Даниловичу не пришлось тратить слов.

5

На следующий день после того, как бригаду Судейкина перевели на отделочные работы в шестнадцатое общежитие, там побывал первый секретарь Высокобережного горкома Кашаф Галимзянович Хакимов.

У него была приметная фигура — высокий, широкоплечий, густая шапка темных кудрей, и его узнавали еще издали.

— Никак не могу незаметно приблизиться к объекту, — шутиливо сокрушался он. — Куда ни заеду, все на месте, и кругом полный порядок.

— У нас всегда полный порядок, Кашаф Галимзянович, — отвечали ему.

— Знаем мы вас, знаем, — посмеивался он в ответ.

В сопровождении прораба и бригадира Кашаф Галимзянович прошел по всем этажам здания. Спросил, когда закончат отделочные работы.

— Приказано за десять дней, — ответил прораб без особого энтузиазма.

— Как приказано, это я знаю, — сказал Кашаф Галимзянович. — Я спрашиваю, когда закончите.

Прораб замешкался с ответом.

И на стройке и в городе знали, что секретарь горкома не жаловал обещалкиных. Он их просто не

переносил и считал самыми последними людьми. Любимым его присловьем было: «Не давши слова — крепишься, а коли дал слово — держись!» Иногда добавлял: «Это правило должно стать привычкой». Никто не мог припомнить случая, чтобы Хакимов не сдержал слово. Так же не могли припомнить, чтобы спустил нарушившему свое обещание.

Прораб обо всем этом знает. Страшновато ответить, что управится в отведенный ему срок. Не легче и сознаться, что не управится. Сразу последовал бы вопрос: «Почему согласились, если срок нереальный?»

Словом, прораб понял, что нет иного выхода, как подтвердить заданный ему срок, а там уж — кровь из носу — обеспечить его выполнение.

Так и ответил:

— Закончим в срок.

— Хорошо, — поблагодарил его Кашаф Галимзянович. — Моя помощь требуется?

— Требуется, — спохватился прораб. — Раствором плохо обеспечивают. Каждый день простаиваем.

— Что же молчите, товарищ Карпенко? — упрекнул Кашаф Галимзянович. — Не каждый день секретарь горкома на вашем участке. — Вынул из нагрудного кармана записную книжечку, сделал в ней пометку. — С раствором вас задерживать не будут.

Прораб поблагодарил и еще раз повторил, что если будет порядок с подачей раствора, то бригада не подведет.

Но Кашаф Галимзянович еще не собирался уходить.

— Где у вас тут работает Рамазан Ахметшин? — спросил он прораба.

Когда прораб представил Рамазана, Кашаф Галимзянович, казалось, был несколько удивлен его несolidностью, но постарался виду не подать. Подошел и протянул руку.

— Здравствуйте, товарищ Ахметшин!

Рамазан вытер испачканную раствором руку о полу спецовки и ответил на рукопожатие.

— Коммунист? — спросил секретарь горкома.

— Комсомолец... Засиделся малость, — ответил Рамазан. — Уже двадцать восьмой год пошел.

Кашаф Галимзянович улыбнулся одними глазами, но даже этих беглых огоньков, промелькнувших в его взгляде, достаточно было, чтобы строгое смуглое лицо его словно потеплело.

— Завидный возраст! Партийного стажа своего немного жаль, а то бы сменялся, — пошутил он. А продолжал уже серьезно: — Слышал я о вашем визите к товарищу Бычкову. Очень правильно поступили. А то многие мирятся с несправедливостью или в крайнем случае в горком идут с жалобой. А вы сами сумели довести дело до конца. Будьте и впредь так же настойчивы, если уверены в своей правоте. — И, уже попрощавшись, вернулся и добавил, кивая на прораба: — Кстати, бригадир ваш мне твердо пообещал, что через десять дней дом будет готов. Так что недолго вам бедовать в палатках.

Сказал достаточно громко, с расчетом, чтобы всем работавшим поблизости было слышно.

Сеня Дракохруст, проводив взглядом секретаря горкома, ткнул напарника в бок:

— Слышал, Матвей Кузьмич? Усек, что начальник сказал? Через десять дней портянки будешь на батарее сушить.

— Сказать оно, конечно, недолго, — флегматично отозвался Матвей Кузьмич.

— Не-ет, — протянул Сеня Дракохруст. — Ты, однако, плохо разглядел этого мужика. У этого не сорвется...

В тот же день у Кашафа Галимзяновича был еще один разговор по поводу бригадного визита к товарищу Бычкову. На сей раз с самим заместителем по быту.

— Хочу вас похвалить за то, что быстро и четко решили вопрос с жильем для бригады Судейкина, — сказал секретарь горкома Бычкову.

— А я слышал, вы Ахметшина хвалили, — заметил Леонтий Данилович.

Кашаф Галимзянович улыбнулся.

— И его тоже. Вы оба меня порадовали. Оба оказались на уровне.

Глава пятая

МЕТЕЛЬ В ЦЕХУ

1

Начальник еще не построенного цеха нестандартного оборудования Валентин Александрович Подкорытов изменил сегодня своему правилу, которого дотоле придерживался железно. Правило это он формулировал так: «Не спорь с начальством на людях». По себе знал, как неприятно, когда подчиненный возражает тебе при свидетелях; особенно, если возражает обоснованно. Поэтому, если по обстоятельствам дела нельзя было не возразить, он делал это только с глазу на глаз. И тогда уже позволял себе высказать все, что думал.

И на сегодняшнем совещании у главного инженера он пытался поступить так же.

Главный инженер сообщил, что импортное оборудование для первой станочной линии прибыло точно в срок. Подошел к висевшему на стене двухметровому «Графику монтажных работ» и, сверившись с ним, сказал Подкорытову:

— Монтаж первой станочной линии вы должны начать во второй декаде ноября. Станки пришли. Приступайте к монтажу.

Главный инженер, конечно, отлично знал, что корпус РИЗа — а все цеха ремонтно-инструментального завода размещались в одной огромной коробке — еще не закончен, здание не подвели под крышу, и наивно было разъяснять ему, что импортное оборудование нельзя устанавливать под открытым небом.

Поэтому Подкорытов ответил, что останется после совещания для того, чтобы уточнить сроки.

Главный инженер посмотрел на начальника цеха со снисходительным недоумением.

— Уточнять нечего. В графике сроки указаны точно: вторая декада ноября — начало монтажа, третья декада декабря — завершение монтажа. Следовательно, с начала января первая станочная линия должна работать!

И вот тут Подкорытов не сдержался и поступил своим железным правилом.

— Прежде необходимо создать надлежащие условия для монтажных работ,— возразил он главному инженеру.

— Глубокоуважаемый Валентин Александрович! — с убийственной вежливостью произнес главный инженер. — Я всегда полагал, что именно для того и предусмотрена в штатном расписании должность начальника цеха, чтобы было кому позаботиться о надлежащих условиях. Вам это никогда не приходило в голову?

Отступать было некуда, и Подкорытову пришлось поднять брошенную перчатку.

— Представьте себе, Ярослав Иванович, не приходило. У меня давно и, видимо, навсегда укоренилась мысль, что на каждом предприятии обязательно есть руководители, которым... и карты в руки.

Но главного инженера не так просто было вышибить из седла. К тому же выступали они, как говорится, в разных весовых категориях.

— Все правильно,— невозмутимо подтвердил главный инженер. — Именно как руководитель, который за все в ответе, я и приказываю вам приступить к монтажу оборудования немедленно, то есть в соответствии с графиком, утвержденным на коллегии министерства. А о том, что станки, тем более импортные, нельзя устанавливать под открытым небом, вы, я уверен, и сами догадываетесь.

Вот так только и получается, когда пренебрегаешь умным правилом.

Вернувшись в свою конторку-временку, выгороженную в уже подведенном под крышу углу огромного корпуса, Валентин Александрович первым делом поручил своему заместителю немедленно отправиться в отдел кадров и выяснить, сколько рабочих, числящихся за РИЗом, работает сейчас в различных стройуправлениях, и составить списки с точным указанием основной специальности каждого и специальности вновь обретенной, строительной.

Потом потребовал чертежи главного производственного корпуса и часа полтора просидел за расчетами. Наконец вызвал снабженца и приказал тому в трехдневный срок изыскать и доставить в цех пять тысяч квадратных метров плотной полиэтиленовой пленки.

— Помилуйте! Где же я достану столько пленки?! — спросил потрясенный снабженец.

— Не знаю,— ответил Валентин Александрович.

— Это невозможно! — вскричал снабженец в отчаянии.

Но разжалобить строгого руководителя не удалось. В ответ на его стоны начальник цеха посоветовал:

— В старом городке у каждой домохозяйки парники затянуты пленкой. Именно такой, какая нам нужна. Проконсультируйтесь, где они достают.

— Там слезы, а вы мне приказали достать пять тысяч,— возразил снабженец.

— У нас хозяйство побольше,— заметил Валентин Александрович. — И запишите еще двадцать кубов теса кровельного, дюжину совковых лопат и... пятьдесят березовых метел.

На другой день заместитель передал Валентину Александровичу списки рабочих, а к исходу третьего дня снабженец доложил, что все заказанное ему, в том числе и сверхдефицитная полиэтиленовая пленка, получено и доставлено в цех.

И Валентин Александрович подумал, что в конечном счете главный инженер оказался прав.

Здание, именуемое шестнадцатым общежитием, было обычным пятиэтажным жилым домом. В каждом из четырех подъездов по двадцать квартир; половина из них трехкомнатных, другая — двухкомнатных. Четвертый и пятый этажи в первом подъезде отвели для рабочих бригады Судейкина. Одну двухкомнатную квартиру, по общему согласию, выделили семьям Ахметшиных и Ветлугиных. В остальных квартирах разместили холостяков — по два человека в комнате.

После стылой палатки отдельная квартира с кухней и прочими удобствами показалась раем. Женщины каждый день поминали добрым словом хорошего начальника — Леонтия Даниловича.

— Рамазан хвалите,— сказал им как-то Сергей. — Кабы не он, и не приснилась бы вам такая квартира.

— Уж будто ты начальников на своем веку не видывал,— возразила мужу Полина. — Другому хоть кол на голове теши, он не почешется.

А Зина добавила:

— Рамазан, конечно, постарался... Так ведь и за себя хлопотал...

Хозяйство решили вести сообща.

Полина предложила:

— Расход пополам. Нас, правда, трое, зато стряпня и уборка на мне.

Но Зина не согласилась:

— Как же так — пополам? У нас две зарплаты, а у вас одна. А ребенка что считать, много он съест... Да скоро и я свою привезу.

Окончательно определили так: весь расход на питание делить на пять частей. Три доли с Ахметшиных, остальные две — с Ветлугиных.

— Ну, слава богу, обе довольны,— сказал Сергей Рамазану, когда они остались вдвоем, и, помолчав немного, добавил: — Это ведь не часто встречается, чтобы две бабы враз договорились...

— Полина у тебя женщина очень даже разумная,— с уважением отозвался Рамазан.

— И у тебя Зина тоже.

— Про это я давно знаю.

После того, как завершились отделочные работы в шестнадцатом общежитии, бригаду Судейкина снова перебросили на десада. Там и трудились до начала холодов. Уже почти полгода мотались по разным подсобным работам.

Сергей Ветлугин не раз говорил Рамазану:

— Забудем, однако, напроць, с которого конца резец затачивают.

На что Рамазан отвечал неизменно:

— Не забудем. Мы с тобой токаря на всю жизнь. Шутки шутками, а стосковались по станку.

Наконец вскоре после октябрьских праздников в бригаду появился коротенький толстячок в кургузой цыгейковой дошке и переписал всех поименно. При этом дотошно выяснял, какая у кого специальность.

— Самая что ни на есть ведущая — токарь! — гордо ответил Сергей Ветлугин.

— Очень хорошая специальность, это ваша основная, а здесь, на нашей стройке, какую еще приобрели? — поинтересовался толстячок.

— А это зачем? — насторожился Сергей Ветлугин.

— Приказано записать все в точности.

— Кем приказано?

— Начальником цеха.

Сергей Ветлугин насупился и стал перечислять:

— Землю копать, штукатурить и малярить. А самая главная специальность — поднять и бросить.

— Так и запишем: мастер на все руки,—сказал толстячок и подошел со своей тетрадкой к Рамазану. Узнав, что Рамазан может и плотничать, толстячок заметно обрадовался и сказал:

— Вот это именно то, что требуется.

— Зачем эта перепись?—спросил Рамазан.

— Для порядка,—ответил толстячок.—Должны же мы знать свои кадры.

— А вы, простите, кто такой?—полюбопытствовал Рамазан.

— Помощник начальника цеха нестандартного оборудования ремонтно-инструментального завода, сокращенно РИЗ,—отрекомендовался толстячок.

— Не нравится мне это дело,—сказал Сергей Ветлугин Рамазану, когда они возвращались с работы.

— Что тебе не нравится?—спросил Рамазан, хотя сразу понял, о чем речь, потому что и сам раздумывал об этом же.

— На кой черт ему моя новая специальность?—провокал Сергей.

— А по-моему, это хороший признак,—возразил Рамазан.

— Чего хорошего?

— А то хорошего, что, по всему видно, собираются нас в цех переводить.

— С чего ты взял?

— Записывал-то помощник начальника цеха.

— Все равно к станку не поставят,—сказал, пройдя несколько шагов, Сергей Ветлугин.

— Это понятно. Пока еще некуда и ставить.

— Чего же нам делать в цехе?

— Я так думаю,—решил Рамазан,—что нам придется станки эти устанавливать.

Сергей Ветлугин покачал головой.

— Не обучены...

— Найдут работу, которую сумеем сделать.

— Опять, значит, поднять и бросить...

— Вот чудак,—усмехнулся Рамазан.—Хотя бы поднять и бросить. Так это в цехе! Тут полный наш интерес. Чем быстрее кончится монтаж, тем раньше поставят нас к станку.

— У тебя все как по-писаному.

— А как может быть иначе?

— Как иначе?.. Всяко может быть иначе...—Сергей со злостью выговорил последнее слово и хмуро добавил:—Рамазан будет станок устанавливать, а другой на нем работать. Вот и будет иначе!

Рамазан остановился и с укором глянул на товарища.

— Совсем голову опустил. Сам себя уважать перестал... Да где они таких токарей возьмут, как Сергей и Рамазан?

Сергей только рукой махнул.

— Знают они, какие мы токаря...

— Сейчас не знают, потом узнают.

— Откуда им узнать-то?..

— Ай-яй-яй!...—И Рамазан снова с укором покачал головой.—Соображай понемножку: им без невозможно цех пустить. Ты вспомни, что говорили нам в отделе кадров насчет цеха нестандартного оборудования. Там работа особая: самой высокой квалификации. Они сами нас искать станут. Десять токарей переберут, пока одного такого найдут, как Сергей Ветлугин!.. Да и искать-то начнут с тебя и с меня. У нас пятый разряд. Понял, наконец?

У этого удивительного цеха было только две стены, состыкованные под прямым углом. Вместо остальных двух свисала полупрозрачная полиэтиленовая пленка. Она же служила и потолком и крышей. Иначе говоря, в огромной каменной коробке еще недостроенного корпуса РИЗа зыбкой пленкой был выгорожен угол. Впрочем, угол весьма внушительных размеров, длиной примерно в сто и шириной в шестьдесят метров, то есть габаритов вполне достаточных для нормального футбольного поля. Всего же в этой гигантской каменной коробке свободно разместилось бы двадцать футбольных полей, если расположить их вплотную друг к другу. Кровли еще не было, и только опорные балки гигантских мостовых кранов обозначали высоту здания. И хотя высота была огромной, но из-за циклопических размеров корпус казался приземистым.

После долгого осеннего ненастья установилась наконец ясная зимняя погода. Солнце светило щедро, а так как корпус РИЗа, располагаясь на отшибе от остальных строящихся заводов, стоял посреди заснеженного поля, то ни один солнечный лучик не терялся. И когда Рамазан, приподняв полу клапана в зыбкой полиэтиленовой стене, шагнул в свой будущий цех, первым его ощущением было, что он из ослепительно-яркого дня попал сразу в сумеречный вечер. Здесь собралась почти вся бывшая бригада Судейкина. Встретил их тот самый коротенький толстячок, который допытывался о профессиях каждого.

— Кто может плотничать, выходи направо!—скомандовал толстячок, сделав размашистый жест коротенькой ручкой.

Направо отодвинулось немногим более десятка. Толстячок присоединил к ним еще примерно столько же из тех, кто стоял ближе к нему, и сказал:

— Будете работать в моей бригаде. А вы все,—обратился он к остальным,—идите вон в тот угол. Видите, стоит человек в большой шапке? Это начальник снабжения, будете работать у него.

Толстячок пересчитал свою команду, подозвал к себе Василия Петреску и еще одного такого же рослого парня и распорядился:

— Пойдите к начальнику снабжения, получите у него двадцать метел и принесите сюда.

— Косить приходилось?—обратился толстячок к своей команде, после того, как метлы были принесены.

Почти все ответили, что приходилось.

— Разбирай метлы, разомкнись на полтора метра!—скомандовал толстячок.—Двигаться уступом, как на косьбе. За первый проход выметем левую половину цеха, вторым заходом правую. Начали!

Метельщики двинулись строем вдоль по цеху.

— А вы,—сказал толстячок четверым оставшимся, которым не хватило метел,—идите за носилками и совковыми лопатами. Нужно вынести мусор из цеха.

Сергей Ветлугин, вроде загребного задававший ритм всей шеренге, махал метлой, словно косой на лугу, вымещая на ни в чем не повинном инструменте всю свою досаду.

— Вот еще одну профессию освоим. Если с завода выгонят, в дворники можно податься,—сказал он Рамазану, когда, вскинув метлы на плечи, возвращались к началу следующего «прокоса».

— Ну чего ты кипятишься?—успокаивал Рамазан товарища.—Все идет как надо. Полы метем — значит, полы уже есть. Подметем цех, начнем фунда-

менты ладить, а потом устанавливать станки. Недолго, уж осталось ждать... Теперь-то чего психовать? Сергей обозлился.

— Знаешь, у тебя терпение, как у ишака. Не каждому такое досталось.

— Лучше, когда его слишком много, чем когда его слишком мало,— спокойно ответил Рамазан.

— Недолго осталось!..— все еще не мог успокоиться Сергей.— Еще и крышу над головой не приладили. Под пленкой будем работать?

— Будем,— твердо сказал Рамазан.— Сам знаешь, что будем. Нам не досталось, а в войну целые заводы так работали...

— Сейчас не война...

— Ты прав: сейчас не война. И вот потому-то нам гораздо легче.

4

Весь первый день ушел на уборку цеха. А на второй уже потребовалось плотницкое мастерство Рамазана и его товарищей. Им поручили изготавливать опалубку для фундаментов.

За дело принялись со старанием, стосковались по настоящей работе. Конечно, топором махать — не за станком стоять, но все же работа не ломовая, а мастеровая. Потому и принялись за нее весело.

Помощник начальника цеха Голышкин, командовавший плотниками, разбил свой отряд на небольшие группы. В каждой по четыре человека: плотник, старший в группе, его подручный и еще двое подсобников.

Каждой группе задано изготовить опалубку для отливки бетонного фундамента. И назначен срок: двое суток.

— Временем я вас не ограничиваю,— сказал великодушно Голышкин,— не хватит дня, можно ночь прихватить. Но договоримся твердо. Сегодня у нас вторник. Через два дня, значит, в четверг, в это же время,— толстячок отвернул рукав стеганки и взглянул на часы,— значит, в одиннадцать ноль-ноль принимаю работу. Вопросы есть?

— Есть,— сказал Сеня Дракохруст.— Все фундаменты разные или есть одинаковые?

Голышкин перебрал чертежи.

— Первый и четвертый одинаковые, остальные разные.

Когда чертежи разобрали по группам, выяснилось, что одинаковые в группах Рамазана и Сени Дракохруста.

Вот тогда Сеня Дракохруст и заявил:

— Вызываю на соревнование. Наша бригада берет обязательство сдать работу досрочно, к восьми ноль-ноль. Ну как, Рамазан? Принимаешь вызов?

— Вызов принимаем,— сказал Рамазан, обменявшись взглядами со своими подручными.— Обязуемся сдать работу в срок...

— Силен, паря!..— хохотнул Сеня Дракохруст.

Но Рамазан, не удостоив его возражением, продолжал спокойно:

— ...сдать в срок, на оценку не ниже «хорошо».

— Заслужило?..— подковырнул Сеня Дракохруст.

Рамазан беззлобно усмехнулся.

— Если думаешь, Семен, что наше обязательство легче выполнить, очень даже ошибаешься.

— Нет, ты ловкач,— заметил Сеня Дракохруст.— Наше обязательство конкретное: вместо одиннадцати в восемь ноль-ноль... А твое как определить..

Ни на взгляд, ни на ощупь...— Рамазан не стал спорить.

— Дело покажет.

Все работали споро, но особенно ретиво две группы, Рамазана Ахметшина и Семена Дракохруста. В среду вечером, закончив смену, ушли все, кроме плотницких бригад. Группа Рамазана работала до десяти.

— Пошли, что ли,— сказал наконец Рамазан Семену Дракохрусту.

Только их две бригады и остались в выгороженном пленкой углу цеха.

Сеня Дракохруст помотал кудлатой головой.

— Вкальваем до победного. Закончим — уйдем.

— Тебе завтра дня не будет?..— спросил Рамазан.

— Завтрашний мне не нужен. Сдаем к восьми ноль-ноль,— возразил Сеня Дракохруст.

— Зря ты это задумал.— Рамазан попытался урезонить своего не в меру ретивого соперника.— Ночью работать хуже, чем днем. Усталые все, да еще при таком освещении — одна лампочка на весь цех... Тут, дружище, как раз сгодится пословица: тише едешь, дальше будешь...

— ...от места, куда едешь,— закончил Сеня Дракохруст.

— Смотри, друг, ты сам большой, тебе виднее,— сказал Рамазан.

Когда утром Рамазан и Сергей пришли в цех, их встретил встрепанный, но сияющий Сеня Дракохруст.

— Обязательство выполнено досрочно! — лихо и весело отрапортовал он.

— Поздравляю! — сказал Рамазан.

— Нет, ты погляди,— потребовал Сеня Дракохруст.— Не вороти нос в сторону.

Рамазан подошел к изготовленной опалубке и сразу увидел ошибку Сени Дракохруста.

Только зубами скрипнул в досаде на себя. Ведь так и предполагал: не заметит в спешке Семен, что расстояние между отверстиями для болтов правых и левых не одинаковое... Ведь хотел предупредить, но когда отмахнулся Семен от его предостережения, рассердился и не сказал... Нет, не умышленно, а просто отвлекся мыслью в сторону и забыл предупредить. А теперь почти половина проделанной работы насмарку...

— Эх, Сеня, Сеня!..

Достал из кармана чертеж и показал Семену, что расстояние между правыми болтами миллиметров на пятьдесят больше, нежели между левыми.

— Подумаешь...— отмахнулся Сеня Дракохруст, хотя и видно было, что он серьезно встревожен.— Подумаешь,— повторил он,— кто заметит такую малость? Велико дело, вошь в пироге!..

— Вот как раз, если заметят, это еще полбеды,— возразил Рамазан.— А вот если не заметят, это уже полная беда. Как станки крепить?

— Продаешь!..— бросил Сеня Дракохруст с презрительной усмешкой.

— Никак нельзя,— серьезно и спокойно сказал Рамазан.— Сейчас переделаем, выручим. Если все вместе дружно возьмемся, успеем к сроку.

Сеня Дракохруст сперва чуть было не взвился от возмущения, но вовремя опаматовался и только рукой махнул с досады...

— Да...— протянул он.— Не вышло у нас настоящего соревнования...

— Почему не вышло? — удивился Рамазан.— В том и смысл соревнования, чтобы все,— он подчеркнул это слово,— чтобы все до одного выполняли свое задание. А иначе какой от него прок.



Работали, не разгибаясь, и успели к сроку. Когда пошли докладывать Голышкину, Семен сказал Рамазану:

— Все-таки не подумавши они это затеяли.

— Что затеяли?

— На такую аккуратную работу надо было настоящих плотников ставить. А то додумались: эту тонкую работу поручили нам.

— Потому и поручили нам, что тонкая.

— Не усек...

— Ай-я-яй,— Рамазан покачал головой,— такой умный парень и такой недогадливый. Кто же больше нас заинтересован в том, чтобы станки быстрее пустить?..

Помощник начальника цеха принял у всех бригаду работу, сверился с часами и сказал:

— Все уложились в срок. Молодцы! А я растяпа. Надо было не к одиннадцати назначить срок, а к началу смены. Сейчас бы уже бетон заливали.

5

В этот вечер засиделись дольше обычного. Полина уложила мальчонку, и все четверо собрались на кухне вокруг крохотного столика и с увлечением играли в подкидного.

Рамазану надоело прежде всех.

— Нет, не идет у меня сегодня игра,— признался он.— Не тем голова забита. Да и время уже позднее, хватит на сегодня...

— Чем же у тебя голова забита? — спросил Сергей, когда они вышли покурить на лестничную площадку.

Рамазан улыбнулся.

— Тем же, чем и у тебя.

— У меня нет привычки забивать свою голову.

— Не притворяйся. Ты тоже, как и я, считаешь дни, когда мы наконец встанем к станку.

— Это так,— согласился Сергей.— Но при чем тут моя голова? От нее в этом деле ничего не зависит. Как и от твоей.

— К сожалению, ты прав,— вынужден был согласиться Рамазан.— А посему пошли спать. И так припозднились...

— Пошли,— сказал Сергей.— В такую ночь,— он кивнул в сторону окна,— хорошо спится в теплой комнате.

За окном бесновалась метель. В тусклом свете подвешенного на высоком столбе светильника видно было, как плясали в воздухе хлопья снега, гонимые резкими порывами зимнего ветра.

— Пошли,— повторил Сергей.

Разоспаться им не удалось. Настойчивый звонок всполошил всех в квартире.

Первой выскочила в прихожую Полина.

— Всех РИзовских вызывают в цех. Немедленно! — сказал, стоя на пороге, высокий человек в мохнатой шапке, густо облепленной хлопьями снега.

— Как же добираться ночью?..

— Внизу стоит фургон. Поднимайте своих мужиков. Сбор по тревоге!

Гулко топя, сбегали вниз по лестнице один за другим. Спрашивали друг друга:

— В чем дело?..

— Что случилось?..

— Почему тревога?..

Никто ничего не знал. Лишь когда вышел из подъезда виновник переполоха, слегка прояснилось.

— В цехе авария,— сказал он.— Усаживайтесь быстрее!

Шофер гнал во всю мочь, не обращая внимания на колдобины выщербленной дороги. Людей в кузове швыряло из стороны в сторону. В воздухе висела беззлобная ругань. На весь десятикилометровый путь ушли считанные минуты.

Выскочивших из фургона людей встретил начальник цеха. Человек в мохнатой шапке подбежал к нему и что-то сказал.

— Кого вы привезли, товарищ Авдеев?! — кричал на него начальник цеха.— Монтажники нужны...

— Монтажников собирать по одному, Валентин Александрович,— спокойно возразил Авдеев.— А эти в одном доме. Еду за монтажниками. Пожарники прибыли?

— Толку с них...— пробормотал Подкорытов и, обернувшись к рабочим, скомандовал:

— За мной!

И только вбежав в цех через боковые двери — собственно дверей еще не было, дверной проем просто завесили брезентовым полотнищем,— все увидели, что случилось. Торцовую пленочную стенку, половину продольной и часть пленки, заменяющей крышу, сорвало ветром, и в цеху бушевала метель. Снежные хлопья кружились в воздухе, по бетонному полу тянула поземка; в затишьях в углу копился белый снег.

Возле кирпичной стены копошились несколько человек в брезентовых костюмах и блестящих касках, устанавливая раздвижную пожарную лестницу. Это действовала городская пожарная команда, о которой столь пренебрежительно отозвался начальник цеха.

Рамазан видел, как неуклюже работают пожарные. Им нужно было подняться по раздвижной лестнице на опорную балку мостового крана, поднять и закрепить сорванную ветром пленочную крышу.

Вот когда пригодились ему детские забавы... На старом кладбище, недалеко от домика Ахметшиных, рос древний дуб-великан. Не раз Рамазан забирался на самую его вершину. Но этим трудно было удивить: лазали все, как обезьяны. Вскрабаться на гладкий телеграфный столб каждый мог запросто. Верхом молодечества считалось пройти по толстому суку, горизонтально протянувшемуся на высоте пяти или шести сажен. И не просто пройти, а, дойдя до конца сука, стоя — обязательно стоя! — развернуться и пройти назад.

У пожилого пожарника, который сейчас пытался забраться на балку, такой выучки в детстве, по-видимому, не было: он никак не решался оторваться от лестницы. И никто из собратьев по профессии не торопился подменить его.

Рамазан отыскал глазами в толпе начальника цеха и подошел к нему.

— Я залезу,— сказал он, показывая на застрявшего наверху пожарного.

Подкорытов сперва досадливо отмахнулся, потом, когда Рамазан повторил свое предложение уже более настойчиво, сердито ответил ему:

— Куда вы суетесь! Не имею права рисковать. Это работа для верхолазов.

— Если не могу, никогда не берусь,— возразил Рамазан.

В голосе его была такая твердая уверенность, и сказано это было так серьезно, без тени хвастов-

ства, что Подкорытов сразу поверил: на этого паренька — он, как и многие, серьезно обманулся, прикидывая возраст Рамазана,— можно положиться.

— Только наденьте пояса и привяжитесь.

Не теряя времени, подошел к начальнику пожарной команды и распорядился:

— Пропустите.

Потом, когда эта тревожная ночь миновала и аварийная ситуация была ликвидирована, Рамазан на все расспросы, которых была пропасть, ничего толком ответить не мог. Осталось в памяти только ощущение опасной глубины, оберегаясь от которой он отводил глаза, стараясь фиксировать взгляд на темной матовой поверхности балки. Запомнилось, что следом за ним поднялся наверх Сеня Дракохруст, и долго еще виделись узлы, которые они вязали, чтобы прикрепить к металлической балке тяжелые полотнища пленки.

Рамазан и Сеня Дракохруст расторопно работали наверху, когда в цехе появились почти одновременно главный инженер и секретарь горкома.

— Кто?... — спросил главный инженер.

— Наши, цеховые... — ответил Подкорытов.

Неизвестно, уловил ли главный инженер оттенок укора, прозвучавший в словах начальника цеха, но отреагировал он мгновенно.

— Кто разрешил?

— Я разрешил! — резко ответил Подкорытов.

— Вопиющее нарушение правил техники безопасности! — строго сказал главный инженер. — Головой отвечаете. Как могли допустить?

— Чтобы вы не спрашивали меня, как мог я допустить замораживание фундаментов,— в тон ему ответил Подкорытов; немного помолчав, добавил: — Вы ведь мастер задавать трудные вопросы.

— Что вы петушитесь, Валентин Александрович?... — неожиданно мягко произнес главный инженер. — Разве я не понимаю?... Только если кому-нибудь из них могила, вам тюрьма...

Секретарь горкома молча выслушал их диалог.

Потом спросил начальника цеха:

— Ахметшин?

— Еще не знаю фамилий,— ответил Подкорытов.

— Кто поднялся первый? — спросил секретарь горкома.

— Маленький... в шапке-кубанке.

— Оба сами вызвались?

— Оба...

Глава шестая

У МЕНЯ ДРУГАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1

У Кашафа Галимзяновича Хакимова, первого секретаря Высокобережного горкома, была одна слабость, о которой хорошо знали все его сослуживцы, да и вообще все в городе. Он любил отыскивать и выращивать молодые таланты. При этом под словом «талант» он подразумевал не только природную одаренность в три или

иной области, но прежде всего искреннее, от сердца идущее стремление обратить все свои способности на благо общему делу.

— Истинный талант не может быть ленивым или равнодушным,— говорил он. И неизменно добавлял: — И мы не должны лениться, выращивая его.

В свои поиски он вкладывал столько энергии и энтузиазма, что иногда молодых талантов отыскивалось даже больше, нежели было на самом деле.

И не сразу он расставался со своими иллюзиями. В этом и состояла его человеческая слабость.

Истоки тех или иных свойств нашего характера далеко не всегда очевидны. Бывает и так, что ни наследственностью, ни воспитанием, ни влиянием среды невозможно объяснить их возникновение. Вопреки пословице — иногда от ели родится яблочко, а от яблони шишка.

Но человеческая слабость Кашафа Галимзяновича Хакимова — преувеличенное внимание и особо бережное отношение к молодым — вполне объяснялась его собственной биографией. Потому он так относился к молодежи, что сам волею судьбы и в детстве и в отрочестве лишен был ласки и заботы.

Отец не вернулся с гражданской войны, сложил голову где-то в Сибири, за далеким Байкалом. Вскоре умерла мать. Четырехлетнего Кашафа из жалости пригнали чужие люди. Кусок черствого хлеба был — хотя и им часто попрекали,— но ласки ждать не от кого. Своих детей было четверо, и тех не баловали.

Когда Кашафу минуло семь лет, отдали в подпаски. Тяжелыми были эти пастушечьи годы. Харчились и ночевали по очереди у всех домохозяев. В деревне принято пастухов кормить хорошо, чтобы особо берегли скотину тароватого хозяина. Но Кашаф был из бедняцкой семьи, к тому же сын красноармейца, а деревня была зажиточная. У многих богатеев был зуб на первого председателя комбеда Галимзяна Хакимова, и эту с годами не остывшую злобу вымещали на сироте. Ему и салму наливали пожиге, и в кашу забывали масла плеснуть, и молоко давали снятое, а хозяйские дети, глядя на родителей, по любому поводу не скупились на тычки и подзатыльники. Маленький Кашаф не прощал обид и давал сдачи. Поэтому был много раз жестоко бит. Случалось, что и до потери сознания. Так бы и забили сироту, да пастух, сообразив наконец, что может лишиться старательного помощника, взял подпаска под свою защиту.

Переменилась его жизнь после великого перелома в деревне. Кулацкие семьи выслали, маломощному колхозу лишний рот был ни к чему. Кто-то из частых в деревне уполномоченных сжалился над бесприютным сиротой, отвез в город и устроил в детдом.

Тут он получил первую специальность, выучился слесарному ремеслу.

Нашел свою тропу в жизни, когда призвали в армию. Здесь крестьянскому сироте помогли закончить семилетку, и он почувствовал, что твердо стоит на земле. После армии — рабфак, потом политехнический институт. Словом, все то, что в подпасках не могло ему и присниться...

— Много хороших людей помогало мне выбиться из темноты и стать человеком,— говорил Кашаф Галимзянович, вспоминая свою юность. — Отблагодарить их могу только тем, что сам помогу кому-нибудь.

Кашаф Галимзянович долг свой оплатил с большими процентами. Однако же постоянно продолжал чувствовать себя должником.

Приходилось и разочаровываться, и даже не столь уж редко. Но когда Кашафу Галимзяновичу напоминали о чем-либо таком, он не огорчался, не расстраивался и даже не пытался оспаривать. Отвечал убежденно:

— Лучше потратить время на трех бесталанных, чем упустить одного с талантом.

А когда ему говорили, что и в талантливых иногда приходится разочаровываться, приводил всегда один и тот же довод:

— Я отыскиваю молодых и способных не для почестей, а для работы. И проверяю их на деле.

Так и было. Он незаметно для испытуемого усложнял условия его работы, проверял на прочность. И только тех, кто выдерживал эту строгую проверку, зачислял в свой резерв.

Но случалось и такое: выдержав испытание огнем и водой, не умели выдержать испытания медными трубами. А ведь пока дойдет до медных труб, сколько труда будет затрачено и сколько надежд вложено...

Но как ни огорчительно крушение надежд, Кашаф Галимзянович относился к неудачам стоически и рассматривал каждый такой случай как неизбежная в любом серьезном деле издержки производства, как печальное исключение, которое только подтверждает правило.

И духом никогда не падал и отношения своего к молодым не менял.

О бо всех чрезвычайных происшествиях немедленно сообщалось в горком. Такой порядок был введен Хакимовым с первых дней строительства. Поэтому об аварии на РИЗе Кашаф Галимзянович узнал одновременно с руководителями завода и стройки.

Он еще не успел лечь. Звонок дежурного по горкому застал его за письменным столом.

— Машину послали? — спросил Кашаф Галимзянович, выслушав его сообщение.

— Будет у вас через десять минут.

На РИЗ Кашаф Галимзянович приехал одновременно с главным инженером.

Без расспросов видно было, что произошло. Так же понятно было, что винить некого. Ветер штормовой силы мог сорвать и более капитальную крышу. Вопрос в одном: удастся ли ликвидировать аварийную ситуацию и скоро ли?..

Он понимал, что решают не часы, а минуты. Ему, инженеру, без пояснений было ясно, что если не схватившийся еще бетон замерзнет, пуск первой станочной линии оттянется на неделю, а то и на полторы.

Так же сразу понял он, что даром времени здесь не теряли. Пожарная команда со всем своим инвентарем была на месте, два пожарника держали приставленную к стене раздвижную лестницу, а наверху на опорной балке мостового крана уже работали двое.

Сперва он удивился, что те, кто на высоте, не в пожарной одежде, но потом, приглядевшись, узнал в одном из них того самого Рамазана Ахметшина, который так решительно объяснился в свое время с заместителем генерального директора по быту.

«Выходит, не только на слова горазд», — и Кашаф Галимзянович не без удовольствия вспомнил, что этот паренек сразу ему понравился.

Из напряженного обмена репликами между главным инженером и начальником цеха Кашаф Галимзянович понял, что Рамазан Ахметшин, а вслед за ним и его товарищ добровольно взялись за эту опасную работу.

Вскоре прибыла бригада монтажников-верхолазов, и прошло не более часа, как зыбкие пленочные стены и потолок были восстановлены и тщательно закреплены, компрессоры принялись нагнетать в цех теплый воздух.

Начальник цеха подошел к секретарю горкома. Теперь можно сказать, что авария успешно ликвидирована и бетонные фундаменты спасены от замораживания.

— Но часа полтора, если не больше, в цехе было морозно, — усомнился Кашаф Галимзянович.

Начальник цеха его успокоил:

— Мы не успели снять опалубку, и именно это нас и спасло.

«Не зря говорится, что нет худа без добра, — подумал Кашаф Галимзянович, возвращаясь с завода. — Не случилось всей этой аварийной ситуации, когда бы еще узнал, кто чего действительно стоит». Кашаф Галимзянович был в отличном настроении. Происшествие на РИЗе было тем редким случаем, когда некого было порицать, а действия каждого заслуживали одобрения.

Два парня из бывшей судейкинской бригады, сами вызвавшиеся на опасную работу, и начальник цеха, разрешивший им это, сделали больше того, что входило в их служебные обязанности. И заперщиком был тот самый сразу ему показавшийся паренек.

Многолетний опыт общения с людьми, а главное, какое-то подсознательное шестое чувство подсказывали Кашафу Галимзяновичу, что он не ошибется, отнесясь с полным доверием к этому парню. Его нельзя упускать из виду.

4

Подкорытов ходил именинником. Монтаж первой станочной линии был закончен, как и предписано графиком, «в третьей декаде декабря».

Но еще больше радовались Рамазан и Сергей. Да и не они одни. Все ждали первого рабочего дня за станком, как светлого праздника.

На второй день после Нового года Валентин Александрович пригласил в свою конторку-временку, оборудованную в снятом с колес старом товарном вагоне, всех станочников из бывшей судейкинской бригады. Его помощник отобрал станочников по давно составленному списку.

Дошла очередь и до Рамазана. Узнав его, начальник цеха приветливо ему улыбнулся, спросил, где работал, какие детали приходилось обрабатывать. И, по-видимому, вполне удовлетворенный ответом, сказал помощнику:

— Этого можно на головной станок...

— Я же предупреждал вас, Валентин Александрович, — с упреком отозвался толстячок, и на круглом лице его обозначилось обиженное выражение, — и даже в списке пометил...

— Ах, да... — спохватился Подкорытов и виновато улыбнулся Рамазану: — Понимаете, товарищ Ахмет-

шин, придется вам еще... некоторое время потрудиться на разных работах...

— Товарищ начальник! — с обидой воскликнул Рамазан. — Почему со мной так нехорошо поступаете? Неужели считаете, я самый плохой работник?..

— Совсем наоборот, — сказал начальник цеха. — Уверен, что вы отличный токарь, и станок ваш от вас не уйдет. Но вы отличный плотник, и вот товарищ Голышкин, — он кивнул в сторону своего помощника, — очень просит и вас и меня, чтобы еще недельку вы поработали в его бригаде.

— Я дни и часы считал, товарищ начальник, когда к станку подойду.

— Вы ничего не потеряете, товарищ Ахметшин, — продолжал убеждать его начальник цеха. — Мы будем оплачивать вас по ставке токаря высшего разряда...

— Разве в деньгах дело! — возразил Рамазан, горько усмехнувшись. — Зачем обижаете, товарищ начальник!..

— Вы меня неправильно поняли, товарищ Ахметшин. Мы вас просим...

Рамазан перебил Подкорытова.

— Зачем просить? Вы приказать можете. Ваше дело приказывать, наше выполнять... — Круто повернулся и вышел из конторки.

Зина слушала его взволнованный и сбивчивый рассказ. Да, стосковался он по станку. Но не на век же разлучили... Сказали: на неделю, ну пусть дольше задержат, скажем, не на одну неделю, а на две... Без малого год ждал терпеливо, а тут из-за какой-то недели так переживать...

Пыталась, как могла, успокоить. Рамазан терпеливо выслушивал ее доводы и даже не возражал ей, но оставался по-прежнему сосредоточенно-угрюмым.

Из этого подавленного состояния не смог его вывести и Сергей, вернувшийся домой часом позднее.

— Не пойму я тебя, — сказал он товарищу. — Других учишь нос не вешать, а сам?..

— Тебя на какой станок поставили? — спросил Рамазан.

— На токарный.

— А меня?..

Сергей растерянно промолчал.

— Какого же черта лезешь со своими утешениями!.. — с несвойственной ему злостью почти выкрикнул Рамазан. Промолчал и вымолвил уже другим тоном: — Понимаешь, как получается?.. Старался, как мог, чтобы быстрее... Из кожи лез... И вот потому, что старался изо всех сил, именно потому и не поставили на станок. Разве не обидно?..

— Чего же обидного? — вступила в разговор молчавшая дотоле Полина. — Если бы за плохую работу не доверили станок, действительно обидно. А если мастер на все руки, чему же тут обижаться?..

Конечно же, и Зина, и Сергей, и Полина совершенно правы. Неразумно так огорчаться, переживать из-за какой-то недели. И все-таки обидно. Большую радость погасили...

5

Кашаф Галимзянович вовсе не собирался форсировать события.

Вот пусть на РИЗе первую станочную линию, заработает цех. Человек станет на основную свою работу. Тогда и видно будет, какая ему цена.

Так размышлял Кашаф Галимзянович, когда вспоминал о своем решении присмотреться к Рамазану Ахметшину.

Но многое за нас решают обстоятельства. Так и на этот раз обстоятельства вынудили поторопиться.

На областной комсомольской конференции первого секретаря Высокобережного горкома комсомола избрали одним из секретарей обкома. Для Кашафа Галимзяновича это не было полной неожиданностью. Он сам в свое время рекомендовал его на выдвижение, полагая, что ни к чему молодому энергичному работнику засиживаться на месте и обраться жирком. Однако, что выдвижение это произойдет так быстро, Кашаф Галимзянович не предполагал.

Дальше, как водится, пошла передвижка по цепочке.

Второго секретаря горкома на место первого. Третьего — на место второго. А на место третьего секретаря, ведавшего отделом рабочей молодежи, подходящей кандидатуры не оказалось. Тогда Кашаф Галимзянович вспомнил о Рамазане Ахметшине.

Долго взвешивали плюсы и минусы. В плюсах оказались активность производственная и общественная, инициатива и твердость характера. В минусы зачислилось полное отсутствие опыта руководящей работы.

Заворотделом, знавший назубок все анкеты, вспомнил, что Ахметшин был курсовым комсоргом в профтехучилище, так что опыт есть. Хотя его недостаточно для секретаря горкома.

— Поговору с ним сам, — сказал Кашаф Галимзянович, оставляя вопрос открытым.

Он уже принял решение.

Двух самых предосудительных на взгляд Кашафа Галимзяновича пороков — лени и трусости — у Рамазана Ахметшина не было. Зато хватало напористости и твердости.

Взвесив обстоятельно все «за» и «против», Кашаф Галимзянович остановил свой выбор на Ахметшине. Но вызывать его к себе в этот день не стал. Было у него и такое правило: если дело не горит, может потерпеть день-другой, то, даже придя к окончательному выводу, надо дать ему отстояться, то есть сохранить себе возможность еще какое-то время обдумать уже принятое решение.

6

Рамазан уже третий день был на строительных работах. В тот угол цеха, где его товарищи стояли за станками, старался не смотреть. Вроде бы и смирился, но горечь обиды все же осталась.

Вскоре после обеденного перерыва к нему подошел помощник начальника цеха толстячок Голышкин.

— Тебя, Ахметшин, вызывают в горком.

— Зачем вызывают?

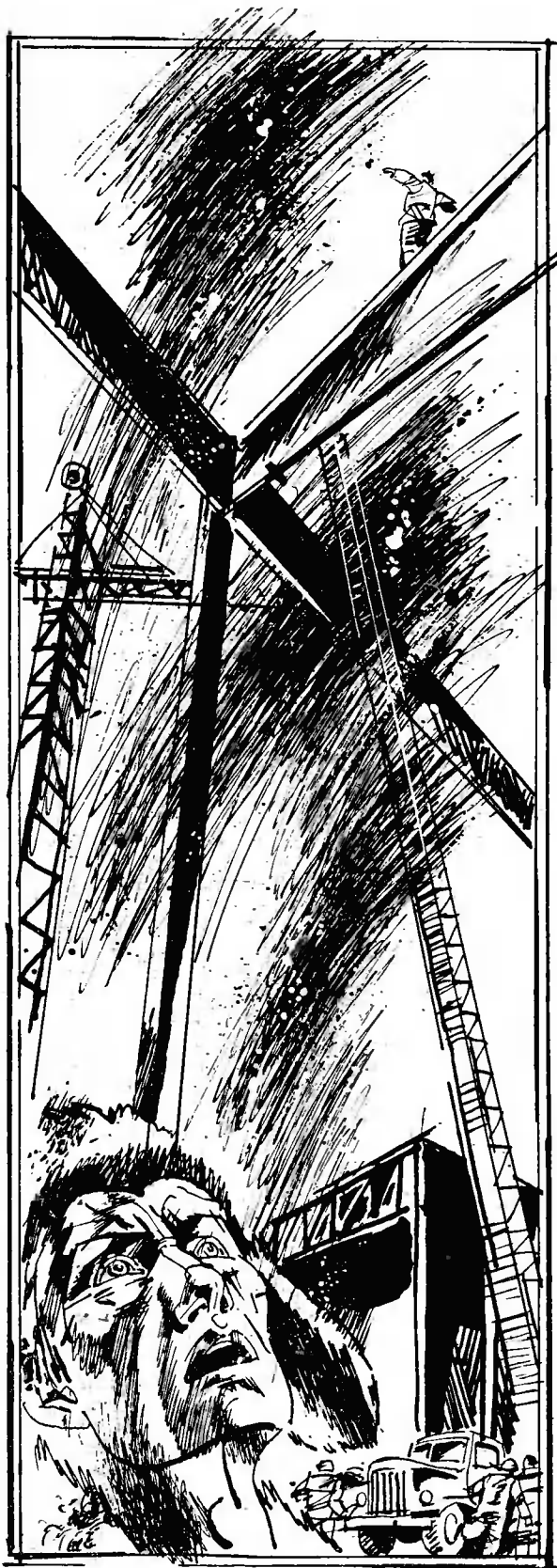
— Это уж тебе лучше знать, — с некоторым даже раздражением сказал Голышкин.

Он так рассудил: по-видимому, Рамазан Ахметшин пожаловался на цеховое начальство, а в горком решили дать ход этой жалобе.

Рамазан как прочел его мысли. Другому человеку он бы терпеливо объяснил, что ни при чем, но на Голышкина Рамазан был обижен. И отозвался на его слова сердито:

— Спрашиваю, значит, не знаю.

— И я не знаю, — ответил Голышкин.



— Когда идти? — спросил Рамазан.

— Сейчас вызывают, — с сердцем бросил Голышкин, потом подумал: вдруг на самом деле парень этот вовсе и не жаловался, — и уже мягче добавил: — Сейчас машина пойдет на центральный склад, садись в кабину. Скажу, чтобы завезли тебя в горком.

В приемной Рамазана держали недолго. Сразу же, как только от первого секретаря вышел высокий ослепительный человек, в котором Рамазан узнал генерального директора Добрынина, Рамазана провели в кабинет.

«Сразу после генерального директора... Ай-ай, товарищ Ахметшин, какой тебе почет!... — подумалось Рамазану. — К чему бы это?..»

Секретарь горкома поздоровался с Рамазаном, как со старым знакомым. Вышел из-за стола навстречу, усадил на стоящий в углу диванчик и сам сел рядом. Спросил, все ли в семье здоровы и как идет дела. Выслушав ответ, тянуть не стал и сразу сообщил Рамазану:

— Наместили тебя на выдвижение. Хочу узнать, как ты сам смотришь на это?

Нельзя сказать, чтобы Рамазану не польстило доверие. Но ответить сразу согласием было бы нескромно. И он не торопился отвечать. Поэтому у него нашлось время спросить самого себя: уходить из цеха сейчас, когда до столь ожидаемой интересной работы остался один шаг?

— Ну, что скажешь? — мягко, без нажима переспросил секретарь горкома.

Отвечать надо было предельно откровенно.

И Рамазан Ахметшин рассказал все подробно: как обучался в Иркутском профессионально-техническом училище, как Николай Николаевич Колосов научил их любить свою профессию, как набирался умения и опыта на «Дальзаводе» и как, наконец, потянуло его на Большой Автомобильный...

— Я не от худой жизни сюда приехал. Все у меня было: и хороший заработок, и квартира, и отец-мать рядом. Только потому поехал, что здесь работа интересная. Не только руками — мозгами шевелить надо...

— Мы тебя зовем на работу, где тоже надо мозгами шевелить, — улыбнулся Кашаф Галимзянович.

— Правильно говорите, — согласился Рамазан. — Только эту работу, которую вы мне хотите дать, я не знаю и делать не умею...

— Научим...

— ...а раз не умею, то и любить не могу. А свою работу я хорошо знаю и люблю.

И так убежденно произнес он эти слова, что Кашаф Галимзянович не сразу нашелся, что ему возразить.

Рамазан, чувствуя, что поле боя остается за ним, спешил закрепить победу.

— Я в прошлом году весной приехал. Столько ждал! Вот дождался. Как теперь уйду с завода? Брошу такую специальность!.. Никак не могу...

Кашаф Галимзянович тоже почувствовал, что ему этого парня не переубедить — по крайней мере сейчас. И еще почувствовал, что упорный Рамазан Ахметшин испытывает все же чувство неловкости из-за того, что вынужден отвергать доверие столь уважаемого человека.

И чтобы снять у Рамазана это ощущение неловкости, сказал примиряюще:

— Не требую от тебя окончательного ответа. Не торопись, не горит. Подумай, если надо, посоветуйся. Еще вернемся к этому разговору. А за то, что любишь свой станок, свою специальность, хвалю.

7

До конца рабочего дня оставалось около часу. Только-только, чтобы добраться до завода. Да и то, если сразу подвернется попутная машина.

Поэтому домой Рамазан пришел раньше обычного. Дома была только Полина, доваривала обед. Услышав шаги в прихожей, выглянула из кухни. Увидела пришедшего в неурочный час Рамазана и встревожилась.

— Не заболел ли?

— Совсем здоров, — успокоил ее Рамазан.

— А что случилось?

— Ничего особенного, — сказал Рамазан. — В горком вызывали.

— Начальником хотят сделать? — спросила Полина.

Рамазан опешил сперва, потом понял, что это шутка.

— Как ты догадалась?

— А чего тут догадываться? — Полина даже плечами пожала. — Работник ты хороший, прорабатывать тебя не за что. Значит, вызвали на повышение.

— Как в воду глядишь, — подтвердил Рамазан.

— А ты что?

— Сказал, подумую.

После этого Полина окончательно уверилась, что Рамазан шутит и никуда его не вызывали.

А Рамазан прошел в свою комнату, снял сапоги, улегся, в чем был, поверх одеяла — хотя такое себе никогда не позволял — и задумался.

Правильно ли он поступил?..

Есть у него специальность, которая ему по сердцу и которая хорошо его кормит. Чего еще надо? От добра добра не ищут... Все так, все правильно... А если посмотреть с другой стороны?.. Хотят ему более ответственную, стало быть, более трудную работу дать. К стати, какую?.. Не спросил даже... А зачем спрашивать, если от любой будешь отказываться?.. Но ясно, что работа более важная, чем у него. Так хорошо ли от работы отказываться?.. Один откажется, другой откажется, кто работать будет?..

Но тут же успокоил себя: один откажется, два согласятся. Многие из кожи лезут, только чтобы на ступеньку повыше забраться. Место свято не бывает пусто... А на станке работать — тоже не полды подметать, не каждого поставишь... Рамазана государство два года учило, зачем же это умение, сноровку к ремеслу пускать по ветру?..

Нет, даже и голову ломать нечего, поступил он, как надо, правильно поступил.

Дойдя до этой точки в своих размышлениях, Рамазан успокоился и сам не заметил, как заснул.

Зина, найдя его спящим, да еще одетым на кровати, удивилась и даже всполошилась. Вышла к Полине узнать, в чем дело. Но и та не могла ничего ей толком объяснить.

— Нет, нет, даже не думай, ни в одном глазу. Только вроде чем-то озабочен.

— Наверное, расстроен, — заметила Зина. — А то с чего бы это он одетый лег? Видно, беду какую-то нанесло... Скорее бы Сергей пришел. Он-то, наверно, знает.

Но и Сергей ничего не знал. Однако раздумывал недолго.

— Дай-ка мне, мать, пятерку, — сказал он жене, — побегу, пока не закрыли.

Полина тут же вынесла деньги.

— Куда ты? — только и успела спросить Зина.

— За лекарством... — ответил на ходу Сергей и скрылся за дверью.

— Ох, уж эти мужики!.. — Зина покачала головой. — Любая причина сгодится.

Но Полина, против ожидания, на сей раз не согласилась с подругой. Она нашла причину достаточно уважительной.

8

— По какому случаю?.. — непритворно удивился Рамазан, когда его подняли с постели и вывели на кухню.

Посреди обеденного стола красовалась поллитровка.

— По какому случаю? — повторял Рамазан. — Поллучки вроде не было...

— Для сугреву души, — ответил Сергей с напускной веселостью, и женщины не возразили, и Зина даже вроде бы довольна осталась.

И тут только Рамазан понял, что все смотрят на него глазами навестивших тяжелобольного; улыбаются, чтобы подбодрить, а самим совсем не весело. И догадался, почему.

— Вы, добрые люди, кажется, переживаете за меня?.. Спасибо за сочувствие. Может, и мне скажете, что случилось?

— Ладно уж, не храбрись, — сказала Зина. — Поделись бедой, легче станет.

Рамазан хотел еще что-то возразить, но Сергей решительно вмешался:

— Отставить разговорчики!!! — строго скомандовал он. — Все за стол!

Ловко открыл поллитровку, налил Рамазану и себе по полной стопке.

— Чтобы всем нам всегда хорошо было!.. — И выпил первый. — Теперь рассказывай!

— Да и рассказывать-то нечего, — Рамазан улыбнулся почти виновато.

— Ладно, не темни, — не поварил Сергей, — имей совесть. В горьком вызывали?

— Вызывали...

— А дальше давай сам.

Рамазан пожал плечами. По его словам, так и выходило: ничего особенного. Ну, действительно вызвали в горьком, поговорили...

— Погоди! — остановил Сергей. — К кому вызвали? С кем говорили?

— С секретарем. С товарищем Хакимовым...

— А ты говоришь — ничего особенного. Всех подряд работяг первый секретарь вызывает?

— Через одного.

— Не трави баланду.

Пришлось объяснять подробно и обстоятельно.

— Отказался, значит?.. — переспросил Сергей, и по тону его непонятно было: одобряет ли он действия своего друга или, напротив, порицает.

— А ты бы как поступил?

— Не обо мне речь. Не меня вызывали, — возразил Сергей. — А ты, значит, отказался?.. Теперь сожалеешь?..

— Да с чего ты взял? — вскинулся Рамазан, уже начиная сердиться. — Нисколько я не сожалею!

— Тогда полный порядок! — обрадовался Сергей. — Правильно решил, Рамазан! Наше дело за станком стоять, а кабинетах нам делать нечего!

— По себе не суди, — возразила Полина. — Тебе, конечно, в кабинете нечего делать, а в Рамазановой голове шарики быстрее вертятся. Он бы и в кабинете сгодился. Государство-то наше — рабоче-крестьянское... Может, еще передумаешь, Рамазан?

— Нет, Поля, — сказал Рамазан. — Решил твердо. Зачем мне в кабинет? У меня другая специальность...

Глава седьмая

СУМАСШЕДШАЯ

РАБОТА

1

Прошло уже более двух недель со дня пуска первой станочной линии, а Рамазан все еще чертомелил на разных строительных работах.

Голышкин каждое утро встречал его виноватой улыбкой и произносил неизменно одну и ту же фразу:

— Придется вам еще денек потрудиться в нашей строительной бригаде... — А после того, как перевалило на третью неделю, стал предварять эту фразу словами: — Уж вы извините, пожалуйста...

Виноватая улыбка Голышкина и заранее известная во всех интонациях фраза до того опостытели Рамазану, что он старался не встречаться глазами с помощником начальника. Если бы кто со стороны посмотрел на них, то непременно заключил бы, что не Голышкин виноват перед Рамазаном, а совсем наоборот — Рамазан перед Голышкиным.

Понимал Рамазан, что надо работать, трудился, как всегда, не за страх, а за совесть, и все же осточертела ему эта подсобная работа. На товарищей своих, работающих за станками, старался не смотреть и пролет, в котором разместились первая станочная линия, обходил стороной.

Дома было не легче.

Сергей считал своей обязанностью держать товарища в курсе дела и каждый вечер подробно рассказывал, какие замысловатые детали приходится обрабатывать на станке, говорил о том, что иной день по два, а то и по три раза меняют деталь, и для обработки каждой требуется своя оснастка, которую самому же и приходится изготавливать, так что работа поддается медленно, а Подкорытов торопит, сам следит за первой станочной линией и, можно сказать, стоит над душой. Работать нелегко...

Сергей, стараясь как можно обстоятельнее рассказать Рамазану о всех производственных перипетиях, конечно, и подумать не мог, что каждое его слово терзает Рамазанову душу.

На самом деле, разве не обидно сколачивать опалубочные короба или вкалывать на иной плотницкой работе, когда на станки подаются такие сложные детали?.. Когда именно там столь необходимы его профессиональное мастерство и природная смекалка... Очень это обидно!..

И нет-нет да и проскальзывала мысль — не мысль еще, а только мыслишка, так, вроде сожаления, — что наотрез отказался тогда в горькоме...

Там, в горькоме, вовсе не зная Рамазана, поверили в него и готовы поручить ему важную работу; а

здесь, в цехе, не уважили его умения и мастерства, не пожелали с ним посчитаться...

И если бы Кашаф Галимзянович угадал вернуться к незавершенному разговору в такую именно минуту, кто возьмется предсказать, как бы закончился разговор?

Но и Кашаф Галимзянович, по-видимому, забыл о Рамазане Ахметшине.

Вечером Сергей опять словно дразнил, рассказывал о диковинных деталях. Рамазан не дослушал и, сославшись на головную боль, ушел из кухни и улегся раньше обычного.

Ворочаясь с боку на бок, обдумал еще раз все обстоятельно и твердо порешил: завтра же с утра объясниться с Подкорытовым начистоту. Имел такое право: сказали на неделю, а прошло уже три.

Наутро так и поступил. Придя в цех, выслушал в очередной раз заранее известную, уже набившую оскомину фразу Голышкина и, на сей раз не пряча глаз, сказал, что прежде зайдет к начальнику цеха.

Подкорытова в конторке не было. Секретарь-машинистка, худенькая девушка в ватной стеганке и шапке с длинными висячими ушами, старательно отстукивая одним пальцем какую-то пространную ведомость, сказала Рамазану, что Валентин Александрович уехал на главный склад принимать канадские станки и будет только после обеда.

Когда Рамазан, молча постояв у ее стола, повернулся и пошел к двери, секретарша окликнула его и попросила отнести в цех записку товарищу Ахметшину.

— Я Ахметшин, — сказал Рамазан.

— Совсем хорошо, — сказала машинистка. — Вчера вечером по телефону передали из горкома. — И протянула ему записку.

В ней значилось: «Товарища Ахметшина просят прибыть в горком КПСС к восемнадцати ноль-ноль».

2

Рамазан прочитал телефонограмму, но не сразу дошло до сознания, что это сегодня, прямо сразу после работы, не заходя даже домой... Стало не по себе. Он растерялся, если не сказать, испугался.

Испугался оттого, что в горком вызвали именно тогда, когда чаша терпения уже переполнилась и самого малого толчка достаточно было, чтобы переплеснулось через край.

Наверно, это был первый день в его жизни, когда он работал, не думая о том, что делал, механически применяя знакомые по опыту приемы, подсознательно угадывая, когда нужно отрубить, когда затесать...

Тягостнее всего было, что не мог собраться с мыслями и спокойно обдумать, как быть и с чем идти к Кашафу Галимзяновичу (к нему, конечно, сказал же тот: вернемся к этому разговору). Приневольная Рамазана никто не станет, это он знал, но именно сегодня он сам может принять решение, в котором потом долго — если не всегда — будет раскаиваться.

В таком смятенном состоянии прошел весь день. Голышкин опять отправил Рамазана в кабине грузовой машины: к рабочему, которого в течение полумесяца дважды вызывают в горком, стоило быть внимательным.

На сей раз ждать пришлось довольно долго. В кабинете у первого секретаря шло какое-то важное совещание. По-видимому, оно затянулось сверх ожидания; так можно было заключить по раздраженным репликам и восклицаниям посетителей, пытавшихся попасть в кабинет.

Рамазан при всей своей дисциплинированности очень не любил сидеть в приемных. Но в этот раз был доволен, что его не сразу провели в кабинет. Очень нужно было собраться с мыслями, прежде чем предстать перед Кашафом Галимзяновичем. Отсрочка кончилась; сегодня предстояло дать окончательный ответ. А вот ответа у него и не было.

Стал размышлять, как бы глядя на себя со стороны, как будто не сам он оказался в затруднительном положении, а какой-то другой человек, который правда ему не безразличен, но о положении которого он — Рамазан Ахметшин — может судить беспристрастно.

Прежде всего спросил сам себя: надо ли искать ответ, если нашел его уже две недели назад? Что изменилось с тех пор? Задерживают на подсобных работах дольше, чем назначено было? Так не без причины же. И не на век определили топором махать. Его голова и руки нужны производству, и, стало быть, станок от него не уйдет... А что касается обиды на цеховое начальство, тут явный перебор. Поставь себя на их место... Нечего голову ломать, место твоё в цехе, и сказал ты об этом с полным основанием... Одно вроде не в его пользу: ответственности испугался, в начальники не захотел. Так это еще вопрос, что стыднее: отказываться, когда зовут, или настырно лезть, когда не просят?..

В кабинете словно ждали, пока Рамазан разберется в своих проблемах. Двери кабинета раскрылись, и оттуда хлынул народ.

В приемной, кроме Рамазана, ожидало еще несколько человек, в том числе заместитель генерального директора Бычков, но Рамазана провели в кабинет первым.

Рамазан сразу заметил, что Кашаф Галимзянович сегодня совсем не тот: выглядит усталым и постаревшим. Он не вышел из-за стола, не поднялся навстречу Рамазану, а, указав на ближайший стул из стоящих длинной шеренгой вдоль стола заседаний, сказал:

— Проходи, садись.

«И без того ему нелегко, — подумал Рамазан, — а тут еще со мной канительется...» И очень неуютно себя почувствовал, зная, что придется отказывать этому человеку, особенно в такую минуту, когда тот так утомлен и расстроен.

3

Кашаф Галимзянович действительно был и утомлен и расстроен. Заседание, которое он только что провел, выдалось очень трудным. Не потому, что потребовало напряжения всех душевных сил: к таким трудностям он привык и всегда был готов, по пустякам не ищет совета и указания первого секретаря горкома.

Но в данном случае любое решение не могло быть однозначно приемлемым. Ситуация сложилась такая, что нельзя было накормить волков, сохранив одновременно в целости овец. Чем-то приходилось поступиться.

Или — или... Или обеспечить к Первому мая ввод в эксплуатацию первой очереди РИЗа. Или завер-

шить к тому же Первому мая строительство жилых домов, кинотеатра и детского сада в квартале 7-б.

Сроки пуска первой очереди РИЗа устанавливались графиком, утвержденным коллегией министерства. Завершение строительства всех зданий квартала 7-б предусматривалось социалистическими обязательствами на первое полугодие.

После жаркой перепалки между проектировщиками и строителями, между работниками Промстроя и Жилстроя, между главным инженером и председателем завкома было установлено, что решить к сроку обе задачи невозможно.

Какую же из двух задач признать главной и первоочередной?..

— Объекты седьмого квартала не значатся в графике министерства,— напомнил главный инженер.

— По седьмому кварталу принимали соцобязательства,— возразил предзавкома.

Оба были правы, и в то же время слова их были лишними, потому что и до заседания это было всем известно.

Но Кашаф Галимзянович не остановил их. Другое заседание стало у него перед глазами: партийно-хозяйственный актив, на котором выступал он три месяца назад. Тогда, отвечая на выступления и вопросы рабочих, он поручился, что седьмой квартал будет сдан к Первому мая.

Не его это была обязанность давать такие заверения. Уместнее начальнику строительства или генеральному директору. Но он никогда не прятался за чужую спину. Вопрос был обращен к нему, он на него и ответил. И вот теперь оказывается — обманул. И никакими объяснениями этого не поправишь. Людям нужны не объяснения, а жилье. Десятки семей собираются справлять новоселье в первомайские дни. Не будет у них этой радости...

Но сделать ничего нельзя. РИЗ — первенец Большого автомобильного. Чем скорее он будет пущен, тем скорее выйдет за ворота завода первый автомобиль...

Совещание затянулось, а в приемной ждали вызванные к нему люди. Кашаф Галимзянович всегда был точен, а тут и в этом просчитался. Он помнил, что на шесть часов вызвал Рамазана Ахметшина, а на половину шестого замгенерального по быту Бычкова, написавшего очень странное заявление.

4

— Проходи, садись,— сказал Кашаф Галимзянович остановившемуся на пороге Рамазану. И когда тот подошел к длинному столу и осторожно сел, не то спросил, не то отметил про себя: — Работой своей теперь доволен?..

Такой насмешки Рамазан не ждал. Кровь ударила в голову, но потом сообразил: «Откуда же ему знать?..»

Отвечал каким-то деревянным, не своим голосом:

— Если по правде... то недоволен.

Теперь удивиться пришлось Кашафу Галимзяновичу.

— Почему? Ты же рвался к станку?

Надо было спокойно объяснить, почему отодвинулась работа на станке, и хоть огорчен он, но понимает, для дела надо... Но вместо этого словно кто-то другой ответил за него:

— Обманули.

— Кто обманул?

— Цеховое начальство...

Кашаф Галимзянович слушал, не перебивая, и по тому, как отяжелело его лицо, понятно было, что он недоволен. Не мог только Рамазан сразу сообразить, кем недоволен: им или его начальниками.

— Обманули, говоришь...— повторил Кашаф Галимзянович, помолчал немного и сказал: — А я без обману. Опять предлагаю тебе трудную и интересную работу. Кстати, ты обещал подумать. А я терпеливо ждал...

Чуть не вырвалось у Рамазана: «Согласен...»

Вспоминая потом эту минуту, Рамазан и сам не мог определить, чего тут было больше: почтения к уважаемому им человеку, опасения обидеть его или самого обычного малодушия?

Но хотя видел, что ждут от него ответа, и понимал, что отмалчиваться грубо и неприлично, сказать ничего не мог; молчание было сейчас единственно доступным ему способом защиты.

Кашаф Галимзянович понял его состояние. Помолчал и произнес задумчиво:

— Ну что ж... Вижу, ты подумал и решил. Надеюсь, молчал не из робости, а нелегко было отказываться...

— Правильно,— перебил его Рамазан.— Очень мне сейчас неловко, только из цеха я уйти не могу...

— А то, что обманули?..— вроде бы серьезно спросил Кашаф Галимзянович, но в углах губ пряталась усмешка.

— Все равно поставят. А как же? Токари в цехе нужны.

— Вот это ты правильно сказал,— подтвердил Кашаф Галимзянович.— Рад за тебя, что нос не повесил. Я уж хотел было позвонить начальнику цеха, но лучше будет, если они сами позвонят, когда настоящая работа начнется. А она не за горами.

У Рамазана отлегло от сердца — понимают его, но Кашаф Галимзянович заставил его еще раз смутиться.

— Можешь ты мне объяснить,— спросил он Рамазана,— почему все-таки тебе больше хочется остаться рабочим, чем быть руководителем?

Рамазан несколько замешкался с ответом.

— Я не тебя проверяю, а сам хочу понять... Заметил, наверное, в приемной Бычкова? Конечно, заметил. Ты его хорошо знаешь. Как думаешь, по какому делу я его вызвал? Не догадаешься? Заявление подал, просит освободить от руководящей работы и направить на производство. Он инженер, кончал автотехнический институт, просится в гараж механиком... Вот и думаю: что это такое? Чем объяснить такое странное явление?.. Почему никто не хочет начальником быть?..

Теперь уже Рамазан окончательно убедился, что пронесло, и обрел обычную уверенность.

— Конечно, хорошо. Вы сами посудите: что, если все захотят быть начальниками? Куда девать столько? И вы не беспокойтесь, Кашаф Галимзянович, начальников хватит.

— Хватит желающих быть начальниками,— возразил Кашаф Галимзянович.— А это не одно и то же. Не каждый желающий сможет быть начальником.

— Можно отобрать,— убежденно сказал Рамазан.

Кашаф Галимзянович посмотрел на него пристально.

— Вот пытаюсь. Да не всегда удается...— И, словно спохватившись, добавил: — Это я не в укор. В данном случае, по-видимому, прав ты... Рабочий высшей квалификации — решающее звено в современном производственном процессе...— Еще немного помолчав, закончил: — Так что иди к своему станку, а я останусь здесь руководить, у меня нет такой высокой квалификации... Желаю успеха.

Догадался ли Подкорытов, зачем искал его Рамазан Ахметшин, или повлиял повторный вызов в горком, или просто так уж совпало, но в тот же день после смены подошел Голышкин.

— Опять тебя вызывают, Ахметшин. Теперь к начальнику в конторку.

И Рамазану показалось, что помощник начальника чем-то недоволен.

В цеховой конторке, кроме начальника цеха Подкорытова, никого не было.

— Вот и пришло твое время, Ахметшин,— сказал Подкорытов весело. Улыбнулся и спросил: — Признайся, сильно на меня обижаешься?

— Сильно,— подтвердил Рамазан.

— Вину свою признаю,— сказал Подкорытов.— Но у нас не было другого выхода. Теперь самое трудное позади, начинается настоящая работа...

«Вот оно,— подумал Рамазан.— Правильно говорил Кашаф Галимзянович».

— Начинается настоящая работа,— повторил Подкорытов.— На тебя большая надежда. По твоей высокой квалификации и производственному опыту вижу тебя руководителем участка...

— Валентин Александрович!— взмолился Рамазан.— Я утром чуть отбилсь, а вы опять руководителем...

— Ты меня не понял. Место твое за тобой. Завтра встанешь к станку. А руководителем... Просто на тебя будут равняться остальные. Ты должен быть лидером. Понятно?..

Рамазан молчал.

— В футбол играешь?— спросил Подкорытов совсем неожиданно.

— Играю...

— Значит, лоймешь. Когда команде трудно, кто-то должен взять игру на себя. Понятно?.. Так и в любом деле. Перед глазами должен быть пример.

Подкорытов достал из шкафа рулон каких-то чертежей и снова присел к столу.

— Наш цех необычный,— продолжал Подкорытов.— Он и называется цех нестандартного оборудования. Потому что в нашем цехе изготавливаются не стандартные, а штучные изделия, штучные детали. Это значит, одну и ту же деталь два раза подряд тебе не дадут. Каждый раз новая. И всякий раз заново налаживать процесс обработки. Новая оснастка, новая заточка резцов, ну да ты понимаешь...

— Понимаю,— сказал Рамазан.— Так это же очень хорошо. Очень интересная работа!

— Интересная, но... не очень прибыльная. Оплата по тарифу. Правда, премиальные еще,— добавил Подкорытов не совсем, впрочем, уверенно.

— Это не главное,— возразил Рамазан.— Главное, чтобы настоящая работа. Чтобы интересно. За такой и ехал сюда.

Подкорытов понял, что сказано не для красного словца, а от чистого сердца. И еще понял — повезло. Он, по существу, случайно отыскал очень нужного человека. На этого невысокого, но ладно сложенного паренька можно опереться.

— В нашем цехе главное — качество,— говорил Подкорытов.— Если изготавливается деталь в одном экземпляре, она должна быть без малейшего изъяна. Потому что заменить ее нечем. Потому и не торопим, потому и оплата по тарифу. Но это не значит, что можно работать с прохладцей, вразвалочку. У нас план, и такой же напряженный, как у любого другого цеха. Так что надо и качественно и провор-

но. Еще точнее: работать не за страх, а за совесть. А для этого нам нужны маяки, чтобы было на кого равняться. И такие маяки, чтобы не затухали.

— Работы я никогда не боялся, Валентин Александрович,— сказал Рамазан.— Надеюсь быть не хуже других.

— Нам надо, чтобы лучше других.

— Буду стараться.

— Поставили к станку!— выпалил Рамазан с порога и застыл, словно оцепенев, в проеме двери.

В прихожую выглянули супруги Ветлугины.

— Я так и понял, когда узнал, что тебя к начальнику вызвали,— сказал Сергей.

— А мне ни слова,— упрекнула Зина.

— Да ведь черт знает, что у начальства на уме,— оправдывался Сергей.— Бухнешь на радостях, а его, может, по плотницкой части вызвали.

— Кончилась плотницкая часть, начинается токарная!— торжественно провозгласил Рамазан и даже попытался изобразить что-то плясовое с притопом.

— Теперь все определилось, можно и за Наташкой ехать,— сказала Зина после обеда.

— Давно пора,— согласился Рамазан.— Я уж несколько раз порывался тебе сказать.

— Нельзя было ехать, пока ты не при деле,— возразила Зина.— Зачем ребенка туда-сюда таскать? Теперь можно и привезти.

— Когда думаешь ехать?

Зина стала вычислять:

— Сегодня у нас среда. Завтра попрошу на пятницу отгул. За три дня обернусь, если там не задерживаться. Значит, в пятницу и поеду.

— По-хорошему, надо бы и мне с тобой,— сказал Рамазан.— Одной с ребенком да еще в такую стужу — в дороге не сахар. Но опять же неудобно соваться к начальнику, с первого дня отгул просить...

— И не думай!— строго сказала Зина.— А то, чего доброго, снова в плотники угодишь.

Зина, как и собиралась, уехала в пятницу утром. Рейсовым автобусом до железнодорожной станции, а там еще шесть часов поездом. Ей дали отгулы на пятницу и на понедельник, но рассчитывала она управиться за три дня и вернуться в воскресенье вечером, а понедельником подстраховаться. Рамазан накануне все ахал и охал, что ей ехать одной, так что Зина в конце концов не вытерпела.

— Да я что — безрукая или вовсе безголовая? Одного ребенка не довезу!..

Но Рамазан возразил: мало ли что может стрястись в дороге, опять же везти не только Наташку, а и бельишко, и одежку, и обувку ее. Пока не вернется Зина с Наташкой, на душе у него будет неспокойно.

— А бывает ли у тебя когда спокойно-то?— заметила Зина.

Договорились, что Зина, выезжая в обратный путь, даст срочную телеграмму, и Рамазан встретит их на автостанции. К слову сказать, самым трудным участком на протяжении всего пути был отрезок от автостанции до квартиры. На поезд посадят родные. С поезда на автобус пересечет нетрудно: автобус подходит к самому вокзалу. А вот здесь, в Высоком Береге, проблема. Трамвайная линия в Новый город



только еще строится, на такси не надейся: на весь город полдюжины машин, так на них не ездят, а катаются.

Рамазан пообещал раздобыть салазки. Да размером побольше, чтобы уместить и ребенка и вещи.

Сергей, услышав, поднял соседа на смех.

— В доме каждый второй жилец — шофер, а ты салазки искать! Неужели не договоримся?

Рамазан насупился.

— Не умею я договариваться.

— Беру на себя, — сказал Сергей. — Ты только выясни расписание и скажи день и час.

В субботу утром пришла телеграмма. Зина сообщила, что придет в воскресенье, в семь часов вечера.

Сергей тут же собрался, как он выразился, «в поиск». Через полчаса вернулся.

— Порядок! Завтра в восемнадцать ноль-ноль карета будет у подъезда.

— Карета? — улыбнулся Рамазан.

— Самая первоклассная. Крытый фургон.

— Это так важно, что крытый?

— Соображать надо! — сказал Сергей. — Зину с ребенком в кабину, а нам с тобой в кузов. Ну-ка по морозцу, да с ветерком?

Рейсовый автобус запаздывал. Шофер фургона начал было ворчать, что не уговаривался стоять тут до утра.

Рамазан нервничал. Кто знает, по какой причине

опаздывает рейсовый? Всякое может случиться ночью в дороге...

Когда стало совсем немого от мрачных мыслей, попросил Сергея:

— Поговори, может, поедем навстречу?..

Шофер сперва и слушать не хотел.

— Вам только палец дай, вы всю руку оттапаете! — возмущался он. — Как договаривались? От станции до дому. Уже второй час тут загораем, а теперь еще навстречу. Куда ехать-то, до самого вокзала?..

— Ты пойми, — убеждал его Сергей, — с ребенком ведь. Сколько он вытерпит на морозе? Что у тебя, своих нет?..

Или этот довод подействовал, или шофер сообразил, что стоять здесь и ждать — а вдруг автобус застрял совсем недалеко от города — дольше обойдется, но только, облегчив душу крутым словом, уступил просьбам.

— Где наша не пропадала... Садитесь! — скомандовал шофер, поднимаясь в кабину.

— Одному надо остаться, — сказал Рамазан, — можно и разминуться.

— Ну, поезжай, — согласился Сергей.

Рейсовый автобус повстречался им на выезде из города. Пропустили его, развернулись и поехали следом. Окна автобуса замерзли, и, сколь пристально ни вглядывался Рамазан, нельзя было даже разобрать, есть ли кто в нем.

Рамазану казалось, что едут они нестерпимо медленно, но понукать шофера было бессмысленно, он вел машину, отступая лишь на положенную дистанцию. Оставалось взять себя в руки и набраться терпения.

Первой из автобуса спустилась Зина с двумя огромными узлами в руках. Не успел Рамазан удивиться, тем более встревожиться, как в дверях автобуса возникло заспанное личико Наташи. Она покоилась на руках деда.

— Отец! — закричал Рамазан, бросился к нему, обнял и расцеловал обоих сразу.

— Дома лобызаться будете, — с притворной суровостью оборвал сцену шофер. — Садитесь проворнее, домчу в один момент.

Когда усаживались в машину, возникло минутное замешательство. Абдулла Ахметович настаивал, чтобы в кабину вместе с Наташей села Зина.

Но Зина решительно отказалась.

— Вы садитесь, папа. — И как решающий довод привела: — Когда еще внучку-то увидите?

— Правильно! — сказал шофер. — Старого и мало-го в кабину. Остальных в фургон.

Пока ехали до дому, Зина, пригревшаяся возле мужа, успела рассказать ему все новости: как ее встретили там, как сбежались подружки, как все товарищи Рамазана спрашивали про него.

— Хорошо, что ты отца упростила проводить вас, — сказал Рамазан.

— Какое там упростила — отговорить не могла, — возразила Зина. — «Куда ты одна в такую дорогу! Да еще пересадка, да там ночью как доберешься?» Я ему: «Встретят меня, я телеграмму послала», а он: «Телеграмму свою сама получишь, когда домой приедешь». И ни в какую: «Поеду и все». И мать то же: «Надо, надо проводить. Нельзя одну с ребенком отпускать»... — Зина прижалась потеснее к Рамазану, поцеловала в темноте и прошептала: — Очень хорошие у тебя старики. Что один, то и другой... Все в тебя...

Наташу напоили теплым молоком и уложили спать. А взрослые, включая и чету Ветлугиных, собрались на кухне.

Как и водится, за столом завязался оживленный разговор. Абдулла Ахметович интересовало все: скоро ли выедет из заводских ворот первая машина, что за работа у Рамазана и какие заработки, есть ли промтовары и продукты в магазинах и на рынке, подолгу ли приходится стоять в очередях, и остается ли время в кино сходить, и далеко ли от квартиры кинотеатр...

Спрашивал один, рассказывали все, и, таким образом, Абдулла Ахметович получил обстоятельные ответы.

— Теперь вижу, что не зря ты сюда приехал, — сказал он сыну. — Дело по уму и по сердцу — самое главное для рабочего человека.

— Нелегко ему было, папа, пробыться, — заметила Зина. — По каким только работам не мотали! А на своей-то он всего-навсего третий день.

— У него впереди дней много, — возразил Абдулла Ахметович. — А если нелегко здесь пришлось первое время, так не нами сказано: не отведает горького, не поймешь сладкого.

— А может быть, отец, и тебе сюда перебраться? — предложил Рамазан. — У завода своя железно-дорожная ветка, свое депо. Найдется и для тебя работа.

— Ой, как бы хорошо! — обрадовалась Зина. — Зажили бы все вместе, одним домом.

— Нет, я серьезно говорю, отец! — воскликнул Рамазан, заметив усмешку Абдуллы Ахметовича. — Моих трудностей у тебя не будет. Машинисты нужны, сразу на паровоз поставят, и с жильем сейчас легче, каждый месяц несколько домов сдают. А если захочешь в своем доме жить, здесь запросто купить можно в Старом городе, многие продают. Вместе-то всем куда лучше. Годы у вас с матерью такие — хорошо, когда свои близко...

— Спасибо, сын, за заботу, — кивнул Абдулла Ахметович, — только сам знаешь, не охотник я от работы работу искать. Я за всю жизнь ни разу не сменил места по своей охоте. Это я не в укор тебе говорю. Ты свою работу искал, а мне в жизни повезло. Я вот уж скоро сорок лет на паровозе. Приходилось переходить из одного депо в другое, но по приказу, а не по личному своему желанию... А за заботу спасибо. — Вставая из-за стола, Абдулла Ахметович добавил: — Очень хорошо получилось, что приехал к вам в Высокий Берег. Теперь сам увидел, как живете, матери расскажу. И она спокойна будет...

Утром Зина проводила свекра до автостанции.

Прощаясь, Абдулла Ахметович сказал невестке:

— На лето привози дочку к нам. У нас огород, свои витамины. И сами приезжайте в отпуск. Будем ждать.

На работу Зина не пошла, отгульный день пригнулся на домашние дела. Надо было перебрать Наташкины платица и бельишко, подштопать и погладить, а те, из которых выросла, перекроить или надставить. С Полиной условились, что, пока не откроется детсад в их микрорайоне, та будет днем присматривать и за Наташкой. А потом, когда детсад откроется — в середине, в крайнем случае в конце следующего месяца, — Зина, которая уже определена в этот сад медицинской сестрой, будет обоих ребятишек водить в садик. Тогда и Полина сможет пойти на работу.

Полина давно мечтала об этом.

— Я домашним хозяйством не гнушаюсь, — говорила она Зине, — но когда слышу: вот, мол, счастливая, не работает, дома сидит, — всегда думаю, тебе бы такого счастья, да полный короб. Верить ли, — и сама усмехнулась своим мыслям, — раньше, когда работала на фабрике, норовила с любого собрания убежать, а теперь так и на собраниях бы в радости посидела. На производстве ты весь день на людях, а дома, как взаперти. Еще хорошо, мужики наши сдружились, и мы одной семьей живем, так хоть вечером, когда все в сборе, душу отведешь...

— А все-таки и на работу ходить и домашнее хозяйство вести нелегко, — возразила Зина. — Что тут говорить, скоро мы с тобой сами убедимся.

— Не пугаюсь нишечки, — сказала Полина. — Я уж все обдумала на два ряда. Детишки в саду. Сами обедаем на работе. Дома никакой стряпни. Только в выходной. Остается что? Утром накормить ребят и мужиков. Вечером чаем напоить. Ну, еще прибраться, и все. Осилит, подруга, не робей!..

— Я не робею. Все эти домашние университеты давно прошла, — ответила Зина. — Прибраться и чаю вскипятить — это еще не все. Надо и пошить и постирать... да мало ли чего. В домашнем возу много груза.

— На постирушки суббота,— решила Полина.— Опять же, соображай: если тянуть будет тяжело, мужиков припряжем. Мой, например, на всякую мою просьбу отзывчивый. Да и Рамазан, по-моему, такой.

— И мой тоже,— подтвердила Зина.

9

Сразу после обеденного перерыва начальник цеха нестандартного оборудования вызвал к себе токарей Рамазана Ахметшина и Сергея Ветлугина.

— Как думаешь, зачем? — спросил Рамазан товарища.

— Если обоих — значит, не плотничать,— не задумываясь, ответил Сергей.

— Я серьезно...

— А если серьезно, то и спрашивать нечего — откуда нам знать, какие у начальства намерения?

Подкорытов усадил обоих к своему столу, на котором разложены были огромные листы чертежей.

— Вот и пришел ваш час, молодые люди! — произнес он с некоторой торжественностью.

Подкорытову далеко еще было до так называемого «среднего возраста», но он любил и старался казаться старше своих лет, с тем чтобы выглядеть солиднее.

— Если я не ошибся — а я уверен, что не ошибся,— вы оба самые квалифицированные токари, какими цех располагает в настоящее время. Правильно я говорю?

Рамазан и Сергей молчали.

— Правильно,— сказал Подкорытов.— Скромность украшает! — И тут же спросил другим, самым обычным деловым тоном: — Чертежи читаете?

Сергей и Рамазан переглянулись.

— Читаем.

— Тогда прошу поближе к столу.

Подкорытов взял из груды кальку и подвинул ближе к тому концу стола, где сидели токари.

— Цех получил ответственнейшее и почетнейшее задание: изготовить детали мотора для первого большегрузного автомобиля. Сейчас для первого, а потом еще для тридцати машин.

— В чем смысл? — спросил Рамазан.— И сколько же будет стоить такой автомобиль?

— Смысл в том,— ответил Подкорытов,— чтобы создать машину в натуре. Сейчас она,— он показал рукой на груды чертежей,— пока еще только на бумаге. Надо сделать ее, испытать, устранить обнаруженные дефекты. Словом, подготовить к массовому производству. Это одна задача. Есть и другая, не менее важная. Все эти детали,— он снова ткнул в ворох чертежей,— будут изготавливаться на автоматических линиях. Сейчас эти линии монтируются. И надо, чтобы к тому времени, когда они начнут выпускать детали, был отлажен цех сборки — иначе говоря, главный конвейер. Вот пока отлаживают главный конвейер, и будут собраны тридцать автомобилей, детали которых изготовим мы с вами. Ясно?

Друзья молча кивнули.

— Теперь о том, что касается лично вас. Детали самой разной сложности. Самая серьезная из них — блок цилиндров. Это — сердце мотора, сердце всего автомобиля. Главный инженер вообще усомнился в том, что мы сумеем изготовить эту деталь на обычных токарных станках. Я поручился, что сумеем. И вот эту деталь, сердце первого нашего автомобиля, поручаю изготовить вам. Теперь судьба

первого автомобиля, честь нашего цеха и... — он усмехнулся,— и моя репутация в ваших руках. Вот так... Принимаете задание?

— Покажите чертежи,— сказал Рамазан.

Потом, когда прошло немало времени и первый большегрузный автомобиль уже победно сошел с главного конвейера, Рамазан Ахметшин, вспоминая беседу с начальником цеха, говорил, что взглянул на пододвинутый ему чертеж и почувствовал, как волосы встают дыбом. Ему приходилось, особенно на «Дальзаводе», изготавливать очень замысловатые детали к судовым машинам, но все это не шло ни в какое сравнение с этой деталью.

— Отличается, как детский велосипед от гоночного автомобиля. Столько же разницы.

Он хорошо помнил и рассказывал откровенно, что первой мыслью было честно заявить — это ему не по силам, зачем морочить голову человеку, обратившемуся к ним с открытой душой. И не боясь ответственности останавливала Рамазана. Он был, как всегда, предельно честен перед собой: ясно, что изготовить такую деталь ему не по силам. По своей конфигурации деталь не походила ни на что виденное, тем более изготовленное им раньше.

— Палка о двух концах, а у этой детали их было больше десятка,— говорил Рамазан.

Он бы и отказался, не боясь ни гнева начальника, ни упреков в малодушии и трусости, но остановила одна мысль, вовремя пришедшая в голову. Для первого, для самого первого на свете автомобиля изготавливал же кто-то блок цилиндров... Тогда не было никаких автоматических линий. Значит, какой-то мастер на таком же, а скорее всего на более примитивном станке обработал деталь, изготовил сердце первого автомобильного мотора...

Значит, это по силам мастеру. Все дело в умении, терпении и смелости. Нет, нельзя опускать руки. Он ведь искал всю жизнь интересную работу. Вот она.

— Что думаешь, Сергей? — спросил он товарища.

— А чего тут думать,— ответил Сергей, насупясь.— Глаза бояться, руки делают. И наши руки не хуже других.

10

Дни и ночи смешались. Работали круглосуточно. Цех на ночь не закрывали. Толстячок Голышкин получил новое назначение — ночным начальником. Ему было приказано создать все условия бригаде токарей, изготавливающих детали первого мотора. Голышкин старался, как мог, и достиг многого. Завтраки, обеды, а если надо, и ужины доставляли в цех в термосах. Для отдыха было оборудовано специальное помещение, где у каждого токаря была своя койка. Многие, а Рамазан и Сергей чаще других, оставались здесь ночевать.

Женщины сперва недоумевали, потом сочувствовали и наконец стали урезонивать.

— Нельзя же так изводить себя,— говорила Зина.— Ну на день, ну на два позже изготовите свой блок. Не казнят же вас за это?..

Полина не преминула отпустить шуточку с подкорыткой:

— Знаем мы этот блок! Кралечек завели. Их тут, бесхозных, понаехало со всех сторон...

— Не до шуток! — сердилась Зина.— Нельзя так над собой изгаляться. Наташка и та спрашивает: «А что, папа теперь совсем не спит?»

Сергей от разговоров отмахивался, а Рамазан терпеливо разъяснял:

— Самую трудную деталь нам с Сергеем дали...

— А вы что — у бога тельца съели? — вставляла Полина.

— Нам доверили. Позвали и спросили: «Сможете!» Мы сказали: «Сможем». Теперь надо слово держать.

— Дорого же вам слово обходится, — замечала Полина.

— Не в одном слове дело, — объяснял Рамазан. — Все остальные детали скоро готовы будут, одна наша не готова. Нельзя машину собрать. Все будут нас ждать. Весь завод!

Против таких убедительных и веских доводов трудно было что-либо возразить. И женщинам — хочешь не хочешь — приходилось соглашаться.

Терпение и труд все перетрут. И хотя на многодневном и многоночном трудовом пути Рамазана и Сергея не раз попадались и ухабы и даже пропасти, терпение и умение, упорство и мастерство, которых обоим было не занимать, помогли преодолеть все препятствия.

Еще говорят: конец венчает дело. И это очень точно сказано. Всякое дело начинается в надежде, что будет закончено. Иначе к чему бы и начинать. И пока не закончено, оно еще и не дело, а только зачин. Но в этой пословице заключен и второй смысл. Когда дело закончено, то, само собой разумеется, все трудности позади. И радость успеха, венчая дело, заслоняет все оставшиеся позади тревоги и волнения.

Когда главный конструктор после тщательного осмотра и длинной серии всевозможных испытаний определил, что изготовленный токарями Ахметшиным и Ветлугиным блок соответствует всем условиям и может быть принят с оценкой «хорошо», радости и гордости друзей не было предела. И не хотелось даже вспоминать о бессонных ночах, о мучительных — до головной боли — тревогах по поводу временных неудач, о сбитых в кровь пальцах и прочих, теперь уже можно сказать, мелочах, о всем том неизбежном, чем сопровождалась эта сумасшедшая работа...

Воистину: конец венчает дело.

Главный конструктор доложил главному инженеру, что все детали, в том числе и блок цилиндров, испытаны и могут быть переданы в цех сборки.

Выслушав это сообщение, главный инженер повернулся к Подкорытову:

— Не знал, не знал, что у вас такие кудесники. Попробуйте теперь не выполнить какое-нибудь задание!..

Глава восьмая

ПРИЗНАНИЕ

I

В тот день, когда весь город готовился к встрече с первенцем Большого автомобильного, Рамазан и Сергей заканчивали изготовление своего шестого блока. Еще четыре блока были сработаны руками Василия Петреску и Сени Дракохруста. Василий и Семен тоже не сразу

решились взяться за столь опасную деталь. Рамазан помогал начальнику цеха уговаривать их.

Так же, день и ночь, трудились наладчики автоматических линий и главного конвейера. Лучшим из лучших доверена была сборка первого автомобиля.

Наконец, свершилось. Главный конструктор поднялся в кабину, уселся на место водителя и сам вывел машину из ворот цеха. Рамазан и Сергей стояли в толпе, обступившей автомобиль, и с волнением прислушивались, как работает изготовленное их руками сердце мотора.

Рамазан прижал руку к груди.

— Мое громче стучит.

— Оба хорошо стучат, — сказал Сергей.

Начались предельно обстоятельные, можно сказать, придирчивые испытания. Машину гоняли взад-вперед по заводскому двору. И на тихом и на самом полном ходу. И порожняком и тяжело нагруженную. И по ровным бетонным плитам и по ухабам, специально оборудованным для такого случая.

Машина металась из конца в конец обширного заводского двора, и казалось, что она дышит тяжело, как загнанная лошадь, и по блестящим свежей краской бокам кабины стекают крупные капли трудового пота...

Генерального директора торопило министерство. Он торопил главного инженера. Тот отбивался, как мог, но все же и сам потираливал главного конструктора. Главный конструктор был неумолим. Всем отвечал одно и то же: «Пока не буду уверен в машине, как в самом себе, акта не подпишу!»

У него, кроме личной убежденности в своей правоте, была крепкая опора. Секретарь горкома Кашаф Галимзянович Хакимов безоговорочно поддерживал его.

— Тебе доверено, ты в ответе. Никого не слушай, кроме своей головы и своей совести. — Усмехнулся и добавил: — Меня тоже торопят.

Завершился наконец и цикл испытаний первого автомобиля.

Выслушав рапорт генерального конструктора, Добрынин спросил с усмешкой:

— Вы, Александр Степаныч, каждый автомобиль собираетесь так испытывать?

— Никак нет, — вполне серьезно ответил главный конструктор. — Эта программа испытаний предусмотрена только для первого автомобиля. — И только тут позволил себе улыбнуться: — Первому везде и всегда труднее...

2

Митинг по поводу выпуска первого автомобиля решили провести на главной площади Нового города.

Многие настаивали на том, чтобы провести митинг на привычном месте, на площади перед кинотеатром в поселке строителей. Но Кашаф Галимзянович отстаивал свою точку зрения:

— Посмотреть на первую машину придут все. И стар и мал. Так пусть они придут в Новый город и увидят его своими глазами. А то некоторые все цепляются за свои старые хатки, и это серьезная помеха строительству. Поэтому проведем митинг на главной площади.

— Да ее еще и нет! — воскликнул один из оппонентов. — Сейчас это только место для площади.

— Площадь заасфальтирована, так же, как и все подходы к ней,— возразил Кашаф Галимзянович.— Не со всех сторон застроена, правда. Но и сейчас есть на что посмотреть.

Вдруг вовсе неожиданно заведующий горкомхозом предложил повременить с митингом и совместить его с первомайской демонстрацией, благо до праздника осталось всего с небольшим две недели. Накладно и обременительно для городского бюджета два раза в течение одного месяца проводить генеральную уборку улиц и площадей города.

— Не мелочись,— сказал ему Кашаф Галимзянович.— Грешно сдерживать инициативу трудящихся. Они до праздника еще несколько машин выпустят...

— Четыре как минимум,— заверил генеральный директор завода.

— ...вот видишь, а ты хочешь оставить их к Первомай с одним автомобилем...

И природа пошла навстречу людям. День выдался ясный и теплый, в пору хоть для середины мая.

На главной площади Нового города, напротив недостроенного еще здания Дома Советов соорудили временную дощатую трибуну. Достаточно вместительную, потому что Кашаф Галимзянович распорядился пригласить на нее всех рабочих и инженеров, участвовавших в изготовлении первого автомобиля.

К шести часам — митинг решили провести сразу после окончания первой смены — площадь заполнилась народом. Кашаф Галимзянович оказался прав. Пришли и те, кто на митинги обычно не ходит. В многотысячной толпе едва ли не половину составляли женщины и дети, разноцветные одежды которых приметно выделялись среди темных спецовок заводчан и серых брезентовых комбинезонов строителей.

В ожидании начала торжества собравшиеся с интересом оглядывали главную площадь.

А посмотреть действительно было на что.

По обоим бокам площади высились многоэтажные жилые дома из панелей веселой расцветки: по одну сторону площади — светло-зеленые, по другую — неярко-желтые, со встроенными лоджиями и сплошь застекленными первыми этажами, где будут магазины.

За трибуной просматривались первые этажи недостроенного еще здания, где разместятся городские партийные и советские организации. Над ровной линией незавершенных этажей вздымались башни подъемных кранов.

И, наконец, позади собравшихся беспорядочно громоздились холмы глинистого грунта. Здесь закладывали фундамент оперного театра.

На нижнем ярусе трибуны среди приглашенных стояли Рамазан, Сергей и остальные токари РИЗа.

Рамазан был заметно смущен и как будто прятался за спины товарищей. У него только что был трудный разговор с начальником цеха. Подкорытов спустился с верхнего яруса и, разыскав Рамазана, сообщил ему, что он — Рамазан Ахметшин — включен в список ораторов и поэтому должен сейчас вместе с ним подняться наверх. Рамазан наотрез отказался выступать. Подкорытов, особенно не уговаривая, попросил его все же подняться на верхнюю трибуну. Но Рамазан, понимая, что там ему предстоит еще более трудный разговор, защищался с мужеством отчаяния. В конце концов Подкорытов махнул рукой и увел с собой Сеню Дракохруста. Рамазан несколько успокоился, но, допуская, что наверху могут принять иное решение, на всякий случай укрылся в самом дальнем уголке трибуны.

— Чего ты так труханул? — удивился Сергей.— Подумаешь, велико дело — два слова сказать в трубочку. Когда еще такой случай представится!..

— Не люблю и не умею,— сердито ответил Рамазан.

— Не умею!... Что тебе — доклад о международном положении делать?.. Сказал бы: наша бригада гремела и будет греметь! Больше от тебя ничего и не требуется. А что, как, почему и зачем, разъясняет генеральный и другие начальники.

— Вот пусть они и говорят.

Митинг открыл председатель городского Совета, плечистый пожилой человек с такими густыми бровями, что издали казалось, будто на лице его две пары усов.

Вначале его слова были едва слышны, потом в микрофоне что-то щелкнуло, и басовитый голос оратора прорвался на полную мощность:

— ...посвященный выпуску первого нашего большегрузного автомобиля, объявляется открытым...

Самодеятельный духовой оркестр Дома культуры строителей старательно, хотя и не очень стройно, исполнил гимн. Все стоящие на трибуне и на площади подтянулись, и только малолетки продолжали неугомонно шнырять вокруг старших.

Первым оратором был генеральный директор завода Добрынин.

У Добрынина был редкостный дар: быстро, почти мгновенно овладевать любой аудиторией. О чем бы он ни рассказывал, слушать было интересно. Даже странно, что у человека, служебной обязанностью которого было приказывать, сохранилось такое умение убеждать.

И сегодня он рассказывал о том, что всем, даже малолеткам, было хорошо известно, что на заводе, который перевернул жизнь здешних старожилов и стал новой вехой в жизни каждого прибывшего сюда, на этом близком каждому заводе изготовлен первый автомобиль, — все-таки слушали его почти зачарованно. Рассказывая об известном и знакомом, умел он зацепить струну в душе каждого. Добрынин вспомнил первые труднейшие дни строительства, когда квалифицированным машиностроителям приходилось становиться землекопами и грузчиками. Вспомнил о переживаниях старожилов, которым под напором стройки приходилось оставлять насиженные гнезда и перебираться в бараки-временяки. Вспомнил, как пускали первую станочную линию в цехе без стен и крыши и как в этом цехе гуляла злая январская метель...

Потом заговорил об автомобиле, подобного которому еще не выпускалось в стране, о Новом городе, облик которого уже просматривался в возведенных кварталах.

Многие успели выступить после директора, когда на площадь на всем газу вынеслась легковая машина и, пронзительно взвизгнув тормозами, остановилась, едва не врезавшись в толпу. Из машины выскочил высокий человек в кожаной куртке и, раздвигая тесно стоящих людей, торопливо устремился к трибуне.

— Дежурный по заводу,— озабоченно сказал Добрынин, склоняясь к Кашафу Галимзяновичу.— Видимо, что-то случилось...

Дежурный бегом поднялся по ступенькам трибуны, подошел к генеральному директору и подал ему бумагу:

— Телефограмма из министерства...

Добрынин облегченно вздохнул, внимательно прочел телефограмму и, передавая ее молча смотревшему на него секретарю горкома, спросил:

— Сами объявите?

Как раз заканчивал свою краткую речь Сеня Дракохруст, и Кашаф Галимзянович подошел к ведущему митинг:

— Предоставь мне слово.

Председатель горсовета не удивился внезапному изменению распорядка митинга — ясно, что причиной была поспешно доставленная бумага, которую сейчас держал в руках секретарь горкома.

Кашаф Галимзянович подошел к микрофону.

— Разрешите зачитать Указ Верховного Совета СССР. — Кашаф Галимзянович обвел взглядом затихших в ожидании людей. — «За успехи в освоении новой техники и в связи с выпуском первого автомобиля наградить наиболее отличившихся рабочих, инженеров и техников Большого Автомобильного завода...» — И после короткой паузы: — Орденом Ленина: главного конструктора завода Калинова Александра Степановича. Орденом Трудового Красного Знамени: токаря Ахметшина Рамазана Абдулловича...»

Сергей раньше Рамазана понял смысл услышанного и со всего размаха ткнул приятеля в бок. И тут же обмяк сам:

— ...токаря завода Ветлугина Сергея Васильевича...

— Тебя первого, все правильно, — сказал Сергей товарищу.

— Чудак ты, — сказал уже несколько оправившийся Рамазан, — это же по алфавиту...

3

С деталями для автомобильного мотора было покончено. Теперь их изготавливали на пущенных в действие автоматических линиях. Но работа в цехе нестандартного оборудования не стала менее сложной и менее интересной.

Сегодня утром Рамазан получил от сменного инженера чертеж весьма замысловатой конфигурации.

Инженер разъяснил, что это детали к новой модернизированной модели большегрузного автомобиля.

— Только начали машину выпускать, и уже новую модель готовим!.. — удивился Рамазан.

— Как же иначе? Техника не может и не должна заставаться на месте.

— Это понятно, — возразил Рамазан. — Только выпуск действующей модели еще не налажен, а уже занялись новой?..

Вместо ответа инженер сам задал вопрос:

— Скажите мне, сколько времени вам потребуется, чтобы изготовить эту матрицу?

— Не знаю, — признался Рамазан. — Может быть, в две недели уложусь...

— Вот видите, — сказал инженер. — На одну матрицу две недели. А их потребуются сотни и еще более сложных конфигураций. Теперь вам понятно, почему уже сегодня начинается разработка новой модели?

— Понятно, — ответил Рамазан.

Но если стало ясно, почему надо изготавливать эту замысловатую матрицу, то это вовсе не значит, что было понятно, как ее изготовить. Было над чем поломать голову.

Мимо заставившего над чертежом Рамазана прошел начальник цеха. Не стал отвлекать его расспросы, сказал только:

— После работы зайдешь ко мне.

Рамазан хотел было обратиться за советом к нему, но сдержался. Сначала надо самому раскинуть мозгами, а уж если своих окажется маловато, тогда идти за чужими.

Правда, часа три, если не больше, ушло, пока сообразил, как подобраться к этой будущей матрице. Три часа — это, считай, полсмены. Но не напрасно же они ушли. Тут дело такое: когда мозгами шевелишь, становишься умнее. А это надолго. Стало быть, есть расчет...

После работы Рамазан зашел в цеховую контору. Она теперь помещалась в самом корпусе завода, занимая несколько комнат на антресолях, вознесенных над станочными линиями. У кабинета Подкорытова в проходной комнате сидела, как положено, секретарь-машинистка.

В полном соответствии с переменной декорации изменился и облик действующих лиц. Секретарь-машинистка была теперь уже не в стеганом ватнике и шапке с длинными висячими ушами, а в нарядной кофточке и вельветовых брючках, и сразу видно стало, какая она симпатичная девушка.

— Вам назначено? — спросила она у Рамазана, остановившегося в дверях приемной.

— Велел зайти после работы.

— Тогда проходите. — И показала на полированную дверь с табличкой «Начальник цеха».

Подкорытов был в обычном своем потертом кожаном пиджаке, но в галстук, чего раньше Рамазан за ним не замечал.

Подкорытов без предисловий перешел к делу.

— У нас не хватает станочников. Из Казани прислали двадцать выпускников ПТУ. Как быстрее поставить ребят к станку? Решил посоветоваться с тобой. Почему с тобой? Ты сам пришел на производство из ПТУ. Как добиться, чтобы эти ребята стали такими же мастерами?..

— Из ПТУ тоже не все одинаковые приходят, — подумав, сказал Рамазан.

— Согласен с тобой. И способности и старание не у всех одинаковы.

— Я не про то. Учителя не одинаковые. У меня был очень хороший учитель. Но таких, как Николай Николаевич Колосов, нет больше на свете, — с предельной убежденностью произнес Рамазан. — Нет, я серьезно, — сказал он, заметив улыбку на лице Подкорытова.

Начальник цеха как-то особенно пристально посмотрел на своего собеседника. Рамазан Ахметшин открылся ему новой гранью.

— Это очень хорошо, что ты помнишь и ценишь своего учителя. Но у нас Николая Николаевича Колосова нет. А есть... мы с тобой. Улавливаешь мысль?

— Не улавливаю, — честно сознался Рамазан.

— Ты очень хорошо сказал о Николае Николаевиче... Вот, если бы и ты так для этих ребят...

— Да что вы, Валентин Александрович! — изумился Рамазан. — Какой из меня учитель?..

— Тебя учили, а других не обязательно?..

— Зачем вы так, Валентин Александрович! — упрекнул Рамазан. — Разве в этом дело?.. Если берешься, должен выполнить. А не можешь выполнить, все равно берись?..

— Как же быть? — спросил Подкорытов. — Если тебе не по зубам, тогда кому в нашем цехе?

Рамазан думал долго, наконец произнес:

— Всем...

— Теперь я не улавливаю, — сказал Подкорытов.

— Вы про меня сказали — мастер. Таких мастеров у нас много, не я один. Все будут учителями.

— То есть?..

— Каждому дать ученика, — пояснил Рамазан. — Одного научить можно своим примером. И присмотреть за ним можно...

Подкорытов задумался. Покусал нижнюю губу, произнес как бы про себя:

— Заманчиво... — Поднял глаза на Рамазана. — Мне ведь тоже нелегко лучшего токаря лишиться... А с другой стороны, двадцать токарей снизят выработку. То же на то и выйдет, если не хуже...

— Почему снизят?! — вскинулся Рамазан. — Нельзя снижать! Больше должны давать, помощник под руками. Ну, может быть, несколько первых дней придется после смены прихватить час-другой. А потом все наладится.

— Думаешь, согласятся? — спросил Подкорытов все еще с сомнением в голосе.

— Конечно, согласятся, — заверил Рамазан. — Если кому и не захочется, если найдется такой, все равно стыдно будет от всех отставать.

Как ни уверен был Рамазан, что все охотно последуют его примеру и возьмут шефство над новичками, но все же решил проверить. Рассказал Сергею о своем разговоре с начальником цеха. И с первых слов понял, что сомнения Подкорытова были далеко не беспочвенными.

Сергей прямо не возразил, но заметил, что нынешняя молодежь, хотя бы и те же пэтэушники, совсем на других дрожжах замешаны.

— Мы еще войну помним. Хотя сами не нюхали, а все-таки знаем, как первые годы после войны жили. И соображаем, почему фунт лиха. А эти... — Он помолчал, подыскивая определение, но так и не нашел его. — А эти пришли на готовенькое. Папку на фронте не убили, из детского садика в школу, из школы в ПТУ, папа-мама выкормили... Не о чем самому заботиться. Значит, транзисторы, магнитофончики, волосы до плеч...

— И ты про волосы, — вздохнул Рамазан. — Мне самому не нравится, ну что делать, если мода нынче такая. Может, придет время, под машинку стричься будут или вовсе бритыми ходить...

— Ладно, хватит агитировать, — сказал Сергей улыбаясь. — Не наводи тень на ясный день, говори прямо: чего от меня требуется?

— Совсем немного. Возьмешь, как и я, одного парня под свою команду и подпишешь со мной договор на соревнование.

— О чем?

— А чей ученик волоса длиннее отрастит.

— Давай не триви.

— Без слов понятно. Чей ученик быстрее всю науку пройдет и раньше к станку станет. Принимаешь?

Василия Петреску и Сеню Дракохруста тоже долго уговаривать не пришлось. Только Василий посетовал на мягкость своего характера.

— Не станет слушаться, что я с ним буду делать?

— О чем разговор? — удивился Сеня Дракохруст. — Рецепт предков. Раз сказал, два сказал, третий раз по затылку.

Каждый из выпускников ПТУ получил опытного наставника. Уверенность Рамазана оправдалась, а опасения Подкорытова не подтвердились. Никто из станочников не отказался принять подшефного, так же, как и никто не снизил выработку.

Пришло время, и Рамазан доложил начальнику цеха, что его ученик вполне готов к самостоятельной работе.

— Дадим остальным еще неделю срока, и... — Подкорытов заглянул в перекидной календарь, — и пятнадцатого проведем квалификационную комиссию. Нет возражений?.. Так и запишем.

И сделал пометку в календаре.

— А вы сомневались, Валентин Александрович, — сказал Рамазан Подкорытову после заседания комиссии. — Разве я один смог бы за такой короткий срок обучить двадцать человек?

— Все относительно и все условно, — возразил Подкорытов. — Сроки хороши. Но это еще не станочники.

— Не согласен, — запротестовал Рамазан. — Все умеют работать, все будут работать.

Подкорытов усмехнулся.

— Будь по-твоему. Но что ты скажешь, если я заберу из твоей бригады Ветлугина и остальных, а тебе в бригаду дам новичков? Согласишься?

— А Ветлугина и остальных куда?

— Ветлугин будет бригадиром вместо тебя. Но ты еще не ответил, согласен или нет?

— Согласен, — сказал Рамазан. — Только и у меня есть предложение, — он тоже усмехнулся, — рационализаторское... В моей бригаде сейчас самые опытные. Давайте всех сделаем бригадирами.

Подкорытов глядел на него с прищуром.

— Широко замахиваешься...

— Я серьезно, Валентин Александрович, — продолжал настаивать Рамазан. — По-моему, делное предложение. Пусть будут в цехе четыре молодежные бригады.

— Подумаю, — сказал Подкорытов.

С нового месяца молодежные бригады были организованы. С рабочей силой в цехе стало легче.

4

Когда Кашафу Галимзяновичу стало известно, каким образом появились молодежные бригады в цехе нестандартного оборудования, он решил, что есть у него все основания упрекнуть себя в излишней мягкотелости.

Не сумел настоять. Сдался на уговоры. Вошел в положение и поступил в интересах дела. Парень — прирожденный организатор. Станочника, самого высококвалифицированного, подготовить легче, чем руководителя, организатора. Да и что значит подготовить?.. Талант в аптеке не купишь. Или он есть, или его нет...

Кашаф Галимзянович попросил принести личное дело кандидата партии Ахметшина Рамазана Абдулловича и очень внимательно перечел его.

Родился в год Победы. Отец и мать рабочие, коммунисты. Очень хорошо, и объясняет многое... Окончил восемь классов средней школы, затем ПТУ. Почему в Иркутске? Какая причина погнала в такую даль?.. Работал... Успел во многих местах поработать. На Большом Автомобильном третий год. Здесь принят в кандидаты... Награжден орденом. Хорошая биография.

Кашаф Галимзянович долго вглядывался в фотографию на левом верхнем углу листка по учету кадров. Глаза живые, и видно, что цену себе знает...

И тут, собираясь уже отложить листок в сторону, заметил графу, на которую сразу не обратил внимания. А стоило. Ответ, занесенный в эту графу, вызывал недоумение. В графе «национальность» значилось: «Русский».

Кашаф Галимзянович вернулся к первой графе: Ахметшин Рамазан Абдуллович. Никак не вязались графы одна с другой... Что же стояло за этой видимой несообразностью?

Пригласить на беседу и спросить как-нибудь поаккуратнее... И вот тут может порваться та ниточка взаимного доверия, что протянулась между ними. Скажет: «А вам какое дело?» — и все...

Поручать тут тоже никому нельзя. Но понять, в чем дело, надо, обязательно надо.

Заглянув в документы, уточнил, что родители Рамазана Ахметшина живут — по нынешней мерке — совсем недалеко от Высокого Берега. И решил так. Когда понадобится очередной раз в Казань, то не полетит, а поедет на машине и на обратном пути завернет к родителям Рамазана.

Кашаф Галимзянович осуществил свой замысел. Возвращаясь из Казани, он заехал к родителям Рамазана Ахметшина. Приняли его радушно и разговаривали с ним откровенно.

Всему нашлось объяснение, хоть и неожиданное, но вполне естественное.

Вот что он узнал.

5

История обычная и необычная. И житейски приземленная и высоко взметнувшая крылья. Все в ней сплелось, как всегда в жизни...

На маленькой станции жила девушка. И как часто бывает, ее любили два друга. Хорошие, душевные ребята: токарь и паровозный машинист. Если бы искали ее дружбы, она была бы другом обоим. Любить же двоих нельзя.

Она любила одного из них — токаря — и стала его женой.

Началась война. Токаря взяли на фронт. Машинист просился вместо друга, но машинисту положено было остаться. Воевал токарь счастливо; если не считать царапин, первый раз ранен был на четвертом году войны. После лазарета осенью приехал на побылку. Пожил дома три недели и опять ушел на фронт.

Похоронная пришла под Новый год. Она уже знала, что будет ребенок. Друг погибшего мужа помогал ей, привозил из дальних рейсов, что удавалось выменять. Заходил в дом, оставлял, что принес, и тут же уходил. Даже присесть ни разу себе не позволил.

Если бы не он, не выжить бы ей с ребенком. Зато у него своей жизни не было. Он и в легкое время ходил в завидных женихах, а теперь на послевоенном безлюдье, понятно, цены мужику не было. Сами предлагались и в жены и в любовницы. Он же словно окаменел. Она все понимала и, как ни любила мужа, как ни верна была его памяти, начала склоняться к мысли, что, видно, здесь ее судьба. И стала ждать неизбежного его слова. Но так и не дождалась. Все так же он заходил, с порога здоровался, справлялся о сыне, молча клал на лавку узелок съестного и тут же уходил. Не раз просила зайти в горницу, присесть к столу, выпить чайку с дороги. Благодарил, но каждый раз находилась неотложная помеха. И слова, которые были бы сказаны, оставались при ней невысказанными...

Так прошло около двух лет. Она работала нянечкой в детских яслях — потом узналось, и в этом он

помог, — чтобы не разлучаться ей с сыном. Там, наверно, и услышал ребенок это слово. И когда пришел опять со своим узелком, крохотный мальчик протянул к нему ручки и закричал: «Папа!»...

Крепкий был мужик, роста хорошего и плечами богат, а от детского вскрика зашатался, словно тяжелым чем по груди ударило. Зашатался и сел на лавку, рукой глаза прикрыл. Потом собрался с силами, встал и, глядя прямо в глаза ей, сказал неспешно и почти строго:

— Сама видишь, Соня... Значит, судьба...

А у нее уж и слезы из глаз брызнули. Кинулась к нему, обняла, плакала и одно только твердила:

— Не отпущу... не отпущу...

И она не отпустила, и он не мог уйти. Утром пошли в ЗАГС. Сразу брак зарегистрировали, и мальчика он усыновил — тогда это проще делалось. Метрики ребенку переписали; имя только малость изменили, вместо Роман — записали Рамазан, чтобы ребенку не переучиваться, а отчество и фамилию получил заново. По национальности как был, так и остался русский.

Вот все и прояснилось, и можно было ехать к бесчисленным срочным и неотложным делам своим, но и радужные хозяева не отпускали, и самому Кашафу Галимзяновичу очень пришлось по душе эти люди, и рад он был побыть хоть еще немного за их небогатым столом, скрашенным доверительной душевной беседой.

Говорили больше всего о Рамазане.

Кашаф Галимзянович спросил:

— Сам Рамазан знает?

— Знает, — ответил Абдулла Ахметович. — Вот его отец. — И показал на прикрепленную к стене фотографию молодого человека в военной форме. — И знает, что, кроме нас, никому не известно. Так он просил. Так ему обещали. Вы первый, кому рассказываем. Не выдайте нас.

А Софья Терентьевна уточнила, что здесь, в Вятских Полянах, никому не известно. На прежнем месте, на станции Шемордан, соседи знали. От соседей не скроешься. Помолчав, добавила:

— Потому и уехали оттуда. Рамазан очень огорчался. Его жалели, что сирота, а он сердился, даже плакал: не хочу, говорит, чтобы жалели. Вот и пришлось уехать.

Кашаф Галимзянович очень хорошо отзывался о Рамазане, о его мастерстве и трудолюбии.

Абдулла Ахметович сказал, что трудолюбием Рамазан отличался с малых лет. Припомнил, как семилетний малыш вел, можно сказать, все домашнее хозяйство. И так горячо расхваливал сына, что Софья Терентьевна, смеясь, возразила:

— Смотри, не перехвали.

Потом как-то незаметно разговор перекинулся на те давние уже годы, когда все они были молоды и только начинали примерять свою жизнь. Как водится, Кашафу Галимзяновичу дали в руки пухлый семейный альбом.

И он задержался взглядом на одной фотографии. На ней сняты в рост трое: посредине между двух стройных ребят большеглазая смущенная девушка. Один из пареньков оказался знакомым. Потом понял, что это тот же, чья фотография — только на ней он в военной форме — в простенке между окнами.

— Верно, верно, — подтвердила Софья Терентьевна, — все мы тут трое сняты. Как сейчас помню, упиралась я. Стеснялась на одну карточку с парнями. А Максим, можно сказать, силой заставил...



Кашаф Галимзянович долго не мог оторвать глаз от старой, выцветшей фотографии.

Время, время!.. Что ты с нами со всеми делаешь... И вот эта девушка — пожилая уже женщина, с усталой походкой, потухшим взглядом и руками, нагруженными в извечной женской работе.

И вот этот парень — пожилой уже человек с седыми волосами, глубокими залысинами по бокам высокого лба, с обветренным и иссеченным морщинами лицом.

И только третий остался молодым и красивым, полным жизни, таким, как был...

Но какую же несоразмерную цену пришлось ему заплатить за сохранившуюся молодость!..

Уже в машине, осмысливая услышанное в этот вечер, Кашаф Галимзянович подумал, что сколь ни жесток вывод, но трудное детство — на пользу. И Рамазану Ахметшину тоже.

И даже Пушкина вспомнил: «...так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат...»

6

Строительство первой очереди завода завершалось. Близилась торжественная дата официального пуска Большого автомобильного.

Ожидалось праздничное приветствие ЦК и Совета Министров и, как водится, награждение передовиков орденами и медалями.

Примерно за неделю до торжества Кашафу Галимзяновичу позвонили из ЦК партии и сообщили, что есть мнение в правительстве особо отличившимся работникам стройки и завода присвоить высокое звание Героя Социалистического Труда.

— Мы представили списки передовиков с подробной характеристикой каждого, — ответил Кашаф Галимзянович.

— Вы представили десятки, а в этот Указ пойдут единицы, — возразил работник ЦК.

Кашаф Галимзянович как бы не понял его.

— Мы составляли объективные характеристики, отдавая каждому должное.

— Хитрить научился, — сказал работник ЦК. — Все равно от прямого ответа не уйдешь. Три, максимум четыре кандидата. Позвонишь вечером.

— Начальника строительства и генерального директора в это же число? — уточнил Кашаф Галимзянович.

— Опять лукавишь, — заметил работник ЦК. — Эти оба — номенклатура министерства. Не будем мийистров ущемлять. Вечером жду звонка. Привет.

— Три, максимум четыре, — повторил про себя Кашаф Галимзянович, положив трубку.

Нелегкая задача. Отобрать четверых труднее, нежели сорок человек, но все же легче, чем, скажем, одного... А ведь вполне могло бы и так быть... Но и сейчас не просто.

Чем быстрее надо решить вопрос, тем меньшим числом голов надо его решать. Кашаф Галимзянович пригласил к себе начальника строительства и генерального директора. Усадил друг против друга и сообщил им известие из Москвы. Напомнил:

— Три, максимум четыре кандидатуры...

— Одну вижу, — сказал генеральный директор. — Прямо против меня сидит.

— Вижу вторую, и тоже напротив, — в тон ему отозвался начальник строительства.

— Напрасный труд, — засмеялся Кашаф Галимзянович. — О вас Москва позаботится. Лимит — для ваших подчиненных. Прежде всего договоримся: кому сколько?

— Как именуется Указ? — осведомился начальник строительства.

Кашаф Галимзянович прочел начало фразы:

— «За выдающиеся успехи, достигнутые при сооружении первой очереди Большого Автомобильного...»

— Если за достигнутые при сооружении, то мой ломот должен быть толще, — сказал начальник строительства.

Генеральный директор согласился с его резонами. Решили так: двух строителей и одного работника завода. И еще одного строителя в резерв, на случай, если пройдут все четыре кандидатуры.

Начальник строительства пошел к телефону посоветоваться с руководителями стройуправлений.

— Тебе легче, — позавидовал ему генеральный директор, — а как одно место на всех разделить?..

— Подойдем с дальнего конца, авось ближе выйдет, — посоветовал Кашаф Галимзянович. — Определим сперва, в каком подразделении будем искать.

— Первым вступил в строй действующих РИЗ. И в том, что сделано, его доля весомее, чем у других.

— Ищем на РИЗе?

— На РИЗе, — подтвердил Добрынин.

— Тогда надо посоветоваться с Подкорытовым, — решил Кашаф Галимзянович. — Не возражаешь?

Подкорытов попросил пять минут на размышление. Ровно через пять минут позвонил, но сказал только:

— Двух если бы...

— Пятерых я сам тебе назову, — сердито оборвал его Кашаф Галимзянович. — А тебя прошу назвать одного.

— А ваше мнение? — ухватился за последнюю соломинку начальник цеха.

Очень хотелось секретарю горкома сказать свое мнение. Но он не поддался и произнес еще строже:

— Не увливай! — будучи, впрочем, уверен, что Подкорытов назовет именно того, кого бы и он ему посоветовал.

Так и случилось. Подкорытов не ошибся.

7

Когда прошло первое оцепенение, Полина воскликнула:

— Теперь-то тебе квартиру дадут вне всякой очереди!

Рамазан вскинул голову и как будто хотел возразить, но промолчал.

Не только потому, что нелепо делить шкуру живого медведя. Рамазан был потрясен больше всех. Почти год назад, на трибуне, услышал он свою фамилию в числе награжденных орденами, но в том списке Рамазан был не один. С ним рядом, строка к строке, стояли Сергей и другие его товарищи.

Сейчас же один Рамазан (если не считать генерального директора, но это особая статья), один из

десятков тысяч, был удостоен... Нет, это даже и осмыслить трудно...

Зина тоже была взволнована. Обрадован, но и искренне изумлен Сергей. Проще всех отнеслась к происшедшему Полина. Она давно уже с большим уважением относилась к Рамазану. Кого же и награждать, если не такого человека?..

И совершенно естественно, что такому человеку должны пойти навстречу, хотя бы и насчет квартиры. Так что в высказанном Полиной предположении не было никакой иронии. Потому и удержался Рамазан от возражения, что правильно понял Полину.

Он начал приходить в себя, не то, чтобы он стал воспринимать свое «геройство» как должное, — он просто смирился с тем, что оказался в таком положении, и если и был озабочен, то только тем, чтобы не потерять своего лица, качнувшись в ту или иную сторону. Очень важно остаться самим собою.

Даже в цехе, среди вовсе своих и то не просто. По-разному встретили. Кто-то был от души рад, что вот стоящему рядом, такому же, как он, рабочему человеку, столь высокая почесть. Но приходилось ловить и завистливые взгляды.

Не обошлось, как почти всегда в жизни бывает, и без комического. Молодые питомцы Рамазановой бригады стали задирать нос перед своими сверстниками из других бригад, да столь вызывающе, что пришлось бригадиру вразумить их.

Одним из первых поздравил Рамазана Подкорытов. Правда, показалось Рамазану, что в глазах начальника цеха вроде блеснула мимолетная усмешка. Так оно и было. Промелькнула у начальника цеха мысль: «А мог ведь назвать и другого...» Но, к чести его, тут же, словно пушинку с рукава, сдул эту мысль, возразив сам себе, что не мог, оставаясь честным человеком, назвать иную фамилию.

Прошло несколько дней, и предположение Полины подтвердилось. К Рамазану подошел председатель цехового комитета, подождет, пока токарь выключит станок, и, поглаживая светлые усики — это у него всегда свидетельствовало о добром расположении духа, — сообщил, что вчера на заседании цехового комитета решили трехкомнатную квартиру в новом доме на проспекте Революции отдать ему — Рамазану Ахметшину.

— Почему мне? — спросил Рамазан почти машинально.

— Ты же подавал заявление — улучшить жилищные условия, — с некоторым даже недоумением ответил председатель цехового комитета.

— Все подавали.

— А дали тебе.

Все куда как резонно, но Рамазан все-таки считал необходимым уточнить.

— Я слышал, эту квартиру обещали Матвею Кузьмичу, он второй год впятером в одной комнатке бьется.

— Обещали... — неохотно подтвердил председатель цехового комитета и даже дернул себя за кончик уса. — Обещали. А теперь перерешили. Не ему чтобы дать, а тебе.

— Почему?

Председатель цехового комитета усмехнулся.

— Непонятно? Кто Герой — он или ты? — И при этих словах как-то нехорошо прищурился: «Чего, дескать, ты выламываешься? Дают — скажи спасибо и ладтай!..»

— Неправильно перерешили, товарищ председатель цехового комитета, — стараясь говорить как можно спокойнее, заявил Рамазан опешившему профсоюзнику. — Во-первых, у него семья пять человек, у меня трое. Во-вторых, я в благоустроенном доме живу, а он, можно сказать, в бараке. — И видя, что доводы его отскакивают от собеседника, ударил из главного калибра: — К тому же получается так, что я — Герой — у своего товарища кусок изо рта выхватил. Такую репутацию Герою создать хотите?..

— Как знаешь... — Председатель ушел, не добавив ни слова.

Сперва Рамазан решил дома промолчать. Потом сообразил, что шила в мешке не утаишь, на заседании цехкома не один человек сидел и не двое...

Когда же понял, что скажет, почувствовал себя слегка неудобно. Не велика радость втроем в одной крохотной комнатухе. И когда дали, самому отказать...

Против ожидания все согласились, что поступил он правильно. Только Полина пошутила:

— И нам плыла в руки квартира!.. Да только по усам текло, в рот не попало.

Рамазан тут же подхватил шутку:

— Из-за тебя и отказался. Ну, посуди сама: уйдем мы, тебе черт-те кого подселят, а?.. — И вслед за тем добавил уже вполне серьезно: — А месяца через два сдадут дома в девятом квартале, и с жильем на заводе полегчает, тогда квартира вся наверняка за вами останется. Это я без дураков...



ВЛАДИМИР КОСТРОВ

☆☆☆

Где нам родиться!
Об этом у нас не спросили.
Кружатся листья на поле
Лисицей лоджарой. Видишь, родная,
С конца до конца по России
Осень пустила опять золотые пожары.
Как благодатно
Прощальное это лыпанье:
Будто царевна
Снимает венчальное платье
И, обнажаясь,
Горит от святого желанья
В белой постели принять молодые объятья.
Это ль не радость! —
Пылая, сгореть в одночасье.
Холод по жилам
Да свет пониманья и боли.
Я принимаю,
Как самое главное счастье,
Вольную песню да вьюжное белое поле.
Снег на ступенях наши шаги приглушает,
Ветр оглашенный воет у старых остожий,
В белую горницу осень тебя приглашает,
Да не споткнись
Меховым сапожком о порожек.

☆☆☆

Замути мой рассудок,
Тоску наведи на леса,
Влажным ватным туманом
Закрой чистоту и прозрачность,
Ибо невыносимы твои чудеса.
Слишком звезда
Святая твоя многозначность.
Слишком яростен свист
Вдоль дороги твоей столбовой,
Слишком мир независим
От стога, от крика и плача,
Слишком ветер храпит
И мотает хмельной головой,
Слишком цель непровидима
И непосильна задача.
Если, судьбы сминая,
Вращается, как маховик,
Этот газовый глобус,
И каменный глобус,
И водный.
Слишком яростен свист.
И до звезд не доносится крик.
Несвободный
И к жизни иной непригодный,

Что могу! Токовать, как глухарь на снегу,
В смертность дробы не верить,
Головою крутить обалдело,
Это вечное небо глазами ловить на бегу,
Чью-то душу смущать
И любить чье-то светлое тело.
Замути мой рассудок,
Тоску наведи на леса,
Сокруши эту ясность.
Закрой и открой покрывало,
Чтобы звезды сияли,
Светилась трава и глаза
Говорили:
«А все-таки это немало!»

☆☆☆

Луна протягивает руки, былинки в поле
шевели,
А на меня со всей округи смурные паут
кобеля.
Рыдает выпь — глухая птица... Не муж
законный, не жених,
Спешу последний раз напиться из окаянных
глаз твоих.
Не родниковой, первородной, а полной страсти
и беды,
Той подколодной, приворотной,
почти бессовестной воды.
Наперекор стыду и страху я у судьбы
любовь краду.
И на колени, как на плаху, седую голову кладу.
Как дождь, веселой брагой брызжет
лихая песня соловья.
И ведьмой в древнем черникожище
судьба записана моя.
Но так прекрасно, так отважно
тобой душа моя больна.
Какая ночь! Какая жажда! Какая полная луна!

Письмо в никуда

Памяти Ларисы

Писать в никуда! Да еще опустить в окоем!
А критика требует внятного слова и смысла.
Ей кажется, что мы от года до года живем,
А не от весеннего и до осеннего свиста.
Мне чудится,
Все, что гремит и звенит, — ерунда.
А все, что страдает, поет и влюбляется, —
чудо.

Лишь в жизни возможно
Отправить письмо в никуда
От слабой надежды: ответ
Получить ниоткуда.
Ты — твидный, машинный
И гордо несущий чело,
Ты — пеший, невидный,
Почти безразмерный пальтишко.
Для альфа-лучей, для рентгена,
Для черт те чего
Мы слишком прозрачны,
Мы призрачны с вами почти что.
Да, да, мы туманны.
И все-таки мы не туман.
Мы важное нечто.
Иная посылка нелепа.
Нам грустно и больно...
И черная ночь, как цыган,

Большую Медведицу вывела
 В звездное небо.
 Цыган не цыган —
 Из кобылы ее вороной
 Белесая млечность
 Течет, словно струйка кумыса.
 Что делать с собою мне,
 Если за крошкой земной
 Опять напивает далекое эхо.
 Лариса.
 Здесь осень, Лариса.
 Осина горит, как писа,
 Небес невысоких
 Провисла и рдеет кулиса,
 И черную влагу, как брагу,
 Глощают леса.
 Покинь небытие и варнись
 В мою осень, Лариса.
 Приди в Переделкино
 Мимо цепных кобелей,
 Впишись в рапортички
 Отдела труда и зарплат
 Для царства бетона,
 Для пагубы стен и страстей.
 Покинь ненадолго свои огневые палаты,
 Как звонко и страстно
 Осенний молчит соловей,
 Пожухлые листья
 Свежей резеды и нарцисса.
 Всей памятью ясной
 И памятью смутной своей
 Тебя призываю:
 Приди в эту осень, Лариса!
 Так что там, за гранью,
 Есть ли там бог или нет!
 Сидит ли в сиянии
 Вечных и мудрых регалий!
 Иль в коловращении
 Грозных светил и планет
 Нет больше иных,
 Проясняющих дело реалий!
 Великий лото чник,
 Судьбу раздающий с лотка,
 Сам первый он понял
 Ненужность свою и напрасность.
 И так я скажу:
 Неожиданность жизни сладка,
 По-детски волнуют
 Туманность ее и неясность.
 А было б все ясно,
 Тогда наше дило — табак.
 Старуха-судьба не сидит
 Равнодушно и праздно.
 Все то, что мне ясно,
 Меня не волнует никак.
 Зато как тревожно
 Все то, что покуда неясно.
 Зачем я горю!
 Для чего я смотрю на зарю!
 У жизни, пожалуй, нет знака
 Важнее дефиса.
 Я с кем говорю!
 Да не знаю я, с кем говорю.
 Я, может быть, совесть свою
 Призываю: Лариса.
 Не злость, как костыль,
 В эту мерзлую землю забить.
 Не жить, утверждаясь
 В своем самомнении мнимом,
 А думать и думать,
 А пуще страдать и любить
 С нечаянной радостью
 Понятым быть и любимым.



Поэзия



НИКОЛАЙ
НОВИКОВ

КУРСАНТСКИЕ СТИХИ

1. Шлюпка на Волге

Ветерок. Невысокие волны.
 Дебаркадер. Толпится народ.
 Шестикрылая шлюпка на Волге —
 Словно птица далеких широт.
 Все в ней флотское, все в ней морское —
 От флажка до начищенных блях.
 Белизною спелят щегольского
 Бескозырки на наших чубах.
 Среди радужных пятен мазута,
 Как на шелке, разгладит свой круг —
 Развернется шикарно и круто.
 Только брызги от весел сверкнут!
 Год засушливый. Паримся в пекле.
 Солнце давит с зари до зари.
 Наши пальцы еще не окрепли.
 На ладонях у нас пузыри.
 Юрка, Генка, Володька и Мишка,
 И еще один Генка, и я —
 Все мы вместе — единая мышца,
 Шестивесельный двигаем ял.
 «Навались! Обходим баркас!
 Два — а раз!
 Два — а раз!
 Два — а раз!»
 Знойно, голодно, радостно — вместе.
 В спину — брызги от встречной волны.
 Мы, морской не срамящие чести,
 Всем девчонкам отсюда видны.
 Мы мужчины. Мы движемся к цели.
 Что же, мы, моряки, в самом деле
 Хуже их сухопутных парней!!
 ...А стараться, да чтоб — не глядели.
 Мы научимся много поздней.

2. Морская травля

Курсантская курилка — явный клуб:
 Как скульптор, изваяешь дымный клуб
 Или колечко выдохнешь на диво...
 Когда в казармы возвращались мы
 К исходу суток из манящей тьмы,
 Сюда спешили, но неторопливо.

Почтив, как полагається, устав,
С докладом увольнительную сдав,
Шинель пристроишь в длинный ряд
шинелей,

Ну и сюда на несколько минут:
Твоих повествований жадно ждут
Все те, кто в город выйти не сумели,
Твои друзья, точнее — кореша...
И ты сигарку скрутишь не спеша,
Ее раскуришь, словно бы сигару...
Про женщин соблазнительных — хорош! —
Такого нараскажешь и наврешь
Один или с приятелем на пару.
Анекдотична исповедь твоя.
А слушают, дыханье затая
[Естественно, не верят ни полслову!
Бывали сами...] Но шикарный вздор
Во всех курилках — признанный фольклор,
И травлей именуется морскою.
Красавицы! Достоинств ни на грамм
Не умалит он ваших. Да и вам
Он не в обиду — не в чем признаваться!
Вы ж помните — под звон и шорох струй
Был в гораду наивный поцелуй
Один-другой... И время расставаться!
А если что, то кто, как не курсант,
Самой судьбой направленный в горад,
За вашу честь вступается, как рыцарь!!
И не о вас он треплется — отнюдь!
А коли уж случится что-нибудь,
Не беспокойтесь — не проговорится!

3. О чем поют колеса

О чем поют колеса поездов,
Когда везут нас в августовский отпуск,
В столбах, в мостах рождающие отзвук,
Хоть песня без мелодии и слов!
Как парус, полон ветром небосвод.
Удачу нам предсказывают птицы.
Что впереди нас ждет,
И что случится!
Любую песню вспомни — и сойдет.
Напой любую — лишь бы не грустна
Была она...

Припоминай любую!
Домой! Мы едем в дымку голубую,
Там лето позднее, как нежная весна.
Что говорить, заждался отчий дом:
В Москве ль, в деревне ль, с папою ли,
с батей...
Себе внушив, что ждем родительских
объятий,

Мы втайне и других объятий ждем.
А кто ж она! Да в общем-то пока
И нет ее еще, и облик лишь намечен.
Она улыбка, будущая встреча.
И мимолетный взгляд из-под платка...
Все впереди. Летим, опередив
Несущие нас вдалеке вагонные колеса.
Об этом и поют леса, луга и плесы.
И каждому из нас — на свой мотив.

Иронические стихи

Олимпийцев сварливая ссора
Обернулась для Трои войной.
Ну, поди разберись! Из-за вздора,
Из-за женской причуды шальной.

Чьи, Парис, совершеннее брови!
Чей изящней неклон головы!
Столько крови, Парис, столько крови
Будет стоять твой выбор, увьи!

Красоту предпочел ты отныне.
Разум поправ. Терниста тропа!
На Олимпе бранятся богини —
У героев трещат черепа.

Что вы машете грозно мечами,
Что поводите гордо плечами!
Или силу вам некуда деть!!
Гектор, молнии мечешь очами —
Что ты с этого будешь иметь!!

Ты падешь, уязвлен Ахиллесом,
Ты бежал от него и блажил...
Неизвестно, каким интересам
Ты так ревностно, Гектор, служил.

Сколько звякает в битве металл!
Из-за яблока гибнет герой...
Впрочем, позже война возникала
И без поводов явных порой.

Изрыгали огонь копесницы.
И тогда, отложив домино,
Заклучали пари олимпийцы,
Что на пенсию вышли давно.



Старая шутка сгорела дотла —
Даже и дыма не слышно.
Старая новость давно умерла.
Старая радость вся вышла.
Вот не осталось и старой вины.
Старые блекнут виденья.
Старая злость не имеет цены,
Как отмененные деньги.

Патефон

Заветный такой чемоданчик,
Сверкающий пряжкой-замочком...
Зеленый блестел дерматином...
Внутри его спал мальчишка-с-пальчик.
Будили вращением ручки.
Разбудят — пластинку крутил.

И пел он, как помню я, сладко
Про сад-виноград, про калитку,
Про темный полуночный час.
Меня же терзала загадка:
В конце музыкальной раскрутки
Звучал вместо тенора бас!

А может быть, вовсе не мальчишка,
А старенький седенький карлик
Залез в чемоданчик пустой.
К заветной тянулся я ручке:
Что прячет он, что он там прячет!!
Но мне говорили: «Постой!

Не тронь! Подрастешь и узнаешь,
Тогда пожелаешь — сломаешь,
Вся музыка будет твоя...»
Я вырос. Поездили по свету.
Узнал всю механику эту.
Но много ли выяснил я!!



**ЮРИЙ
ВЯЗЕМСКИЙ**

Ему 30 лет.
Он очил Московский
государственный институт
международных отношений.
Кандидат
исторических наук.

РАССКАЗ



ДОМ НА УГЛУ ДЕЛЬФИНИИ

Во время очередного приступа тоски, удушливой, оглушающей, шершавым комком застревающей где-то глубоко в груди, его словно пронзило насквозь и тут же разлилось радостным жаром по всему телу. «Точно — Садовая!.. Садовая, семнадцатая!.. Как же я раньше не вспомнил?!»

И вдруг как бы все вокруг исчезло: мокрый, липучий снег, тусклые разводы фонарей на обшарпанных стенах, — а он оказался там, в далекой Дельфинии, где редко выпадает снег, а ветер — теплый и ласковый; где малиново-фиолетовые закаты сменяются прозрачно-розовыми восходами и по вечерам юноши и девушки в белых одеждах играют на гитарах и поют грустно-веселые песни; будто бы снова шел он по гулким мощным тротуарам, по освеженному дождем и одурманенному сладковатым ароматом ночи улочкам с гирляндами балконов, на встречу с ней, нежной, застенчиво улыбающейся...

«Вот же!.. Она здесь жила... Когда-нибудь она сюда вернется...».

Он стоял возле трехэтажного дома, такого же невзрачного на вид, старого и обшарпанного, какими казались ему все дома в пустом и темном этом городишке.

Дом был трехэтажный и невзрачный на вид.

Он зашел во двор, насчитал пять подъездов с облупленными дверями и тусклыми лампочками при входе, освещавшими ржавые металлические дощечки с истертymi номерами квартир.

«Здесь? В этом доме?!.. Не может быть!»

Он хотел тут же уйти, возмущившись вызывающей несоразмерностью этого покосившегося дома с тем полусказочным дворцом, в котором она жила там, в Дельфинии, среди вечнозеленого парка и фонтанов из розового туфа, не смолкавших даже по ночам. Он хотел тут же уйти, но домишко этот словно притягивал его к себе сиротливыми своими подъездами, облупленными стенами, матерчатыми абажурами, проступавшими сквозь тюлевые занавески в

*Рисунок
И. Панкова.*

низеньких окнах с широкими жестяными подоконниками.

«Неужели здесь она родилась? Здесь живут ее родители? В одном из этих подъездов, за одним из этих окон стоят ее стол, ее кровать, ее пианино?..»

Он направился к ближайшему подъезду, взялся за дверную ручку, потянул на себя дверь.

«А что я скажу, если меня кто-нибудь спросит, к кому я иду и что здесь делаю... Ведь я даже не знаю номера ее квартиры...»

Отойдя от двери, он пошел по двору. Ему хотелось подробнее изучить дом, заглянуть в его окна, но он смотрел себе под ноги, лишь изредка вскидывая голову и пробегая торопливым взглядом по стенам, ничего не замечая и не запоминая.

Ему казалось, что на него смотрят со всех сторон. Он ежился под этими воображаемыми чужими, подозрительными взглядами, а когда у него за спиной вдруг хлопнула дверь, совсем растерялся и, спрятав лицо в воротник, двинулся прочь со двора, чувствуя себя чуть ли не злоумышленником.

Он вышел в переулок, вернулся на Садовую улицу, пересек ее и лишь на противоположном тротуаре, возле книжного магазина, остановился и обернулся.

Ветер дул в лицо, и снег лепил в глаза, и он вдруг вспомнил, как они встречались возле общежития, в котором она жила там, в Дельфинии, у центрального фонтана — гигантской лилии, с величественным шумом распустившейся в свете прожекторов; как сквозь искрящиеся разноцветные струи замечал ее, выходящую из своего дворца и идущую ему навстречу; вспомнил терпкое удушье цветов и жаркую свою радость.

«Там счастье!.. И мир там прекрасен! А здесь... Здесь все теперь чужое: дома, улицы... И люди здесь какие-то... угрюмые, безразличные, как будто согнутые ветром... Ну зачем?! Зачем мне достали эту проклятую путевку в этот чертов лагерь? Зачем я встретил там ее!..»

Дом был трехэтажный и невзрачный на вид. Он стоял на углу Садовой улицы и безымянного переулка, и пять его подъездов выходили во двор.

При дневном свете — особенно когда переставал лепить снег, а серое нависшее небо вдруг точно раскалывалось и в образовавшуюся трещину проглядывала радужная синева и проскальзывали лучи солнца, — дом уже не казался ему таким убогим и мрачным.

«Это единственное, что у меня есть... Письма от нее приходят слишком редко, а к ее дому я могу прийти в любой момент».

Раньше он ездил в школу на автобусе, а теперь стал ходить пешком, чтобы, сделав крюк, пройти мимо ее дома. Иногда, к удивлению своих родителей, он отправлялся в школу натошак, а завтракал по дороге, в кафе-молочной на первом этаже ее дома. Он брал себе всегда одно и то же: кофе с молоком, приторно сладкий, с жирными пенками, и жареную колбасу со стилой лапшой.

«Когда-нибудь... когда она окончит училище и вернется, я войду с ней в это кафе — в ее кафе-молочную — и, этак небрежно кивнув буфетнице, брошу через прилавок: «Мне как обычно, а сеньорита пусть сама выберет...». Вот она удивится! Ни за что не напишу ей, что я теперь завтракаю в ее доме...»

Он наблюдал за посетителями кафе, постепенно различая среди них случайно зашедших и завсегда-таев. К последним он приглядывался особо, вспоми-

ная те куцые сведения, которые ему удалось почерпнуть из ее рассказов о своих родных — отце, матери, младшей сестре, — и, составив таким образом некое подобие словесного портрета, «дриклядывал» его к посетителям кафе-молочной.

«Да это же ее отец!.. Она говорила, что он художник... Ну точно! У него борода, он слегка хромает. И руки у него всегда грязные, от красок, наверно...»

Но оказалось, что хромоногий мужчина с бородой жил в другом доме, на другой улице.

«...С чего я взял, что ее отец должен завтракать в кафе-молочной... И вообще...»

Но он продолжал присматриваться к посетителям кафе, продолжал ошибаться и разочаровываться, пока однажды не приметил мужчину, совсем не похожего на художника, который в кафе-молочной никогда не завтракал, но несколько раз заходил туда и покупал у буфетницы вареное мясо и сырые яйца; зато жил он в ее доме, во втором подъезде на первом этаже.

«Она же говорила, что живет на первом этаже... Ну и что! Может быть человек художником и совсем не похожим на художника...»

Два дня он наблюдал за вторым подъездом, за его обитателями и все больше убеждался в том, что на этот раз не ошибся: мужчина, не похожий на художника, жил с женой и девочкой лет четырнадцати.

«Она говорила, что ее сестра учится в восьмом классе...»

Лиц девочки и ее матери он не смог разглядеть, так как наблюдал за подъездом издали, боясь привлечь к себе внимание.

А тут еще возле дома появился сердитого вида человек средних лет, который сперва расхаживал по двору, придирчиво его оглядывая, потом принялся расчищать середину двора от снега, освобождать от мусора и металлолома.

«Ничего! Когда-нибудь она приедет, и тогда... Я широко распахну перед ней дверь ее подъезда, войду в него, как к себе домой, никого не стыдясь».

Он смотрел из-за угла на человека, копошившегося во дворе, и вспоминал прощальный вечер в Дельфинии. Директор их спортивного лагеря «Дельфин» разрешил пригласить на танцы девушек из соседнего музыкального училища. И она пришла. Весь мир, казалось ему, был во власти безудержного, нескончаемого праздника, когда гулкий ливень вдруг обрушился на танцплощадку, оркестр перестал играть, а танцующие спрятались под навес. И только он и она не прервали танца, не остановились, не развелили свои руки, не разлучили взгляды. И, наверное, так заразителен был их странный танец, что вдруг заиграл оркестр — для них двоих, а их друзья стали один за другим выбегать из укрытия и присоединяться к ним, танцевавшим под проливным дождем. А скоро и дождь кончился... На следующее утро он уехал из Дельфинии в холодный городишко, залпанный тусклыми пятнами фонарей.

«Зачем я уехал?! Ведь она там!.. И я до сих пор там, а не здесь! Нет меня здесь и уже не может быть!»

Дом был трехэтажный и невзрачный на вид. Он стоял на углу Садовой улицы и безымянного переулка. В нем помещалось кафе-молочная, а во дворе, во втором подъезде, на первом этаже с женой и дочерью жил мужчина, совсем не похожий на художника.



— Ну чего стоишь?! — окликнул его сердитый человек.

Он вздрогнул, виновато улыбнулся и хотел уйти, но сердитый человек с лопатой в руках двинулся ему наперерез.

— Чего споняться — помог бы лучше!

Он остановился в замешательстве.

— Помог бы, говорю, лучше, — повторил сердитый человек. — Каток будем делать для нашей детворы.

— Но я... Ведь я не живу здесь!..

— Ну и что такого!

Сердитый человек воткнул возле его ног лопату и вернулся на середину двора.

«Да ведь это как раз... Теперь и прятаться не надо!»

Он с таким рвением принялся за работу, сбросив пальто и скинув шапку, так усердно налегал на лопату, что сердитый человек удивленно косился на него и несколько раз хмыкнул и покачал головой.

«Если бы она видела меня сейчас! Вот бы удивилась, наверно!»

Они расчистили площадку для катка, утрамбовали сугробы по ее краям.

— А можно я завтра тоже приду помогать? — спросил он у сердитого человека, когда они кончили работать.

— Завтра?! — Сердитый человек пристально глянул на него, потом пожал плечами. — Давай. Приходи завтра.

«Да нужен он мне, твой каток! Я и кататься не умею... Но зато теперь все просто: я помогаю делать каток для детей и целый день могу быть рядом с ее домом!»

На следующее утро — было воскресенье — они вместе залили площадку водой из шланга. Сердитый

человек ушел, а он остался. То и дело во двор выходили люди, бросая на него удивленные взгляды, но он уже взглядов не стеснялся, от них не прятался, а подходил к площадке и по-хозяйски проверял, не замерзла ли вода и ровно ли замерзает.

Хлопнула дверь второго подъезда, и во двор вышла женщина с четырнадцатилетней девочкой. Они остановились, посмотрели сначала на каток, потом на него, переглянулись и вдруг заулыбались, а он едва удержался, чтобы не помахать им рукой.

«А они на нее похожи!.. Такая же ласковая улыбка... и волосы одного цвета... и даже фигуры...»

На следующий день они с сердитым человеком повторно залили каток. А еще через день он начертил после уроков большое разноцветное объявление, которое повесил на двери ее подъезда: «ОРГАНИЗУЕТСЯ СЕКЦИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ! ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!»

Он стоял на катке в центре двора и смотрел на окна ее квартиры. Он вспоминал о том, как они впервые поцеловались. Они сидели на берегу моря, менявшего на ветру свой цвет, как «хамелеонов миллионы» в песне Новеллы Матвеевой.

...Ласково цветет глициния,

Она нежнее инея.

А где-то есть земля Дельфиния

И город Кенгуру.

Дом на углу Садовой был трехэтажный и невзрачный на вид. На двери второго подъезда висело объявление, а во дворе был каток для детей.

С каждым днем ему становилось все труднее умалчивать об этом, все сильнее хотелось написать ей в одном из писем:

«Теперь в твоём доме многие знают меня и даже здороваются. Мы с Игорем Игоревичем устроили у тебя во дворе каток для детей и организовали две секции: одну для фигуристов, а другую для хоккеистов. Занимается с ребятами Игорь Игоревич (он тренер по фигурному катанию и, кстати, совсем не такой сердитый, каким кажется), а я ему помогаю: слежу за катком, за дисциплиной, то есть когда катаются фигуристы, не пускаю на лёд пацанов с клюшками и шайбами, и наоборот... Видишь, до чего я докатился в твоё отсутствие!.. Зато я завтракаю по утрам в твоём кафе-молочной, каждый день вижу перед собой окна твоей квартиры... А вчера ко мне подошёл... Кто бы ты думала? Твой отец! Похлопал меня по плечу и сказал: «Что же ты, парень, других учишь, а сам не катаешься?»... Если бы он только знал!.. А сестренка у тебя симпатичная. На тебя похожа. Мы с ней часто сталкиваемся во дворе».

Ни о чём об этом он не писал ей, готовя ей сюрприз, но едва ли не каждый день отправлял в далёкий южный город письма с описанием своей любви, тоски, одиночества и надежды на скорую встречу. Она с прежней аккуратностью раз в неделю отвечала ему красивым почерком, подробно сообщая о своих занятиях в училище, расспрашивая о том, как он готовится к выпускным экзаменам, какие оценки намечаются у него в аттестате.

Дом был трёхэтажный. Во дворе его проводила свои занятия спортивная секция, руководимая тренером Игорем Игоревичем и его помощником, задумливым пареньком, которого все в доме называли «наш рыжий» за рыжеватые его волосы. Популярность секции росла с каждым днём, и тренер хотел было прекратить набор новичков, но «рыжий» нашёл проблему иное решение: призвал на помощь мужское население дома и совместными усилиями не только значительно расширил каток, но даже благоустроил его: огородил дощатым барьером, оборудовал скамейками и хоккейными воротами. Стараниями того же «рыжего» над катком через некоторое время появилось электрическое освещение, было начато сооружение радиозулы. Однажды вечером во двор забрела компания каких-то подвыпивших парней. Они прогнали с катка малолетних хоккеистов, вытащили на лёд скамейки и выставили на них бутылки с вином. «Рыжий», оказавшийся свидетелем этой сцены, смело выступил против захватчиков, и наверняка досталось бы ему за его самоотверженность, но старшие братья занимающихся в секции с криком «Нашего рыжего бьют!» выскочили из подъездов и выдворили хулиганов.

Расчищая лёд от снега или помогая маленьким фигуристам зашнуровывать ботинки, он часто замечал эту старушку, видел, как она медленно шла вдоль подъездов, с трудом переставляя ноги.

«А ведь у неё, кажется, есть бабушка... Нет, тогда бы они жили вместе... Хотя...»

Однажды, увидев с катка, что старушка тащит тяжёлые сетки, он подбежал к ней, отобрал ношу и помог добраться до квартиры; она жила на третьем этаже и еле поднялась по лестнице, тяжело и часто дыша и виновато улыбаясь.

На следующий день, позавтракав в кафе-молочной, он завернул во двор, вошёл в четвёртый подъезд и поднялся на третий этаж. Он долго ждал у двери, пока старушка открыла ему на звонок.

— Бабушка, может быть, вам чего-нибудь надо... Ну в магазине там... Или... В общем, я сейчас в шко-

лу иду, а на обратном пути, если хотите... — неловко начал он, но по мере того как старушка испуганно отвергала его услуги, вел себя всё решительнее и настоячивее.

«Нет, она, конечно, не её бабушка. И, наверно, я странно выгляжу... Но когда она приедет, ей ведь будет приятно узнать, что я помогаю старой больной женщине, живущей в её доме...»

Дом был трёхэтажный. В его четвёртом подъезде на последнем этаже жила старая женщина. Звали её Марией Ильиничной. Родных у неё не было, но с некоторых пор её стал навещать молодой парень с рыжеватыми волосами и задумливым лицом. Он ходил для неё в магазин за продуктами, в прачечную за бельём и в аптеку за лекарствами, часто сопровождал её во время прогулки по двору, бережно поддерживая под руку, а потом оказывался в её отвыкшей от людей квартире, заставленной старинной мебелью, увешанной старинными литографиями и пожелтевшими афишами, садился в старое кресло, пил чай из старых фарфоровых чашек и слушал рассказы хозяйки. Сорок лет Мария Ильинична проработала в районной библиотеке, сорок лет принимала и выдавала книги. Вся жизнь её, как ей казалось, прошла тихо и незаметно, в четырёх стенах, среди стеллажей с книгами и лампочек без абажуров. В Отечественную войну она ушла на фронт, служила медсестрой санитарного поезда, несколько раз выносила из горящих вагонов раненых. А в тридцатом году была мобилизована на борьбу с неграмотностью, основала три библиотеки в Сибири, вместе с книгами пряталась в погребе от кулаков. А в гражданскую войну...

С каждым посещением Марии Ильиничны перед рыжим подростком в беспорядке старческих рассказов всё шире раскрывалась незнакомая, во многом непонятная ему, почти невероятная жизнь, и с каждым разом рассказчик и слушатель всё сильнее привязывались друг к другу, так что некоторые жильцы вдруг признали в подростке внука Марии Ильиничны и чуть ли не упрекали парня за то, что «так поздно в нём заговорила совесть».

Она приехала в конце февраля. Достав из почтового ящика письмо, в котором она сообщала ему день своего приезда и номер вагона, он долго не мог поверить.

«Она ведь писала, что до лета не сможет приехать!.. У них ведь сейчас занятия!..»

Три дня, оставшиеся до её приезда, он был сам не свой от нетерпения, едва высиживал от звонка до звонка в школе, но домой приходил поздно вечером, всё свободное время проводя возле её дома: лёд катка выскоблil скребком так, что снежинки не осталось, но этого ему показалось мало, и тогда он заново залил каток, но и этим не удовлетворёлся и на следующий день, несмотря на протесты Марии Ильиничны, вымыл у неё в квартире полы и собирался мыть окна, но потом сообразил, что даже при его жажде деятельности мытьё окон в зимнее время — слишком нелепое занятие; дома у себя он никогда не мыл ни полов, ни окон.

В день её приезда, едва открылось кафе-молочная, он позавтракал в нём, потом пришёл во двор. Окна её квартиры были темными: родители ещё спали. Он сел на скамейку и стал ждать, когда они проснутся, чтобы вместе ехать встречать её, но и

десяти минут не высидел, выбежал на улицу и пешком отправился на вокзал.

Поезд пришел без опоздания, в девять часов утра, и она одной из первых вышла из вагона. Он кинулся к ней навстречу, чуть не попал под колеса автолежки, отскочил в сторону, а когда вереница прицепов проехала мимо, увидел ее рядом с незнакомым мужчиной и незнакомой женщиной.

— Привет,— смущенно сказала она и, повернувшись к незнакомцам, пояснила:— Пап-мам, это Коля. Я вам о нем писала.

«Как же так? Почему я их ни разу не видел?.. Они ее родители?!»

— Ко-оля?— удивленно переспросил мужчина в каракулевой папаше.

— Очень приятно,— сказала женщина в синтетическом пальто с блестками.

От удивления он забыл поздороваться с ними.

Они пошли по перрону: она впереди с родителями, а он чуть поодаль. Она то и дело оборачивалась.

«Да нет, все не так!.. Я думал, что она выйдет и... Мне хотелось, чтобы... Но не так же! И эти чужие люди! И какая она странная в этой дурацкой шапке и шубе...»

— Коля, ну чего ты идешь сзади?— укоризненно спросила она.

— Да нет, я тут... я за вами,— пробормотал он.

— Люсенька, а этот рыжий что, с нами поедет?— вполголоса спросил ее отец, но он расслышал.— Мне его деть некуда: тебя еще бабушка с дедушкой приехали встречать.

«Боже, зачем это! Лучше бы я ждал ее у дома!» Они вышли на привокзальную площадь и подошли к красному «Москвичу». Она подбежала к машине, распахнула дверцу, кинулась обнимать незнакомых пожилых людей, сидевших на заднем сиденье, потом с деланной беззаботностью объявила родителям:— Папочка-мамочка, вы поезжайте, а мы с Колей.— на автобусе!

— Это еще что за новости!— недовольно произнес ее отец, но, взглянув на дочь, понимающе улыбнулся и продолжал с ласковой настойчивостью:— Значит, мы так сделаем, Люсенька: ты садишься в машину, и мы едем домой, где тебя ждут твои многочисленные любящие родственники. А кавалера твоего мы пригласим к себе как-нибудь в другой раз... Хорошо, сегодня вечером! Договорились?

Она виновато посмотрела на него и сказала нерешительно:

— Без Коли я не поеду.

— Да нет, что ты!.. Я только на вокзал... Я наоборот... Мне же в школу надо,— испуганно бормотал он.

«Какая школа? Сегодня воскресенье! Что я несусь!»

— Ну вот и прекрасно!— воскликнул ее отец.

— Коленка, тогда я поеду, ладно? А после школы ты сразу же приходи к нам! Хорошо? Ты будешь свободен?— спрашивала она, глядя на него почти умоляюще.— Ты адрес знаешь?

Она сказала ему свой адрес, но еще до того, как она его произнесла, он уже все понял.

«Перепутать номер дома с номером квартиры! Идиот!.. И на вокзал приперся!»

Она села в машину, прижалась лицом к стеклу, улыбнулась ему ласково и беспомощно.

«Какая-то она не та, другая... Интересно, если она снимет шубу и шапку... Неужели снова будет такой же... как там... тогда?»

Машина уехала, а он пошел по пустынным заснеженным улицам, сквозь безлюдные скверы, свер-

кающие инеем; мимо высоких валов старого города; мимо скучившихся над береговым обрывом синеглавых церквушек с ажурными крестами, с чуть выпуклыми стенами, в лучах утреннего солнца казавшихся теплыми; мимо аркады торговых рядов, через площадь навстречу строго-величавому собору и призрачно легкой, устремленной в прозрачную глубину неба колокольне и дальше по мосту через реку сквозь розовую дымку в новый город...

Изредка навстречу ему попадались люди. Они шурились на искрящие жаркий свет сугробы, а ему казалось, что люди ему улыбаются.

Он остановился возле дома номер двенадцать по Садовой улице. Стоя возле незнакомого пятиэтажного дома, он вспоминал о том, как завтракал в кафе-молочной, как вместе с Игорем Игоревичем заливал каток, как отобрал сетки у Марии Ильиничны...

«Я сам виноват. Ведь она знала мой адрес. Она бы меня разыскала, и я повел бы ее к нашему дому. Мы позавтракали бы в кафе-молочной. Я познакомил бы ее с Марией Ильиничной. Я все бы ей объяснил, и она обрадовалась. Мы вместе посмеялись бы над моей ошибкой...»

Он усмехнулся, покачал головой и тут вдруг вспомнил, что она приехала лишь на неделю и скоро снова уедет.

Он ни разу не вспомнил о Дельфинии, постоял еще немного у чужого дома и пошел к себе домой.

Дом был трехэтажный и невзрачный на вид. Он стоял на углу Садовой улицы и безымянного переулка, и пять его подъездов выходили во двор. Люся Кузьмина никогда не жила в этом доме, но в его кафе-молочной иногда по утрам завтракал знакомый всем рыжеватый паренек. Люся уже уехала, когда во дворе дома на катке был устроен спортивный праздник, привлекая к себе внимание всей округи: в свете прожекторов под музыку из радиодинамика на лед сначала вышли фигуристы в костюмах сказочных персонажей, а затем состоялся хоккейный матч; «рыжий» играл роль церемониймейстера, а на скамейке для почетных гостей, укутанная в шубу, сидела пожилая женщина — бабушка паренька, как думали многие. Он все реже писал Люсе и все реже получал от нее письма, но во втором подъезде на первом этаже вместе с матерью и отцом-художником жила симпатичная девушка, которая уже давно была влюблена в рыжего паренька и старалась чаще попадаться ему на глаза в надежде, что когда-нибудь он заметит ее, остановит и заговорит с ней; не может не заметить и не заговорить: ведь живут они в одном доме.



КАЙСЫН КУЛИЕВ

☆☆☆

Ночь и рассвет приходят наравне,
Как сроки им выходят: друг за другом.
Спит ночью вол и тянет луг во сне,
С рассвета пахарь трудится за плугом.

Спит птица и свои пелеет сны,
Когда в ее гнезде тепло и сухо.
Дай пахе этой малой тишины
И дому, где ребенок и старуха.

Дай тишины арбузам на бахче,
И дикому подсолнуху на скате,
И снежной высоте, и алыче,
Дороге в поле, плугу и попате.

Дай мира зорям, красящим кизип,
И мира тем, кто полет огороды,
И перевалу, где отец ходил,
И горным рекам, где грохочут броды.

Мгла свет затмит, и вспыхнет свет во мгле,
Всему свое, все в мире повторится.
Прошу я мира небу и земле,
А птицам — волю их. Свободу — птицам!

☆☆☆

Спящий ребенок. Спящая птица.
Всадник, спешащий в дом возвратиться.

Ночь тиха.
Дорога суха.

В доме уснули вмертвую. Ой ли!
Дремлют деревья стоя, как в стойле.

Тишь да сонь.
Стынувший конь.

Дети и птицы, звезды им светят.
Всадник во сне все едет и едет.

Ночь тепла.
Дорога светла.

☆☆☆

Когда журавли улетят от нас
И возвратятся опять в свой час,

Мы рады, в небе услышав стаю,
Как пахарь доброму урожаю.

Как будто они не из дальних стран,
Из дней далеких курлычут нам,

☆☆☆

Любой в этот мир пришедший
Его открывает впервой,
Как двери нового дома,
Который возвел другой.
Он мир открывает, как окна
В дому, окно за окном,
И видит в одном он — утро,
А вечер и ночь — в другом.

☆☆☆

Каким я мотом был, каким глупцом —
Я годы-дни не знал куда девать!
Как грустно сознавать перед концом,
Что дни и годы не воротишь вспять.

Ни золота прошу, ни серебра —
Верни мне, жизнь, промотанные дни,
Не легких дней прошу — прошла пора,
Хоть трудные, хоть горькие верни!..

☆☆☆

Я листве этой каждый вечер
— До свидания! — говорю
И, когда ее утром встречу,
За свидание благодарю.

Я тропе этой каждый вечер
— До свидания! — говорю
И, когда ее днями встречу,
За подарок благодарю.

Я звезде этой каждый вечер
— До свидания! — говорю
И, когда ее снова встречу,
За надежду благодарю.

☆☆☆

Бып снегопад, был мрак, свистел буран,
В потемках шел я, спасшись от обвала,
Боясь, что темнота введет в обман,
И без того душа впотьмах блуждала.

Когда же ночь прошла, чуть погода,
Как свет белел, как розы пламенели,
Как радовался я, в свой дом входя,
Как в голубевшем небе птицы пели!

Я счастлив был увидеть снова дом,
Со смертью разминувшись еле-еле,
Как ветхий карбас, выдержавший шторм.
Вино и хлеб опять меня согрели.

Нет краше материнского лица
И глаз моей любимой нет прекрасней!
Я рад был возвратиться в дом отца,
Где, кажется, и мира нет согласней.

Ночь миновала. Отчий дом и двор
Сияли светом радости чудесной.
Узнал я цену жизни, житель гор,
И жарким днем лежу в тени древесной.

Свет был на всем. Он вновь освещал
Улыбку матери и взгляд любимой.
Меня, по счастью, пощадил обвал,
И вот лежу, живой и невредимый.

Ужасный гул остался позади.
Как вкусен белый хлеб с водою горной!
Вкуси покой и радость обрети,
Душа, бедой испытанная черной.

Перевел с балкарского О. ЧУХОНЦЕВ



**КОНСТАНТИН
ВАНШЕНКИН**

Почтальон под дождем

Дождь. Почтальон под дождем.
Вряд ли почувствуешь зависть.
Холодно в поле пустом,
Где он идет, оскользаясь.
Дождь. Почтальон под дождем.
Сумка промокла до нитки.
Может быть, зря его ждем
Мы под зонтом у калитки.

Кавказ

Я высунулся, бледный, из машины
На повороте воздух глотнуть.
Терялись исполинские вершины,
В разрыв небес ушедшие по грудь.

Соединеньем сумрака и мрака
Меж скалами клубились облака.
Под ними, как промокшая собака,
Отряхивалась горная река.

Уход

Сквозь новые внезапные заботы,
Сквозь многие возникшие дела —
Вдохнула ощущение свободы
И голову бесстрашно подняла:

Дорога, уносящая отлого
Дома и перелески без конца.
И белый след, как будто от ожога,
На месте обручального кольца.

Футбольные прозвища

В спорте прозвища, как в деревне,
И традиции эти древни.
Каждый ловко и прочно зван.
Спон. Михай. Косопузый. Жбан.
Так заходит сосед к соседу
Длинным вечером на беседу.
Эта явная теплота
Между близкими принята.
Оборачиваясь на кличку,
Что с годами вошло в привычку,
Усмехаешься: «Молодежь!..»
И опять от ворот идешь.

Потому что взяты ворота...
В этом все-таки было что-то:
Гусь. Челец. Пономарь. Стрелец...
А играет-то как, стервец!

В купе

В купе три девушки со мною,
И словно здесь они одни,
Своей похожей судьбою
Друг с другом делятся они.
Я слышу эти разговоры,
Я понимаю этот пыл.
А оживленные их взоры
Не верят, что я молод был.

☆☆☆

Ветер — по кронам.
Спрятались тетерева.
Низким локлоном
Кланяются деревья.
Время рассвета.
Спятила роща с ума:
Кем-то раздета
Или разделась сама.
Мнилось: престижна
Каждая желтая прядь.
Скоропостижно
Это пришлось потерять.
Как от махорки,
В сизом дыму бересклет.
Да от моторки
Вдоль по воде белый след.

Отроковицы

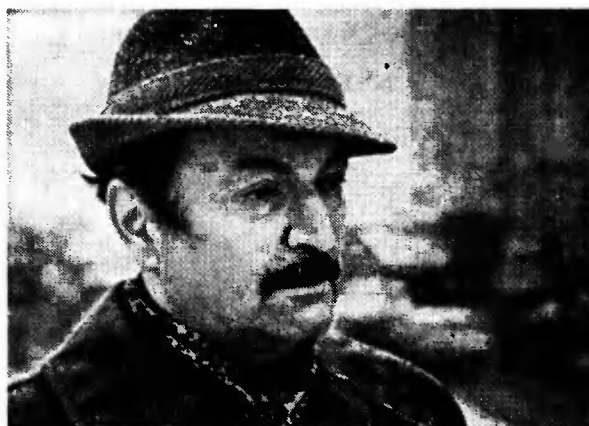
Смеялись две отроковицы,
В седьмой шагающие класс.
Струился свет от роговицы
Их голубых и карих глаз.
Тянуло свежестью самую
От хохота отроковиц.
И снежной веяло зимою
От шапок и от рукавиц.

Чудак

Хоть и нет уже сил,
Вновь смеяться готова.
Он седьмого звонил,
Что приедет шестого.
Городил ерунду,
Но без лишнего пыла.
Знать, ему на роду
Так написано было.
Вечно путал с утра
Яви признаки, сна ли...
Что он умер вчера,
Мы сегодня узнали.

☆☆☆

Сверху улала щепотка побелки —
Поднял я взгляд потревоженный свой,
Чтоб догадаться, чьи это проделки,
Кто там еще над моей головой...
Снежный комок от исчезнувшей белки
Так же смущает зимой голубой.



АРКАДИЙ
АДАМОВ

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ

Глава I

ПРОИСШЕСТВИЕ В ПАРКЕ

ПОВЕСТЬ

Началась вся эта история с того, что Петр в очередной раз влюбился.

...Неделю назад дела привели Шухмина в одно отделение милиции. Там он Нину и встретил.

Стоял необычно теплый, даже жаркий май. Уже увяла сирень в новых московских сквериках, которые в последние годы появились в центре города на месте снесенных старых зданий. А на старинных бульварах, опоясывающих центр города, всюду распустилась глянцево-зеленая листва на деревьях, под густой их кроной было в солнечный полдень душно. И совсем уже нечем дышать на шумных улицах и проспектах.

Потому Петр не придумал ничего лучшего, как пригласить свою новую знакомую в парк.

Они встретились возле станции метро и по широкому мосту направились в сторону парка, огни которого сверкали на той стороне реки. Было еще светло, и огни казались на фоне зелени и пестрых павильонов лишь золотистыми блестками.

Нина посмотрела на далекий берег и, замедлив шаг, спросила:

— А что там на набережной, где народ толпится?

— Заграничные аттракционы, — ответил Петр и, продолжая разговор, в свою очередь, задал вопрос: — Ну, а что у вас слышно?

— Неприятный случай у нас сегодня. Днем залезли в одну квартиру, выпили воды и оставили записку: «Извини, ошиблись адресом. Бедно живешь». А через два часа ограбили невдалеке другую квартиру. Антиквариат всякий унесли. Хозяин даже цветные фотографии украденных вещей принес. Ой, какая там красота! Это от отца ему перешло.

— Видно, крупная кража, — согласился Петр. — Завтра по сводке пройдет. Но неужели те же самые, которые записку оставили?

— А если они, то что? — чуть насмешливо поинтересовалась Нина. — Сразу, конечно, раскроете?

— Ладно уж вам, Ниночка, смеяться над бедными сыщиками. Мало над нами другие смеются и ругают тоже?

Так, болтая, они дошли до главного входа в парк и по широкой аллее не спеша двинулись к набережной. За их спиной на центральной площади перед входом шумел и переливался тысячами струй огромный фонтан. Народу было много, и все, кажется, шли в одном направлении.

Вскоре Петр с Ниной вышли на набережную, где недалеко один от другого стояли причудливые аттракционы. Люди, усевшись в легкие салазки, стремительно взлетали вверх по каким-то фантастическим кривым, потом падали, на секунду исчезая за разноцветными щитами, и снова взлетали вверх — казалось, вот-вот должны были в какой-то миг перевернуться. Оттуда неслись возбужденные возгласы, женский визг и смех, заглушаемые грохотом, свистом и лязгом работающих механизмов.

Длинные очереди извивались возле касс. Любителей острых ощущений было больше чем достаточно.

— Не хотите испытать свои нервы? — весело спросил Петр. — Такие переживания и всего за сорок копеек, а?

Нина пожала плечами и, закинув голову, стала следить за стремительным полетом санок на ближайшем аттракционе.

— Ой, — сказала она, — даже издали кружится голова.

Петр между тем разглядывал очередь в кассу. Интересно, сколько же надо в ней простоять? Этот воздушный крутеж, то есть один сеанс, продолжается — он посмотрел на часы, как только аттракцион, приняв новую партию желающих, начал с лязгом и гулом набирать обороты, затем отметил момент останова, — продолжается три с половиной минуты.

Петр невольно спросил слонявшегося недалеко толстого парня:

— Мало они летают, всего три минуты. Голова, что ли, больше не выдерживает?

— Ага, — подтвердил парень, как-то странно взглянув на Петра. — Не выдерживает.

— Скажи, пожалуйста...

Петр пожал плечами и продолжал свои наблюдения.

Сажает сразу человек сорок. Ну, а в очереди — Петр снова прикинул — человек двести. Да, не меньше, чем на час, со всеми посадками и высадками. Он покачал головой и объявил:

— Нет смысла. Из-за трех минут волшебного полета час томиться в очереди. Как, Ниночка?

— Я вам уже сказала. Пойдемте.

Они миновали еще два павильона, где очереди были не меньше, и наконец вынырнули из толпы возле боковой аллеи.

За невысокой, аккуратно подстриженной стеной кустарника возникла решетчатая ограда летней концертной площадки, за ней видны были люди на длинных скамьях, а на освещенной сцене-раковине азартно играл небольшой молодежный джаз и хриплым голосом что-то пела в микрофон тоненькая женщина в длинном красном платье. А еще дальше, уже по другую сторону аллеи, за высоким, глухим зеленым забором слышался сухой треск несильных выстрелов. На заборе красной краской были начертаны три огромные буквы: «Тир».

Нина и Петр медленно шли по аллее, болтая о всяких пустяках и поглядывая по сторонам. Еще было довольно светло, хотя яркие фонари на красивых изогнутых мачтах уже сияли высоко над головой.

Внезапно Петр ощутил неясное беспокойство, точнее даже, неудобство, стесненность какую-то. Ощущение было непривычным и, главное, непонятным.

Они продолжали все так же не спеша идти по аллее, Нина с увлечением рассказывала о прошлогоднем туристском походе на плотках по рекам Смоленщины.

Неожиданно на скрещении аллей возникло маленькое, уютное кафе, Петр предложил зайти и посидеть там. Но Нина попросила:

— Давайте еще погуляем. А кафе запомним и потом вернемся. Оно и правда очень славное.

И они пошли дальше.

Вот тут-то Петр и обратил внимание на двух подвыпивших парней. Они, видимо, уже давно шли за ним, именно за ним, Петром, а не за Ниной. Это он сразу же ощутил. Вот откуда шло его беспокойство. Ну, еще бы! Никогда в жизни за ним никто не следил. Он — это случалось. Но за ним... Да, то была именно слежка, малоквалифицированная, конечно, совсем непрофессиональная, но все же слежка. Петр только не мог определить, где именно она началась. За ним увязалась явно какая-то шпана, это было видно по их опухшим физиономиям, по пьяным ужимкам, по походке.

Прежде всего Петр решил проверить, что слежка за ним в самом деле ведется. Для этого он несколько раз сворачивал с Ниной на другие аллеи, останавливался возле каких-то афиш. Он даже на минуту завел Нину в летний лекторий за решетчатой оградой, где врач давал консультации по режиму дня и питанию людей разного возраста и профессии.

Когда Петр и Нина снова двинулись дальше по аллее, Нина насмешливо спросила:

— Что же вы ушли, не узнав, какой режим дня соответствует вашему возрасту и профессии? Интересно, что бы врач вам посоветовал...

Петр, однако, шутки не принял, потому что парни не отставали ни на шаг. Понизив голос, Петр сказал:

— Вы, Ниночка, работаете в милиции, поэтому не подавайте вида, что удивлены: с нами ведь всякое бывает, сами знаете. Сейчас, например, за нами следят, представляете?

— А вам это не кажется? — улыбнулась Нина, но глаза ее стали строгими, настороженными, и она зачем-то взяла Петра под руку.

— Я уже убедился, — коротко ответил Петр и добавил: — Только не оглядывайтесь по сторонам.

— Нет-нет. Но... зачем они следят за нами?

— Сам не пойму. Но все-таки интересно выяснить, зачем я им понадобился. — Петр огляделся по сторонам. — Где тут пункт милиции? Сто лет в этом парке не был.

— Где-нибудь у входа.

— Я тоже думаю. Пойдемте в том направлении.

Они медленно двинулись к центральному входу в парк. Неожиданно Нина заметила какого-то человека с красной повязкой.

— Вон дежурный. Спросим у него.

Они подошли, и человек показал им, в какой стороне находится пункт милиции, ни о чем при этом не спросив и не предложив помощи.

Петр заметил, что их короткий разговор не понравился преследователям. Они стали явно нервничать, хотя, конечно, самого разговора слышать не могли. Правда, они, в свою очередь, тоже подошли к тому человеку, поздоровались с ним за руку, как со знакомым. И Петр сделал вывод, что парни эти не случайные посетители парка.

А через некоторое время парни ускорили шаг, и, не обращая внимания на окружающих, один из них грубовато окликнул Петра:

— Эй, мужик!

Петр оглянулся и с подчеркнутой вежливостью осведомился:

— Это вы ко мне обращаетесь?

— К тебе, к тебе, — ответил парень в красной рубашке и приказал: — Ну-ка, топай сюда.

Наглый его тон Петру не понравился, и он собрался было ответить в том же духе, но передумал и негромко сказал Нине:

— Я сейчас. Подождите.

— Я с вами.

— Нет, — жестко отрубил Петр и уже мягче добавил: — Я вас прошу.

Он подошел к парням, и все тот же, в красной рубашке, угрожающе процедил:

— Вот чего. Чтоб духу твоего сейчас в парке не было. А то за здоровье не ручаюсь, понял?

— Нет, — покачал головой Петр. — Не понял. — Он даже вздохнул от огорчения. — В чем дело-то? Парк для всех, кажется.

— Только не для тебя. Если еще раз придешь, рыбу кормить отправим.

— Чем это я вам так не понравился?

— Мордой. И языком. Так что вали отсюда со своей девкой. А мы поглядим, куда повалишь. Давай, давай.

— Что-то неохота, — лениво ответил Петр. — Рано еще.

И в тот же момент неувидимо быстрым движением успел перехватить руку парня в серой куртке, стоявшего сбоку. В руке у того был нож. Удар парень хотел нанести неожиданный и потому особенно опасный, снизу вверх, в брюшину, с расчетом свалить Петра за кустарник. Пока люди вокруг сообразят, что случилось, эти успеют убежать, скрывшись за тем же кустарником, благо уже спускались сумерки.

Но удар не получился. Все-таки Шухмин был как-никак прошлогодним чемпионом московского «Динамо» по самбо. И потому возле кустарника раздался сдавленный крик, а на траву упал нож. И тут же затрещали кусты. Это удирал второй, в красной рубашке. Он даже не пытался прийти на помощь товарищу, но с безопасного расстояния оглянулся и зло крикнул:

— Ну, гляди, сука, что с тобой теперь будет! — И мгновенно исчез за кустами.

Лежащий парень подняться не мог: Петр коленом прижал его к земле, заломив за спину руку. Мимо, оглядываясь на них, торопливо проходили люди. И только какой-то пожилой человек в соломенной шляпе, приблизившись, спросил:

— Тебе помочь, сынок?

— Да нет, справлюсь, спасибо, — ответил Петр. — Сейчас вот в милицию его, гада, сволоку.

— А свидетель? Как же без свидетеля? Я-то сам видел, как он...

— На этот раз обойдемся без свидетеля, — усмехнулся Петр и, обращаясь к парню, добавил: — Вставай, бобик. Ножками пойдешь. Вот только ножичек твой не забыть бы.

Но за ножичком уже нагнулась Нина.

— Все-таки свидетель, выходит, есть, — улыбнулся человек в соломенной шляпе.

Парень угрюмо поднялся, отряхнулся и... неожиданно кинулся в кусты.

Неизвестно, сколько бы за ним пришлось бежать, если бы он не споткнулся. Петр схватил его и сгоряча нанес такой удар, что больше парень о бегстве не думал. Он обмяк, скрючился и теперь еле переставлял ноги, морщась при каждом шаге.

Минут через десять они подошли к милицмейскому пункту — найти его удалось все же не сразу.

— Вы меня минуту подождите, Ниночка, — чуть извиняясь, сказал Петр. — Что поделаешь, такая прогулка у нас получилась.

Он провел задержанного парня в одну из комнат, и туда вслед за ними вошел долговязый капитан, заместитель начальника милицкого пункта.

— Филипенко, — представился он Петру. — Зовут Василий. А тебя я знаю, между прочим. В Гагаринском районе встречались. Я два года там вкалывал. Что случилось-то?

Петр отвел его к окну, чтобы сидевший возле стола парень не слышал, и коротко сообщил о странном поведении своих преследователей и о схватке с ними тоже.

— Та-ак, — задумчиво произнес Филипенко, критически разглядывая задержанного. — Я тут с публикой местной познакомиться как следует пока не успел. Вот с этим деятелем мы, к примеру, еще не встречались. Как тебя звать-то? — обратился он к парню.

Тот метнул на него затравленный взгляд и буркнул:

— Виктор.

— А фамилия?

— Ну, Коротков. Дальше чего?

— Обыскал его? — обратился Филипенко к Петру.

— А как же. Документов никаких. Вот только ножичек.

— А это не мой, — с вызовом произнес Коротков. — Докажи, что мой.

— Э, Витя, — покачал головой Петр. — Совсем ты, я гляжу, зеленый.

— Сам больно красный.

— Не груби старшим. И помни, где находишься. А насчет ножичка я ничего пока доказывать, — он сделал ударение на последнем слове, — не собираюсь. Ты же видел, я даже от свидетеля отказался.

— У тебя девка — свидетель.

— Ну вот. Выходит, нож доказать можно? — засмеялся Петр.

Парень отвернулся, не желая отвечать. Его мелко трясло, и видно было, что он изрядно пьян.

— Ты спасибо скажи, что на меня наскочил, — продолжал Петр. — А напал бы на постороннего гражданина, ранил бы его — и загремел бы на много лет, дурья твоя голова. Колонию, небось, еще не нюхал?

Парень, съежившись, упрямо молчал.

— Ладно, — решил Петр. — Успеем потолковать.

— Давай тогда отдыхай, завтра поговорим, — рассердился на Короткова Филипенко и, открыв дверь в коридор, крикнул: — Васильев!

Немолодой усатый милиционер уцеп задержанного. Когда дверь за ними закрылась, Петр сказал Филипенко:

— Ты мне завтра позвони. А до того не отпускайте парня. Запиши мой телефон.

Филипенко записал телефон и, улыбнувшись, спросил:

— А ты с девушкой, оказывается? Может, все-таки из-за нее?

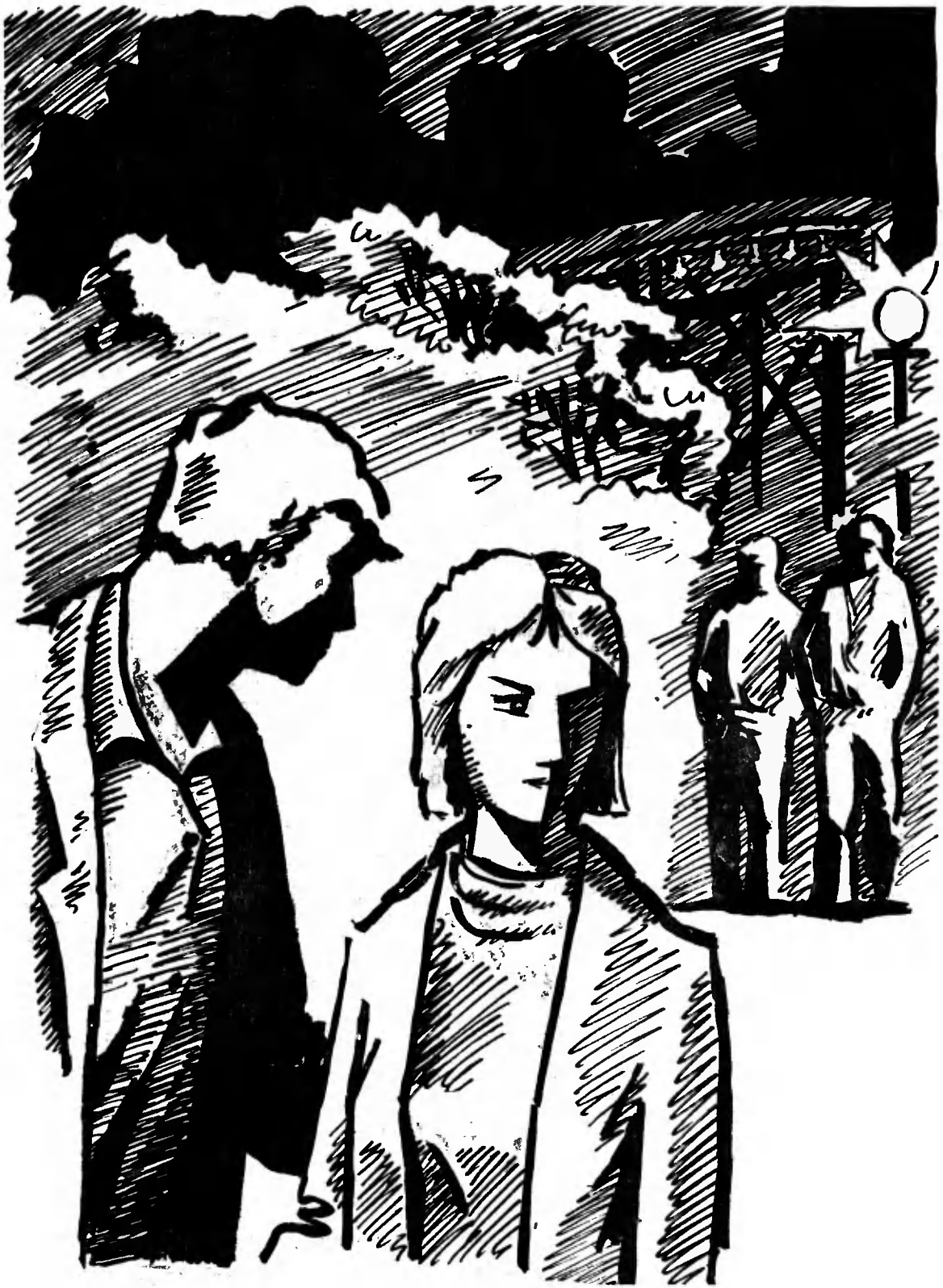
— Нет. Не так они себя вели. Что-то тут другое, понимаешь? Ну, ладно. До завтра. Бывай.

Попрощавшись, Петр вышел в коридор и огляделся. Нина стояла в стороне, возле окна. Когда Петр вышел в коридор, она помахала ему издалека, и он, обрадованный, словно встреча их была случайной, заторопился к девушке.

— Простите, Ниночка, — сказал он, подходя. — Очень я задержался.

Они направились к выходу.

— Ну, что? — нетерпеливо спросила Нина. — Сказал он что-нибудь?



— Говорит, вы им понравились,— чуть заметно усмехнулся Петр.

— Я?

— А что? Разве такого не может быть? Да я бы и сам не отстал, если бы вас встретил.

— И вы ему понравились?

Петр вздохнул.

Некоторое время они шли молча. Петр предложил:

— Давайте зайдем в то кафе?

— Ну, что ж,— согласилась Нина и весело тряхнула головой.— Все-таки никому не удастся испортить нам вечер, правда?

Они невольно ускорили шаг, и Петр уже не выпускал ее руки из своей.

Потом они долго еще гуляли по парку. Петр не забывал наблюдать по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Их, видимо, оставили в покое.

Глава II

ДВА СОВСЕМ, КАЗАЛОСЬ БЫ, РАЗНЫХ ДЕЛА

Федор Кузьмич возвращался по длиннейшему коридору от начальника управления. Деловито, даже напряженно проводил утренние пятиминутки генерал. Причем он умел не только точно и коротко сориентировать начальников отделов в оперативной обстановке по городу, дать важные указания или советы по особо сложным делам, но, главное, создать настроение, заразить всех своим оптимизмом и энергией. Это Федор Кузьмич ценил больше всего, это соответствовало его собственному подходу к делу.

Однако внешне и даже по складу характера они совсем не походили друг на друга. Генерал был среднего роста, широкоплеч, подтянут и порывист в движениях, с открытым живым лицом, на котором, казалось, отражалось любое чувство. А Федор Кузьмич высок, сутул и нескладен в своем мешковатом старомодном костюме, седой ежик волос уже не мог скрыть явственно обозначившуюся лысину; круглые простые очки придавали ему и вовсе какой-то бухгалтерский вид. Федор Кузьмич всегда оставался сдержан, немногословен, угрюм даже, и потому, наверное, редкая улыбка, проступавшая вдруг сквозь усы, необыкновенно шла ему.

Так вот, идя по бесконечным коридорам после пятиминутки у генерала и рассеянно то и дело здороваясь с кем-то, Федор Кузьмич думал о том, что чуть не за тридцать лет его работы в уголовном розыске сменилось немало начальников, но, кажется, давно уже не было такого подходящего, как сейчас. Хотя все они, прежние, были опытными работниками, прошедшими путь от рядового оперативника, своими ногами обегали всю Москву, на своих плечах взвесили опасную тяжесть их труда. А как же иначе? Сюда ведь не назначишь человека из другой руководящей сферы, не переведешь, не перебросишь. Здесь руководить надо не «вообще», надо самому все знать и уметь, «носом» чують, улавливать, даже предвидеть перспективу дела, ход расследования, прочность версий. Это дается только долгим опытом работы, только «горбom». Поэтому куда повыше ставили порой совсем новых, све-

жих людей, а сюда нет, шалишь, сюда только «своего» можно. Потому, небось, и генералами тут становятся редко. Вот всего второй генерал за столько лет...

Да, в опыте бывших начальников сомневаться не приходилось, в искренности их намерений тоже. Однако подлинное уважение, а тем более всеобщая симпатия завоевывались не только опытностью и искренностью.

Федор Кузьмич, как и все в управлении, хорошо помнил случай, происшедший всего года два назад, когда теперешний начальник только принял дела. Трудный допрос по очень важному делу начал вдруг давать результат, и преступление вот-вот могло, как говорится, «пойти на раскрытие». Оказавшийся случайно на этом допросе один приткий замнач отдела тут же побежал с докладом к новому начальнику управления, выдав успех допроса как вроде бы свой личный и вообще стремясь нечто приятное сообщить первым и первым выслушать благодарность. Раньше такое часто приносило успех. Но на этот раз новый начальник молча выслушал доклад, потом задал два-три, казалось бы, ничего не значащих вопроса, но неожиданно самому докладывающему стало ясно, что он не должен был сюда прибегать первым, что он себя как бы «раздел» и показал, что в допросе, по существу, не участвовал, иначе обязательно знал бы некоторые детали, о которых будто невзначай спросил новый начальник. Да и то, что он так спешил сообщить, оказывается, далеко не означало успеха, и теперь ему следовало вернуться и самому включиться в неоконченный еще допрос, придав ему другое направление. Короче говоря, таким пристыженным замнач никогда еще не выходил из кабинета начальника управления. Неведомым образом случай этот стал вскоре всем известен, и урок запомнился.

Сегодня генерал вел пятиминутку в обычном темпе, не позволяя утерять тот стремительный ритм, в котором живет огромный город. И заключил пятиминутку генерал, как всегда, энергично: «Ну, все. В бой!»

А суточную сводку между тем успели обсудить детально. В ней прежде всего обратила на себя внимание крупная квартирная кража. Было унесено много ценных антикварных вещей. Но особое внимание эта кража привлекла тем, что в квартире была обнаружена стреляная револьверная гильза, кем-то явно утерянная. В тот же день, то есть еще вчера, пулегильзотека научно-технического отдела дала заключение, что гильза от патрона из того самого нагана, который давно уже «ходит в городе» и его давно ищут—месяц, наверное, когда впервые он был пущен в ход. «В котором часу вчера обнаружили кражу?»—спросил генерал. «В четырнадцать часов»,—доложил кто-то из присутствующих. «Кто из наших выезжал?» «По городу дежурил мой Откаленко»,—откликнулся Федор Кузьмич.—Он и нашел гильзу». «День поработаете, а вечером»,—сказал генерал,—прошу с Откаленко ко мне. Кражу эту забирайте себе». «Слушаюсь»,—сдержанно ответил Федор Кузьмич, хотя любой другой начальник отдела на его месте непременно попытался бы передать это неприятное дело «по принадлежности», ибо квартирными кражами отдел Цветкова не занимался. Но в деле был замешан «тот самый» наган, и Федор Кузьмич, поняв генерала, не возразил.

Затем перешли к другим пунктам суточной сводки. Генерал обратил внимание на две драки в парке, обе «ножевые», причем, в результате одной из них человек был тяжело ранен и скончался в больнице. «Это не первый там случай,—строго сказал

генерал.— Что-то у меня печень начинает нагреваться, когда я об этом парке слышу. Прошу,— он обернулся к Федору Кузьмичу,— возьмитесь-ка посерьезней за него. Что там, в самом деле, происходит? Или я сгущаю краски, а? — тут же переспросил он. «После сегодняшней сводки не сгущаете»,— невозможно ответил Федор Кузьмич.

И вот, возвращаясь с пятиминутки, Федор Кузьмич думал о двух новых делах, которыми предстояло немедленно заняться.

Когда он зашел к себе в кабинет, все сотрудники отдела уже собрались на утреннюю оперативку. Лосев, конечно, о чем-то азартно спорил, и длинная, тощая его фигура прямо-таки сломалась над спинкой стула, так он перегнулся через нее, обращаясь к сидящему сзади него Откаленко, на хмуром лице которого с упрямо выступающим подбородком было написано несогласие.

— Прошу внимания,— сказал Федор Кузьмич, располагаясь за столом и доставая из кармана очки.— Для начала — картина по городу за истекшие сутки.

Глуховатым своим голосом, не спеша, словно вдумываясь в каждую фразу, он прочел сводку. И каждый, конечно, тоже отметил про себя крупную квартирную кражу и драки в парке.

— Есть что добавить,— неожиданно объявил Петр Шухмин.

Все с любопытством обернулись в его сторону. На Шухмина такое и вообще-то не было похоже, ну, а уж к суточной сводке обычно и вовсе никто ничего добавить не мог, кроме сотрудников, выезжавших на место происшествия, а Шухмин вчера куда не выезжал, это все знали.

— Добавь,— кивнул ему Федор Кузьмич и даже снял очки.

— Я вчера вечером как раз в парке был с одной девушкой,— несколько конфузясь, начал Петр.— Так вот она мне про ту квартирную кражу кое-что рассказала.

— Вот как надо выбирать девушек,— наставительно сказал Лосев, смеясь одними глазами.— Не всякая, гуляя, про такое расскажет.

— Да она работает в том отделении! — досадливо воскликнул Шухмин.— Сказать не даете! Так вот, часа за два или три до кражи...

И он рассказал про записку, оставленную в квартире неподалеку от той, которую затем обокрали.

— Интересно,— медленно произнес Откаленко.— Ребята мне про эту записку не рассказывали. Видно, не успели. Я оттуда сразу на другое происшествие уехал.

— А записка-то кое о чем говорит,— заметил Лосев.— Если, конечно, тут одна группа... Разрешите, Федор Кузьмич? — обратился Лосев к Цветкову.— Так вот, если это одна и та же группа, то можно предположить, что в первый раз они действительно ошиблись адресом. А значит, адрес-то был. То есть был подвод. И второе, думаю я, что группа та приезжая и город знает плохо.

— Ну, тут у тебя натяжка,— покачал головой Откаленко.— Тем более, кто-то из них обронил там гильзу от нагана. А наган этот был месяц назад на преступлении.

— Ну и что? — задиристо спросил Лосев.— Значит, они приехали снова. Может ведь и так быть?

— Где, между прочим, ты ту гильзу нашел? — поинтересовался Федор Кузьмич у Откаленко, вертя по привычке в руках очки.

— Под диваном.

— Как же она туда закатилась, по-твоему? — задал новый вопрос Федор Кузьмич.

Лосев с любопытством посмотрел на него. «За что-то Кузьмич зацепился»,— подумал он.

— Могла из кармана выпасть,— сказал Откаленко.— Около того дивана стоял шахматный столик, и фигуры там были расставлены, ну, чтобы видны были. Ведь это же произведение искусства, а не просто шахматы, слоновая кость и серебро. Грабители второпях столик опрокинули. Фигуры могли и под диван закатиться. А грабители унесли все до единой. Значит, ползали, собирали. Вот у кого-то гильза из кармана и выпала.

— М-да... — задумчиво произнес Федор Кузьмич и с силой потер ладонью ежик седящих волос на затылке, что означало у него либо крайнее неудовольствие, либо такое же крайнее затруднение.— Прошлый раз где этот наган применили?

— Его применили ночью на путях станции Курская-пассажирская,— ответил Игорь Откаленко.— Перестрелка с охраной.

— Что там случилось?

— Они по путям бежали с какими-то вещами. Хотели остановить, а они — стрелять. И ушли.

— Сколько их человек было?

— В темноте не очень разобрали. Вроде трое.

— Значит, так, милые мои. Ты, Откаленко, займешься этой кражей, ее нам отдали. Поезжай к ребята в район, возглавь розыск. Вечером нас с тобой вызывает по этому делу генерал. Версию о приездах не отбрасывай, тут Лосев прав. Записочку по лучше изучи. Пригодится, я думаю. Помни, группа опасная. Мы за этим чертовым наганом уже сколько бегаем! Он ведь каждую минуту снова выстрелить может. Понял ты меня?

— Так точно,— подтвердил Откаленко.— Еду.

Он уже собрался встать, но Федор Кузьмич махнул ему очками.

— Посиди. Еще один пункт надо обсудить.

— Это насчет парка?

— Вот-вот. Ты вчера на убийство туда выезжал?

— Так точно. Около двадцати четырех часов его там в кустах нашли, человека этого. Умер в больнице, не приходя в сознание. Выпивши был, но не очень. Две ножевых раны, одна смертельная. На месте происшествия ни одной зацепки. Да и неизвестно, место ли это происшествия. Может, уже потом его в кусты сволокли.

— Словом, пока глухо,— резюмировал Лосев.

— А по второй драке что есть? — спросил Федор Кузьмич.

— Там оба участника задержаны. Серьезных ранений нет, у одного только царапина. Сегодня ребята будут с ними разбираться.

— Есть что добавить,— вдруг снова сказал Петр, вид у него при этом был еще более смущенный.— Еще одна драка там вчера случилась, тоже вечером.

— В парке? — на всякий случай уточнил Федор Кузьмич.

— Именно что.

— Он там не с девушкой гулял, точно вам говорю,— объявил Лосев.— Девушка была только для маскировки. Ну, сознайся, чего уж там,— обратился он к Петру и незаметно подмигнул окружающим.

— Да нет, вы только послушайте,— словно оправдываясь, сказал Петр,— такого еще со мной не бывало, ей-богу.

И Петр рассказал о странной слежке, которую за ним установили в парке, и о заключительной схватке с двумя парнями.

— Так, может, просто хулиганы, да еще выпившие? — предположил Цветков.

— Нет, все тут, по-моему, не так,— сказал Лосев.— Они же потребовали, чтобы он из парка убрался и больше там не показывался. Нет, что-то тут другое.

— Не знаю, что может быть,— вздохнул Шухмин.— Я больше ничего придумать не могу.

— Ничего придумывать и не надо,— пожал плечами Лосев.— Работать тут надо.

— Вот именно,— неожиданно подвел итог Федор Кузьмич и пристукнул ладонью по столу.— Именно работать. Вот ты, Лосев, сейчас и поезжай в парк. Все, милые мои. Оперативка закончена. Как наш генерал говорит: «В бой!»

Но в его устах этот энергичный призыв прозвучал как-то буднично.

В отделение милиции, на территории которого произошла квартирная кража, Откаленко собрался ехать сразу, как только закончилась оперативка. Но ему повезло. В коридоре управления он неожиданно встретил Костю Красильщикова из того же отделения, Костя возвращался от кадровиков.

— Опять у меня забирают человека. Пойми, некому же работать!— горячо и обиженно говорил низенький, толстый Красильщик, пока они шли к остановке троллейбуса.— Ты же знаешь, вся мелочь, вся морочка— все на нашу голову, не на вашу. Вы только большие дела берете. А с нас голову открывают и за большие и за малые. Вот голова кругом и идет. А тут еще работника забирают. Это вместо того, чтобы двух добавить. Ну, скажи, можно так?

Игорь согласно кивал в ответ. Он знал, почему фунт лиха в отделении, что там за сумасшедшая, дерганая работа. И в то же время он знал, что, не повзвизывая в этом котле, хорошим сыщиком не станешь. И не потому, что в отделении приобретаешь особый опыт раскрытия преступлений, его скорее наберешься в МУРе. Но в отделении усваиваешь другой необходимый опыт— здесь по-настоящему узнаешь жизнь во всех ее самых острых, болезненных поворотах и изломах, здесь учишься распознавать людей, каждую минуту сталкиваясь с неожиданными, сложными ситуациями, в которые эти люди вдруг попадают и в которых они раскрываются, обнаруживая до того никому неизвестные стороны своего характера. Словом, Игорь прекрасно знал нелегкий хлеб той работы и сейчас вполне сочувствовал Красильщику.

В троллейбусе, естественно, служебный разговор прекратился, а когда наконец добрались до места и Красильщик привычно, даже с облегчением расположился в своем тесном кабинетике, Игорь завел разговор о деле, ради которого приехал.

— Вы почему решили, что записку оставили те же самые, кто потом квартиру ограбил?— прежде всего поинтересовался он.

— Адреса, понимаешь, больно похожи,— объяснил Красильщик.

Он раскрыл папку, которую только что достал из сейфа, и, перебрав немногие бумаги, вытащил одну и протянул Игорю.

— Вот эта записка, гляди.

Игорь рассмотрел записку с обычным неторопливым вниманием. Очень важная это была улика. И неслучайно в себе немало информации, надо было только суметь ее извлечь. Текст записки гласил: «Извини, ошиблись адресом. Бедно живешь». Особенности так называемой письменной речи свидетельствовали, во-первых, о некоем все же культурном уровне автора, в пределах, скажем, средней школы, во-вторых, о свойственной ему бравате, наглости и даже безбоязненности, присущей скорее всего неопытности. Значит, наряду с опытными преступниками— кража-то совершена была вполне квалифицированно, да и наличие нагана об этом сви-

детельствовало— в группе был и новичок. Вероятно, на это обратил внимание и Красильщик, он был опытный сыщик.

Дальше. Вот почерк. Никуда не ушел от школьного, но рука огрубела, видимо, привыкла к другой работе. А вот записку эту написать потянуло.

Следующий пункт— бумага. Листок вырван из блокнота. Бумага грубая, темная, волокнистая. Блокнот с такой бумагой сейчас вряд ли купишь в Москве. И это тоже тянет к приезжим. Виталий, кажется, угадал. Между прочим, блокнотами сейчас редко пользуются. А у парня в кармане блокнот. Но писать он не привык, у него явно другая работа. Зачем тогда блокнот? Записки пишет, заметки делает, расписки дает, работа с этим связана? На большом заводе? В мастерской? За рулем? Привычно нанизывались мысли, тянулась логическая ниточка, не рвалась.

Игорь снова повертел в руках записку. А пареню, видимо, пользуется блокнотом часто. Записка написана уже на последнем листке. На обороте его виден еле заметный штампик, не печатный, типографский, а как бы чернильный. Штампик этот фабрично-изготовителя, не иначе. Разобрать его сейчас невозможно. Этим должен будет заняться эксперт.

Да, кажется, дорого обойдется тому парню его наглая выходка. Но пока что он и его сообщники гуляют на свободе и тот загадочный наган с ними.

Игорю была уже знакома эта вечная нервная напряженность, когда где-то «ходит» оружие, это гложащее чувство почти личной ответственности и вины и ожидание, непрерывное ожидание нового несчастья.

— Ну, а как с гильзой?— спросил Красильщик.— Здорово все-таки, что ты на нее наткнулся. И чего тебя под диван потянуло?

— Думал, может, фигурка шахматная закатилась, столик-то рядом опрокинут был.

— А диван, между прочим, старинный, ты обратил внимание? Красивый диван,— мечтательно произнес Красильщик.

— Старинный,— подтвердил Игорь.— Все там старинное. Кто хозяин-то?

— Инженер. Старина эта от отца ему досталась. Собирает старик был, коллекционер.

— А кто, по мнению инженера, подвод мог дать, кто с его коллекцией знаком, ты спросил?

— Ну, как же. Это, говорит, подумать надо. Рассудительный такой мужик, выдержанный. Ну, я и решил: пусть, мол, на своем диванчике посидит, подумает. Благо, не унесли его, диван этот.— Красильщик хохотнул.

Игорь представил себе тот диван на гнутых резных ножках, придававших ему удивительную легкость и изящество, вспомнил овальную резную спинку дивана, в середину которой был вставлен тоже овальный, пухлый матрасик, обтянутый, как и сиденье и подлокотники, дорогой набивной шелковой тканью. Когда Игорь заглянул под диван, он подивился, как искусно и аккуратно был отделан низ сиденья деревянными планками. Но пыли под диваном было немало. Гильза закатилась недалеко, за переднюю ножку, и сразу бросилась Игорю в глаза. Дальше, до самой стены, возле которой стоял диван, ничего не было, никакой шахматной фигурки, только пыль и... темный комочек у дальней ножки. Этот комочек мелькнул тогда мимо сознания как не заслуживающий внимания. Что это было, кстати? Игорь невольно поморщился: какая ерунда приходит, однако, в голову— комочек... такой темный, как бы воздушный... Ну, комочек свалывшейся пыли, пепел какой-нибудь... Пепел? Чепуха! Откуда там может оказаться пепел, под диваном? И не в виде по-

рошка, а целый, сгоревший комок. Да и незаметно было, чтобы в комнате что-то жгли.

Место преступления или, как говорят, происшествие Игорь осматривать любил и умел. Делал он это аккуратно, методично, разгадывая по пути всякие неожиданные загадки. Он подмечал совсем вроде бы незаметные детали, находил и истолковывал еле видимые следы и при этом успевал улавливать состояние, настроение окружающих, особенно пострадавших, свидетелей, понятых, даже своих товарищей, производивших вместе с ним осмотр. Все эти неторопливые, вдумчивые действия как нельзя лучше соответствовали его педантичному, рассудительному нраву. Недаром следователи любили именно с Откаленко выезжать на место происшествия. И Кузьмич, кстати говоря, в этом первом следственном действии по раскрытию преступления больше всех доверял Откаленко.

И вот что-то вдруг забеспокоило Игоря во вчерашнем осмотре. Этот непонятный, дурацкий какой-то комочек под диваном, у стенки, что ли? И он... и что-то еще... Игорь вспомнил хозяина квартиры, с которым так и не успел как следует поговорить. Среднего роста, худощавый, черная густая борода, черные усы и совсем светлые глаза между припухшими веками, а в них растерянность, досада, даже горе. Ну, еще бы. Такая крупная кража. Можно понять и досаду и горе. А потом он что-то сказал Игорю, Игорь уже не помнил что, но какая-то фраза... или даже словечко...

— Как его зовут, потерпевшего?— спросил Игорь.

— Потехин Илья Васильевич,— ответил Красильщиков.— А что?

— Да так. Дай-ка я его допрос посмотрю.

Красильщиков опять открыл папку и достал испанные от руки бланки допроса.

Игорь пробежал глазами вопросы и ответы. Нет, тут этого словечка, конечно, не было. Теперь Игорь вспомнил, Потехин сказал его не во время допроса. Что же именно? Игорь совсем не был уверен, что Потехин произнес что-то важное, существенное, и тем не менее это «что-то» не давало Игорю покоя. Но вспомнить было уже невозможно. Даже сам Потехин, наверное, не вспомнил бы, что он такое сказал вчера Игорю.

— Чем вы сейчас занимаетесь по этому делу?— спросил Игорь.

Красильщиков пожал плечами.

— Да как всегда, отрабатываем связи. К нему же толпой всякие ценители-оценщики ходили, коллекционеры, скупщики-перекупщики, словом, черт-те кто. Это кроме обычных знакомых. А подвод тут был, это ясно.

— И не московским жуликам, а приезжим,— хмуро добавил Игорь.

— Приезжим?— насторожился Красильщиков.— А наган? Он ведь тут ходит, у нас.

— Возможно, когда они тут, и он тут.

— Ох, Игорек, сомнительно мне,— покачал головой Красильщиков.— Чует моя душа, хлебом мы с этой кражей, будь она неладна.

Игорь в ответ только махнул рукой.

— Дай-ка я Потехину позвоню. Охота мне еще разок зайти к нему.

Красильщиков взглянул на часы.

— На работе, небось. Вчера он случайно около двух домой заскочил.

— Попробую все же,— решил Игорь.

Ответил ему бойкий девичий голосок:

— Папы нет дома. Кто его спрашивает?

— Из милиции.

— А-а. Вы что хотите?

— Повидать его хотим.

— Приезжайте, он скоро будет.

Игорь решил воспользоваться приглашением, но на всякий случай уточнил:

— Я с кем говорю?

— Это его дочь. Меня зовут Лена.

— Вы в школе учитесь?

— К вашему сведению, я уже на четвертом курсе учусь, педагогического. Как это вы взрослый голос от детского не отличаете, удивляюсь.

— Извините,— усмехнулся Игорь.— А я капитан Откаленко. Сейчас к вам приеду.

Дом, где жили Потехины, находился совсем недалеко от отделения милиции, в соседнем переулке. Дом был новый, из светлого кирпича, с широкими, красивыми лоджиями. Он свободно стоял в глубине обширного двора, и только верхние этажи были видны над зелеными кронами деревьев.

Игорь поднялся на шестой этаж. Звонок за дверью мелодично и коротко звякнул. Тут же послышался торопливый стук каблучков, и дверь открылась. На пороге стояла длинная худая девица в ладных коричневых брючках и зеленой легкой кофточке навыпуск. Прямые желтые волосы спускались до лопаток, а половину широкого, как бы приплюснутого лица закрывали дымчатые огромные очки.

— Ага! Пришли все-таки,— весело сказала девица.— Ну и темпы у вас. Так сто раз убить могут, пока вы явитесь.

— Вы бы мне сказали, что вас убивают,— ответил улыбуясь Игорь,— я бы, знаете, как летел?

— Воображаю. Проходите уж. Папы пока нет, так что вас займу я, если не возражаете.

Девушка была чуть не на полголовы выше Откаленко и, наверное, вдвое тоньше, так что рядом они выглядели довольно комично. Впрочем, никому из них подобная мысль даже не пришла в голову, настолько интересна была для обоих эта встреча.

Они прошли в большую, залитую солнцем душную комнату, заставленную всякой старинной мебелью. Тут находился и красивый диван, запомнившийся Игорю; рядом, видимо, той же эпохи, старинная горка, застекленный книжный шкаф, буфет, ломберный столик, возле которого на специальных гранитных подставках стояли в ряд вдоль стены несколько отличных мраморных статуй каких-то греческих богинь и героев, над ними висели картины в потемневших золоченых рамах, а в углу громоздился большой, красного дерева рояль. В свободных местах возле стен и окон разместились старинные кресла и пуфики. Было тесно, жарко и пахло пылью.

— К вам, как в девятнадцатый век попадаешь,— оглядываясь, пошутил Игорь, не зная, куда поставить принесенный с собой портфель.

— Это папая устроил себе покой,— насмешливо скривила губы Лена.— Мы с мамой живем по-человечески. Хотите пройти ко мне? Не бойтесь, вы меня не скомпрометируете.

— Пожалуй, не стоит,— ответил Игорь серьезно.— Лучше, знаете, что? Вы мне покажите, где что лежало из того, что украли. Можете? Я вам список сейчас зачитаю.— Игорь достал из кармана пиджака сложенный лист бумаги и, развернув его, приступил к чтению.— Значит, так. Шахматы. Ну, это я помню. На том столике, да?

— Естественно,— жеманно пожала плечами Лена, опускаясь на диван.— Да вы садитесь. Курить будете?

Она достала из кармана брюк изящный кожаный портсигар с желтой металлической застежкой и при-

чудливую зажигалку. Игорь поблагодарил и вынул свои сигареты.

Игорь продолжал спрашивать, поглядывая в список:

— А где лежали крест, веер и карманные часы?

— Кресту этому, между прочим, цены нет,— многозначительно заметила Лена, картинно откинувшись на спинку дивана.— Впрочем, папаня вам точно скажет его последнюю цену.

И тут Игорь вспомнил. Вот какое словечко зацепилось у него в памяти после вчерашнего разговора с Потехиным! Игоря тогда удивило это выражение, которое употребил Потехин,— «последняя цена».

— А что значит «последняя цена»? — поинтересовался Игорь.

— Что же тут непонятного? — снисходительно удивилась Лена, не меняя позы.— Золото, старинные вещи все время дорожают. И папаня очень внимательно за этим следит. Надо же быть в курсе! Вот, смотрите.

Она вскочила с дивана, оставив сигарету в маленькой пепельнице, и танцующей походкой подошла к шифоньеру. Открыв дверцу и выдвинув нижний ящичек, она достала маленькую зеленую шкатулку и на вытянутой руке поднесла ее Игорю.

— Видите? Это прошлый век. Александр второй, кажется. Малахит и золото. Правда, красиво?

— Очень.

— Дивная вещица. А теперь глядите сюда.

Она открыла шкатулку. На дне ее лежал квадратик плотной бумаги, на котором в столбик были написаны годы, начиная с тысяча девятьсот шестидесят девятого, и напротив каждого года стояла сумма в рублях, сначала трехзначная, а потом четырехзначная.

— Видите, как растет ее цена? — с гордостью спросила Лена, словно это была ее личная заслуга. Игорь кивнул.

— Вот то-то же.

— А почему запись начинается с тысяча девятьсот шестидесят девятого?

— Куплена была в том году. Какой вы непонятливый,— кокетливо сказала Лена.

Она аккуратно поставила шкатулку на место и все той же танцующей грациозной походкой направилась к дивану. Непринужденно расположившись на нем, она потянулась к оставленной сигарете.

— И вот так папаня поступает с каждой вещью, включая мебель,— сообщила она.

— Каждый год все оценивает заново?

— Конечно. А как же иначе?

— Но он же не собирает все это продавать?

— Понятное дело, нет. Но знать, чем обладаешь, надо,— убежденно заключила Лена.

— И все это приходится везти на оценку или оценщики приходят к вам?

— Приходят,— раздраженно бросила Лена.— Конца им нет.

— Знакомые?

— За столько лет не то что познакомиться — породниться можно.

— Да, вы невеста завидная,— улыбнулся Откаленко.

— Не очень. У меня жуткий характер. Да и вообще я не собираюсь замуж. Дети, готовка, пеленки — спасибо. У меня такого инстинкта нет. Пусть другие этим наслаждаются. Я считаю, если любить, то в чистом виде.

— Как это понимать?

— А так. Я и он. И все. И больше мне ничего не надо.

— Так, Леночка, не бывает.

— А у меня вот будет. Приходите через пять лет, увидите.

— Договорились. А пока вернемся к этому списку. Где лежали крест, веер и золотые карманные часы фирмы «Павел Буре»?

— С тремя крышками! Они считались особо дорогими даже тогда, при Буре. Все это лежало вот здесь, в горке.

Игорь прочел весь список украденных вещей.

— Кстати, среди оценщиков есть, наверное, и близкие друзья? — спросил Игорь как можно равнодушно.

Лена пожала плечами.

— Есть, наверное. Только я их не знаю. У меня свои близкие друзья, поинтереснее...

— А теперь, Леночка, я проделаю одну операцию. Вы не удивляйтесь только,— сказал Игорь, вставая.— И попрошу вас пересест, ну, хотя бы на этот стул. Пожалуйста.

Девушка послушно поднялась с дивана и самым невинным голосом осведомилась:

— Вы со мной хотите операцию проделать?

— Нет,— сухо ответил Игорь.— С диваном.

Игорь достал из портфеля круглый высокий сверток. В нем оказалась стеклянная банка, разделенная внутри на две части. В нижней части была налита какая-то прозрачная жидкость. Сверху банка была закрыта плотно притертой пробкой. Игорь аккуратно поставил банку на шахматный столик, затем достал из портфеля фонарик на длинной рукоятке и тонкий пинцет.

— Это что же такое? — с любопытством спросила Лена, указывая на банку.

— Эксикатор.

— А зачем он?

— Может быть, и ни за чем. Посмотрим.

Игорь опустился на пол, подлез под диван и зажег фонарик.

Так и есть. Загадочный комок темнел у стены возле задней ножки дивана. Положив зажженный фонарик на пол, Игорь стал медленно, осторожно отодвигать диван, не спуская глаз с темного комочка, который начал чуть заметно шевелиться под дуновением воздуха. И Игорь с удовлетворением отметил про себя, что не ошибся: комочек был пеплом, случайно не разрушившимся, а унесенным потоком теплого воздуха, когда здесь, совсем рядом, сожгли несколько бумаг.

Но это все еще предстояло обдумать. А пока надо было действовать с величайшей осторожностью, раз уж Игорь взял на себя обязанности эксперта, первоначальные, конечно, обязанности, дальше этим комочком пепла будет заниматься специалист.

Игорь взял со столика банку и пинцет и снова нырнул под диван. Там он в узком свете фонарика подполз на локтях поближе к темному комочку, открыл банку и, зажав дыхание, осторожно поддел пинцетом комочек пепла, медленно перенес его в банку, опустив в верхнее отделение, затем плотно закрыл ее пробкой и тогда только с облегчением, жадно вздохнул.

— Вы чего там сопите? — насмешливо полюбопытствовала Лена.

— Ничего. Все в порядке,— ответил Игорь, выползая из-под дивана и отряхиваясь.— Вы уж извините меня за этот цирк.

— А чем вы там занимались? Что это в банке?

— В банке? — Игорь вовсе не собирался посвящать девушку в свой опыт с пеплом.— Это я еще вчера должен был сделать,— сказал он самым равнодушным тоном и даже пренебрежительно махнул на банку рукой.— Видно, кто-то из преступников заполз под диван, скорей всего, за шахматной фигурой.

кой, которая туда закатилась, и собрал одеждой комок пыли. Ее важно исследовать.

— Наука в борьбе с преступностью,— иронически произнесла Лена.

Внезапно на столике у двери зазвонил телефон. Лена поспешно поднялась со стула, взяла трубку.

— Алло?.. Папа? Ну, где же ты? Тебя тут из милиции дожидаются... Ну, это уж ты сам спроси. Мы? Беседем на разные темы. Проводим интересные опыты...— Она прыснула.— Да нет, ничего мы не попортим, не волнуемся. Что я не понимаю?.. О, господи! Мне это надоело! Пока.— Она раздраженно бросила трубку и обернулась к Откаленко.— Мой драгоценный папаша приехать никак не может. Простит извинить. Он вам очень нужен?

— Да нет, не горит,— заверил ее Игорь.— В другой раз повидаемся. Завтра, например. Но я сначала позвоню.— Игорь поднялся.— Все, Леночка. Пойду. Рад был познакомиться.

— Так и быть,— театрально вздохнула Лена.— Отпущу. Была без радости любовь, разлука будет без печали, как написал поэт.

Уже спускаясь в лифте, Игорь удовлетворенно подумал: «А ключик-то от кражи, возможно, у меня в портфеле».

В тот же день Виталий Лосев после окончания оперативки в отделе направился в этот злополучный парк, где накануне так неудачно провел вечер Петр Шухмин со своей девушкой.

Предупрежденный по телефону капитан Филипенко встретил Лосева с нескрываемым удовольствием. Еще бы, ведь сам МУР принимался за дело. И отчетность по их милиционерскому пункту будет выглядеть красиво. Однако, кроме таких чуть корыстных соображений, Филипенко просто был рад встретиться с Лосевым, о котором кое-что уже слышал. При всей коллективности в работе розыска Лосев сумел отличаться в нескольких громких делах, о раскрытии которых потом докладывал на одном из занятий в школе оперативного мастерства, где собирался руководящий состав уголовного розыска со всего города. Вел тогда занятие сам генерал, Филипенко очень хорошо это помнил. И вторым пунктом было сообщение Лосева. Главный упор Лосев тогда делал на психологию допроса. Его начальник отдела, полковник Цветков, сказал, что у Лосева это сильная сторона в расследовании. Ну, а сам Лосев начал свое выступление словами: «Товарищи, преступник тоже человек». По аудитории прошел сдержанный смех. В зале сидели «зубры», которые и без него знали такие прописные истины. Но дальше все было важно и интересно. И проводили Лосева уважительно. Поэтому, узнав, что придет Лосев, Филипенко сразу же вспомнил то занятие.

Увидев стремительно входящего к нему Лосева, Филипенко поспешно вскочил из-за своего стола, словно ему перелилась энергия, излучаемая гостем. На оживленном, уже слегка загорелом лице Лосева светилась такая искренняя доброжелательность и симпатия, что Филипенко сразу поддался его обаянию.

— Привет,— сказал Лосев.— Капитан Филипенко? Ну, мы вроде почти однолетки с тобой. И в звании недалеко ты от меня ушел. Так что можем по имени, если не возражаешь. Тебя как зовут?

— Василий. А тебя Виталий?

— Точно. Ну, для начала расскажи про убийство. Что там известно?

Все еще продолжая дружески улыбаться, Филипенко повернулся в своем кресле к стоящему рядом сейфу, приоткрыл тяжелую дверцу с торчащей

в ней связкой ключей, достал тоненькую зеленую папку и торопливо проглядел бумаги.

— Значит, так,— словно в чем-то убедившись, начал он, откидываясь на спинку кресла, и лицо его при этом сразу стало сосредоточенным.— Человека нашли в кустах, случайно дружинники нашли, это ты знаешь.

— Знаю. И никаких зацепок?

— Тогда ночью действительно никаких не нашли.

— А потом?

— А потом, уже утром...— Филипенко усмехнулся.— Я сюда примчался, веришь, чуть не в шесть утра. Утром здесь никого, обстановка с ночи не нарушена— трава, кусты кругом, дорожки. Место, где его нашли, я еще раз повнимательней осмотрел. На коленях все излазил, носом пропахал— ничего. Ни нитки, ни пылинки. А вот с стороне— она и откатиться могла— нашел бутылку из-под водки.

— Сколько она, интересно, пролежала там, бутылка эта?

— То-то и оно. Вроде совсем свежая. Ну, я ее, как положено, упаковал и в НТО отправил. Может, там какие «пальчики» обнаружатся.

— Ну, что ж. Уже хорошо,— задумчиво произнес Лосев.— А личность убитого, значит, не установлена и никаких документов при нем?

— Ничего. Ни бумажки. И опознавать пока некому. Пьян ведь был. А о пьяницах родные начинают тревожиться, как правило, на вторые, а то и на третьи сутки.

— Каков характер ранений?

— Два удара ножом. Один смертельный.

— Значит, все-таки драка была, думаешь?

— Скорей всего.

— Та-ак...— неопределенно протянул Виталий.—

Ладно. Пока пойдем дальше. Что там еще за драка была?

— Обычная драка. Пьянь подзаборная. Правда, у одного вроде нож был. Но в ход пустить не успел.

— Допрашивал?

— Нет еще. Вчера не разговор был. А сегодня только собрался, позвонили, что ты приедешь. Ну, решил подождать. Злее будет.

— Злость в нашем деле не помощник. А личность их установили?

— Да их обоих каждая собака тут знает.

— Ну и кто такие?

— Один Гошка, кличка Горшок. На аттракционах в парке работает. На набережной, видел?

— Вроде видел.

— Ну, вот. А второй Володя-Дачник.— Этот— рабочий в парке. По уборке. Пьет мертвую. Давно гнать его пора. Сам уже предлагает.

— Сам?

— Ну, да. «Пойду,— говорит,— где меня еще не знают. Подержат месяца три, пока пьянство мое им тоже поперек не станет. Тогда дальше двину».

— А сказал хоть, из-за чего подрались?

— Да так, говорит, из желания. Вообще похоже.

— Вполне,— согласился Лосев.— Ну, а с тем, который на Шухмина кинулся, ты больше не говори?

— Нет. Вчера дерзко себя вел, все наврал— и где живет и где работает. Ну, и пьян был тоже... Позже, между прочим, вот это заявление поступило, от свидетеля, через час, наверное.— Филипенко придал Лосеву через стол исписанный лист.

Виталий прочел заявление и прихлопнул ладонью по столу, незаметно для себя повторяя привычку своего начальника отдела Цветкова.

— Ладно,— сказал он.— Давай займись теми двумя. Место жительства уточни только, если выгонять будешь. Вдруг понадобятся. А мне этого голубчика давай. Витька, значит?

— Витька. Фамилия Коротков. Видимо, тоже с этих аттракционов, на набережной.

— Ну, там, я гляжу, «передовой» коллектив собрался. А где мы с этим Витькой обобщаемся?

— Тут оставайся,— решил Филипенко.— А я себе место найду.

Филипенко ушел, а Виталий перебрался за его стол и, посвистывая, стал разглядывать корешки книг на полочке возле сейфа.

Через минуту в кабинет доставили Витьку. Видно было, что провел он беспокойную ночь и кое-что обдумал. О вчерашнем его состоянии напоминали только темные круги под глазами, нервное подергивание то века, то уголка рта и какой-то скачущий, неустойчивый взгляд. Но вся его тощая, чуть сутулая фигура была налита пружинящей силой, и под серой курткой угадывались литые мышцы. Лосев наметанным глазом сразу ухватил это и подумал, что парень, видимо, много занимался спортом, причем еще сравнительно недавно. Сейчас, правда, вял и разбит. Интересно, каким видом спорта он занимался и чего успел достигнуть, пока не покатишься вниз?

Виталий всегда уважал людей, которые чего-то в жизни добились. Ему показалось, что в свое время достиг чего-то и этот парень.

— Эх, Витя,— вздохнул Лосев, критически оглядывая парня.— А ведь мне кажется, ты классным спортсменом был. Не пойму только, каким ты видом занимался.

— Ты не угадаешь, а я забыл,— хмуро отрезал Виктор.

— И не сосет, не тянет?

В тоне Лосева были искреннее сочувствие и живой, непритворный интерес, словно он расспрашивал о болезни, которой может вот-вот и сам заболеть.

— Представь себе, и не сосет и не тянет,— угрюмо бросил парень.— Вот насчет опохмелиться— тянет, это да. Все жду, когда ты меня отпустишь.

— Не жди, Вить,— снова вздохнул Виталий.— Не отпущу я тебя.

— Это как?!— Парень даже подскочил на стуле.

— Вчера сгоряча могли и отпустить, конечно. Но вел ты себя, говорят, плохо. И этой ошибки совершить им не дал,— усмехнулся Лосев.

— Ну, а сейчас-то чего?

— А сейчас, Виктор, ошибки быть не может. Нападение с ножом на работника милиции. Слишком ты опасен, чтобы тебя отпускать.

— Не мой нож,— слабо возразил Витька.

— Твой. Два свидетеля есть. Девушка и еще один гражданин. Он сам потом в милицию пришел. Да ты его видел. Так что тебе и на свидетелей повезло. Все одно к одному.

— Не видел я никого.

— Видел. И он все видел. А в заявлении написал, что испугался тебя, потому и пришел. Это, пишет, потенциальный убийца. Вот кем ты ему в тот момент казался.

Виктор, отвернувшись, молчал. Для него, очевидно, был полнейшей неожиданностью такой поворот в его деле. Но он поборол слабость, даже заставил себя презрительно усмехнуться, это, правда, стоило ему немалых усилий.

— Плевал я на вашего свидетеля.

— Плевать, Витя, не надо,— покачал головой Лосев.— Надо все трезво взвесить и найти верную линию поведения, чтобы спасти то, что еще можно спасти.

— Заревать и во всем признаться?— иронически спросил Виктор.

— Заревать у тебя все равно не получится, а признаваться уже не в чем. И так все ясно. И ни на кого не свалишь. Никто тебя не подучил, не подпоил. Нет главаря, нет подстрекателя. Даже тот парень в красной рубашке... как его зовут, ты сказал?

— Я тебе еще ничего не сказал.

— Да нет, вчера.

— Забыл.

— Ну, неважно. Потому что и он тут ни при чем. В крайнем случае может пройти как второстепенный соучастник. Или свидетель.

— Он что же, по-твоему, против меня свидетелем пойдет?

— А какой вообще за тебя свидетель может быть? Что он скажет? Будто ты нечаянно ножом махнул? Или что человек ты вообще-то хороший, а в тот вечер только оступился? Эх, Витя, было же время, когда ты, допустим, гонял мяч и ни о чем плохом и в самом деле не думал.

— Мяч гонял,— со вздохом согласился вдруг Виктор.— Во второй лиге.

— Ого! А где стоял?

— В средней линии... Работал я с обеих ног, и, куда развернусь, никто угадать не мог.

— К такому всегда трудно приспособиться.

— Вот-вот. Тонкий розыгрыш я любил,— с тоской продолжал Витька, глядя мимо Виталия, куда-то за его спину.— Длинный пас, неожиданный, только вперед, на атаку. Для этого форварды, знаешь, какие нужны? Ох, компания у нас тогда была! Сейчас половина уже в первой лиге играет. Пригласили.

— Как же ты из такой компании ушел?

— Да так... обиделся сначала, дурак. На игру меня не поставили. А я ночи не спал, ее ждал. Мне бы стерпеть. Ну, а тут еще нехорошее дело открылось: переманили у нас двоих, вот они напоследок ту игру своим будущим коллегам и сдали по существу. Я как узнал, психанул, конечно. Напилился, помню, в первый раз до потери сознания...

— А потом увидел, что и без тебя обошлись и без тех двух.

— Ясное дело, обошлись.

— Эх, без всех нас обойтись можно, мы только обойтись не можем. Помнишь, как с «Арагатом» было? «Незаменимых» выкинули, когда те зазнались, сами переболели года два, и какая команда стала отличная.

— «Арагат» — да,— живо согласился Виктор.— Он еще чемпионом будет, увидишь.

Оба они незаметно увлеклись. Вообще-то Лосев пошел на это сознательно, но азарт собеседника захватил и его самого. Даже не предметом разговора, хотя футбол Лосев и в самом деле искренне любил еще с армии, где играл в команде своей части. Нет, завязавшийся сейчас разговор заинтересовал его своей психологической и нравственной подоплекой. Сейчас этот парень невольно раскрывался перед Лосевым, очевидно, лучшей своей стороной, лучшими качествами, которые в нем пока сохранились.

— И совсем молодые еще,— завистливо вздохнул Виктор, имея в виду команду армянских футболистов.— Но перспективные, это точно. А двое-трое, я тебе скажу, там уже классные игроки, хоть сейчас можно в сборную ставить.

— А тебе самому-то сколько?

— Мне? Двадцать. Да что я...

— Что ты?— с какой-то невольной тоскливой злостью переспросил Лосев.— Да как ты мог, скажи мне, ни с того ни с сего вдруг на человека с ножом броситься?

— Ну, как, как... Выпивши был.

— Врешь. Я сколько хочешь выпью, а все равно не брошусь.

— А если прикажут? — сощурился Виктор. — Ипи купят?

— Как тебя, скажем?

— Да это я так, к примеру.

— Пример-то у тебя дурацкий. Лучше объясни, зачем ты на человека бросился, неужели просто чтобы кровь пустить?

— Ну, мало ли... — Виктор беспокойно заерзал на стуле. — А чего он ходит, где не надо? Вот мы ему и сказали, чтобы сматывал.

— Ты, что ли, сказал?

— Ну, Горшок. Какая разница?

— А что именно он сказал?

Лосев, конечно, сразу уловил кличку, которая сорвалась у Виктора.

— Чтоб в парке того больше не было.

— А почему?

— Ну, почему, почему... Потому.

Витка явно не знал, что ответить. Но Лосев чувствовал, что причина существовала, серьезная причина, почему парни потребовали от Шухмина, чтобы он ушел из парка и больше там не показывался.

— Ты, Виктор, пойми, — посоветовал Лосев. — Просто так ты его хотел прогнать или не просто так, сейчас значения уже не имеет. Сейчас тебе надо думать о другом, о себе думать, сбрасывать годы.

— Это как же?

— А так. Допустим, статья предусматривает санкцию от двух до пяти лет. За одно и то же преступление. Меньше нельзя и больше нельзя. Но чтобы суд мог, если само преступление доказано, учесть личность подсудимого, его поведение на следствии, мотивы преступления, то есть что толкнуло, понял?

— Понял, не глиняный.

— Вот поэтому я тебе и говорю, что надо годы сбрасывать. Два года это лучше пяти, такая арифметика тебе, надеюсь, понятна?

— Еще бы...

— Так вот, чтобы получить, допустим, два или три года, а не пять, надо как минимум себя правильно вести на следствии, помочь ему, а не мешать.

— А как максимум?

— Как максимум, Витя, надо искренне раскаться не только в том, что совершил, но и во всей своей несправедливой жизни, твердо раскаться и твердо решить ее менять. Но этого, честно говоря, я от тебя пока не жду. Это сразу не приходит. Сейчас ты помоги мне, исходя хотя бы из своих собственных интересов. Понял, что говорю?

— Понял, — хмуро ответил Виктор. — Ну, а какая статья мне светит?

— Видишь ли, можно тут применить двести шестую, часть вторая. Это — злостное хулиганство, особо дерзкое: был нож, да и групповое оно.

— Какое групповое? Я же один.

— Двое вас было, свидетели видели. И если один убежал, это ничего не меняет. Тем более он-то первый и пристал. Так что роли разные, но драка общая.

— Та-ак, — упавшим голосом протянул Витка. — И сколько же отламывается по этой статье?

— Как раз до пяти лет.

Витка даже присвистнул.

— Годов не жалуют.

— Что верно, то верно, — согласился Лосев. — И с этим фактом надо считаться. Но могут квалифицировать твои действия и по другой статье. Допустим, сто девяносто первой-два. Это уже посягательство

на жизнь работника милиции. Тут наказание предусмотрено от пяти до пятнадцати лет.

— Ну да! — с тревогой воскликнул Виктор.

Виталий помедлил, соображая.

— Но, с другой стороны, вы же не знали, что Шухмин — работник милиции, он был не в форме, да еще с девушкой.

— Ну, ясное дело! Откуда нам было знать?

— Вот и я так думаю. Цели ограбления у вас тоже не было. Так?

— Так, — с готовностью подхватил Витка.

— Цель была дурацкая, как я погляжу: чтобы Шухмин больше не ходил с девушкой в парк. Почему-то от других посетителей вы этого не требовали. Только к Шухмину прицепились. Может, и в самом деле работника милиции в нем узнали?

— Да нет же! Точно тебе говорю.

— Но тогда почему именно к нему? Учти, это и на суде у тебя спросят.

— Ну, почему... Пьяные были.

— Пьяные целый час ни за кем ходить не будут. Что-нибудь другое придумай, чтобы поверили. А лучше всего правду скажи. Вы за ними целый час шли, так?

— А я помню?

— Где вы их встретили?

— Не помню уже.

— А ты постарайся.

— Говорю, не помню, и все, — заупрямился Витка.

Лосев помолчал. Странно, однако. В этом пункте парень ведет себя особенно упрямо. Место встречи с Шухминым и, следовательно, начало слежки он указывать явно не желает. Может быть, здесь скрыта и причина слежки? Допустим, Шухмин в том месте увидел что-то неприятное для них, опасное, и они решили посмотреть, куда он после этого пойдет, не в милицию ли? Но то же самое видели и десятки других людей вокруг. Почему эти парни выбрали именно Шухмина? Он иначе повел себя, чем другие? Шухмин про это ничего не сказал. Значит, он сам этого не заметил. А если Шухмин со своей девушкой забрел куда-нибудь, где больше никого не было, и там Петр что-то заметил? Может, парни там ограбили кого-то или что-то украли? Нет, в таких случаях убегают, а не следят за свидетелями. Да и не заметил Петр ничего подозрительного, иначе бы сказал. Странно. Все очень странно.

Лосев вздохнул.

— Ну, гляди, Витя. Ты сейчас не все говоришь. Я же вижу. И ничем помочь мне пока не хочешь. Подумай. Я ведь тебе все обрисовал, что тебя ждет. И помни, два пункта в твоём поведении на следствии суду, ой, как не понравятся. Первое, это то, что ты следствию ничем не захотел помочь, а второе, главное, — что ты следствие обманывал, говорил неправду.

— Не обманываю я, — угрюмо возразил Виктор, глядя в сторону.

— Обманываешь. Причем глупо обманываешь, наивно. И все это увидят. Ведь к Шухмину вы прицепились не случайно, Витя, не спяну.

— Ну, а пусть не торчит, где не надо! Вылупил, понимаешь, зенки свои... — Он вдруг умолк, словно натолкнулся на что-то, и нервно пробормотал, продолжая мять в руках свою старенькую кепку: — Да чего там говорить...

— Вот сейчас как раз и говорить, — спокойно заметил Лосев, подчеркнуто равнодушно заметил, как бы давая понять, что говорить сейчас — это прежде всего в интересах самого Витки. — Впрочем, если

хочешь, подожди. Тебя еще следователь официально допрашивать будет. Вот ему и скажешь, где именно торчал Шухмин, где он zenки свои вылупил и почему вы после этого за ним пошли.

— Да это я так...

— Нет, Витя, не так. Это у тебя вырвалось, случайно вырвалось, не сдержался. Только я тебя на этой случайности ловить не буду. Захочешь, сам следователю расскажешь.

— Сдохну сначала!

— Нет,— все так же спокойно покачал головой Лосев.— Это только кажется.— И, помедлив, спросил: — Ну, а дома у тебя кто, одна мать?

— Еще сестренка. Шесть лет ей.

— А отец где?

— Пять лет как убежал без оглядки. След давно простыл. От матери не один он сбежал уже. Кто хочешь сбежит.

— Ты что, неужели мать не любишь?

— А за что мне ее любить? Она нас не замечает, мы ее. И в расчете.

Лосев отметил про себя это «мы».

— Кого же она замечает?

— Мужиков. А те ее. Красивая больно.

— Сколько же ей лет?

— Тридцать девять или сорок. Ну, а дают тридцать. Раньше, как мужик какой приходил, меня за брата выдавала. Потеха.

— А теперь?

— Теперь ухажу. А Лялька ей не помеха. Сейчас и вовсе легче будет. Что сын в тюрьме, говорить не обязательно... Лялька вот совсем пропадет, это уже точно.

— А у тебя подружка есть?

— В гробу я их видел, подружек этих.

— Что ж у тебя, Витя, в таком разе осталось? Вода одна?

— Ну и пусть. Зато она не обманет, не продаст.

— Продаст. Да если хочешь знать, уже продала. Сам же говоришь, пьяный был, оттого и на человека с ножом бросился. Или, может, зря ты на нее грешишь, на водку, а?— Не дождавшись ответа, Виталий продолжал:— Ну, и еще ты, конечно, считаешь, что друзья-товарищи у тебя верные есть. Думаешь, если вместе водку пьете, то уже друзья? Вон как твой дружок деру дал, видел?

— Ну, чего привязался? Не друг он мне вовсе.

Виктор сидел нахохлившись, положив ногу на ногу и нацепив на острую коленку свою мятую кепку. Глаза его мрачно уперлись в пол, и щеки, казалось, еще больше запали, под кожей проступили стиснутые челюсти.

— Ладно, Витя,— вздохнул Лосев.— Кончим пока на этом. Теперь у тебя есть над чем подумать. Может, и в самом деле ты следователю потом больше скажешь.

— Я и того ему не скажу.

— А вдруг надумаешь?

— А надумаю, так тебя велю позвать.

Виталий улыбнулся.

— Ишь, командир. Ну, давай. Думай и зови. Приду. Договорились?

— Видно будет,— умерил его веселость Витька.

Когда парня увели, Виталий остался сидеть за столом. Ему вдруг пришел в голову интересный план. Рискованный, правда, но зато, если он удастся, Виталий одним ударом пробьется к разгадке странного ребуса, который загадали ему тут эти парни.

Глава III ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕКИЙ БОРОДА

На следующее утро Игорь Откаленко прежде всего отправился в научно-технический отдел, к эксперту Наталье Федоровне Земной, давней своей приятельнице.

Худенькая, подвижная, с лучистыми глазами на утомленном лице и большими рабочими руками Наталья Федоровна была всеобщей любимицей. Но сама она выделяла работников розыска, все их просьбы старалась выполнить вне очереди, каждый раз с опаской спрашивая перед очередной экспертизой: «А не убежит, пока я тут возиться буду?» За какой-нибудь сложной экспертизой она могла просидеть до ночи.

Игорь заглянул в лабораторию и сразу увидел маленькую фигурку в белом халате возле дальнего окна.

Почему-то вздохнув, Игорь направился к ней, оглябая длинные белые столы со стоящими на них приборами. Никого из сотрудников в лаборатории в этот момент не было, и тишина здесь стояла удивительная.

Наталья Федоровна услышала шаги и оглянулась. Узнав Игоря, она закивала ему и слабо, как-то виновато улыбнулась.

— Готово, готово,— сказала она, отходя от окна и обеими руками поправляя пышные темные волосы, собранные на затылке.

Наталья Федоровна достала из ящика заключение экспертизы. К листу была приклеена фотография — морщинистый, белесый листок и темные, малоразборчивые буквы на нем, три неровных, коротких строчки.

— Хочешь своими глазами посмотреть? — спросила Наталья Федоровна.

Она осторожно достала из стоявшей на соседнем столе небольшой муфельной печи два сложенных стеклышка и показала Откаленко.

— Видишь?

В эксикаторе комок пепла увлажнился, и его удалось на стекле расправить и другим прижать. В печи, при огромной температуре пепел побелел, а текст выступил: в чернилах или шариковой краске содержится металл, он не сгорает.

Откаленко молча и жадно всматривался в проступивший под стеклышком текст. Чудо, что ни говори. Ведь из комка пепла, из дотла сгоревшей бумаги возник вдруг текст, и вот, пожалуйста, можно прочесть, узнать что-то, заглянуть туда, куда тебя ни за что не хотели пустить. А если тут секрет, который вовсе не касается следствия? Что ж, тогда это здесь и умрет, таков закон их профессии, юридический и нравственный закон.

Но все-таки что же тут написано и кем, интересно знать? Игорь вгляделся в темные корявые буквы, но прочесть не смог. Тогда перевел взгляд на протокол экспертизы, который держал в другой руке. Вот эксперт приводит сохранившийся в записке текст: «...уюсь... долю Бориса за... в мае полн... Поте...» А дальше в протоколе следовал предполагаемый полный текст с логически заполненными пропусками: «Обязуюсь вернуть долю Бориса за (такой-то месяц) в мае полностью. Потехин».

— Интересно,— медленно произнес Откаленко, потирая подбородок.— Хозяин квартиры писал. Расписка это, обязательство.

— Безусловно, — кивнула Наталья Федоровна. — Пригодится?

— Возможно. Когда-нибудь. Но к краже отношения, видимо, не имеет. А вот записочка, которую я вам передал, точно имеет.

— С записочкой прощай, — сказала Наталья Федоровна. — Вернее, со штампом на обороте. Прочность его труда не составило.

— Вам... — улыбнулся Игорь.

— Ну, само собой, — согласилась Наталья Федоровна и достала из ящика стола еще один лист. — Вот заключение. Блокнот изготовлен цехом ширпотреба типографии в городе Орджоникидзе. Я сразу же и справку навела, чтобы быстрее было. У вас же всегда пожар. Так вот, вся продукция цеха реализуется в пределах Северного Кавказа.

— О! — поднял палец Игорь. — То, что требуется. Спасибо вам огромное.

Откаленко забрал протоколы обеих экспертиз и направился к себе.

Шагая длинными коридорами, он думал о том, какая важная ниточка попала ему в руки вместе с той запиской. Потом он вспомнил о бородатом бледном Потехине, который обещал какому-то Борису вернуть его долю полностью в мае. Что это за доля, интересно знать, ежемесячная, видно, доля?

Потехин, вероятно, отнюдь не наследовал свою коллекцию от отца или, во всяком случае, активно продолжал ее пополнять, скупая вещи большой ценности. Откуда же у скромного инженера могли взяться такие деньги? Возможно, конечно, что он одни вещи продавал, другие покупал. Недаром так внимательно следил за ростом цен. А может быть, и спекулирует чем-то. Сожженная записка подтверждала, что у Потехина велись секретные расчеты.

Однако все эти открытия, характеризующие самого Потехина, несколько пока что не помогали раскрытию совершенной у него кражи.

Да, Потехин не созерцатель прекрасного, не восторженный воздыхатель, это прежде всегоделец и доставала. Игорь был убежден в этом. А раз так, то на все он не пойдет, в лепешку расшибаться не станет, чтобы помочь следствию. Наоборот, кое-что будет заинтересован от следствия скрыть, кое-какие связи, кое-какие источники. Сам он, конечно, кого хочешь задушит и утопит, чтобы вернуть свое добро. Мое — значит, мое, и убью, если тронешь. Но третий тут не суйся. Ах, как важно было удостовериться, прав ли Игорь в своих рассуждениях, таков ли Потехин, каким он себе его сейчас представил.

Вот и вырисовалась конкретная цель предстоящей беседы с Потехиным. Его следует заставить раскрыться, а для этого запутать, дезориентировать. В противоположность Лосеву Игорь вовсе не был склонен заранее настраиваться на благожелательный лад и представлять человека хорошим, пока тот сам не убедит его в этом. Эта лосевская манера вызывала у Игоря только иронию. Игорь смотрел на людей куда более критически и ко всяким сентиментальностям склонен не был. Пусть люди еще докажут, что они лучше, чем он о них думает. Вот и Потехин тоже.

Игорь посмотрел на часы. Что ж, у него еще немало времени, пока явится уважаемый Илья Васильевич...

Ровно в условленный час в кабинет Откаленко постучали, и на пороге возник Потехин. В темном добротном костюме, белой сорочке с полосатым галстуком спокойных тонов, он белозубо улыбался сквозь густую черную бородку, и светлые глаза прямо-таки источали приязнь и симпатию. В руке у

Потехина был красивый портфель. Словом, производил он самое солидное и приятное впечатление.

— Разрешите? — спросил Потехин и шутя добавил: — К вам не просто попасть, но еще труднее, наверное, от вас выбраться.

— Что вы, — беспечно отмахнулся Игорь. — Обычно не знаешь, как скорее расстаться. Прошу, прошу. К вам это не относится, как вы понимаете.

— Будем надеяться, — засмеялся Потехин, усаживаясь возле стола и ставя у ног свой объемистый портфель.

— Так вот какое положение на сегодняшний день, Илья Васильевич. Можно считать установленным, что кража у вас произошла не случайно. Ваш адрес был вручен грабителям, именно вручен, не сами они его узнали. Остается доискаться, кто именно его вручил.

— Дело, словом, за пустяком, — усмехнулся Потехин.

Игорю усмешка не понравилась. «Ты у меня еще посмеешься», — мысленно пообещал он этому самоуверенному человеку.

— Вот этим пустяком, — сдержанно сказал Игорь, — мы сейчас и займемся, если не возражаете.

— Не возражаю, — кивнул Потехин, и лицо его стало серьезным. — С какого только конца начинать, не представляю.

— Я вам сейчас помогу.

Игорь достал длинный список лиц, которых называл Потехин как своих знакомых, интересующихся его коллекцией.

— Хотя в этом списке чуть не сорок человек, — сказал Игорь, — он страдает одним существенным недостатком. Здесь нет людей, или почти нет, которые могли бы передать ваш адрес грабителям. Вы понимаете, это должны быть все-таки особые люди.

— Да. Но... как бы это сказать... — замялся Потехин. — В душу ведь не заглянешь.

— Ну, зачем же так глубоко? Достаточно знать помыслы и поступки. В этом списке люди одного плана: добропорядочные коллекционеры, музейные работники, специалисты всякие. Но вам, наверное, придется иметь дело и с другими людьми. Вы покупаете, продаете, ищете то, что вас интересует. А здесь уже действуют всякие... Ну, ловкачи, доставалы, спекулянты. Так ведь?

«Сейчас этот прохвост изобразит благородное негодование», — брезгливо подумал Игорь.

— Конечно, — неожиданно и просто согласился Потехин. — А как же без ловкачей? Что поделаешь. Приходится, честно вам скажу, приплачивать, услуги всякие оказывать, мелкие взятки давать. — Он широко и доверительно улыбнулся. — Неудобно, конечно, в здешних стенах это говорить, вы уж извините. Но так жизнь устроена, сами знаете.

— Иначе коллекции не соберешь, так, что ли?

— Именно так. Да что коллекции, дела серьезно не сдвинешь, особенно в хозяйственной области, если инструкцию или правило какое не нарушишь. Мы же этими инструкциями со всех сторон обставлены, и их с каждым днем все больше. Все-то они или запрещают, или усложняют, или удорожают каждый шаг. Вот и крутись. А уж хорошую антикварную вещь достать... Ну, что вы.

«Смелый, однако, мужик», — без всякой симпатии, лишь озабоченно отметил про себя Откаленко. — И не дурак, надо сказать».

— Вот так и не знаешь, — наставительно произнес Игорь, — с какой стороны эти самые доставалы да всякие нарушения по тебе самому стукнут. Эк они вас огрели.

— Не говорите,— вздохнул Потехин.— Мне беда и вам хлопоты.

— Вот и давайте вместе потрудимся. Этот список,— Игорь приподнял его со стола и даже слегка помахал им в воздухе,— представляется мне неполным. Вот, например, я в этом списке Вадима Александровича не вижу.

— Да вы что?— вскинул бороду Потехин.— Это же начальник мой.

— Значит, вы сами предварительный отбор делали, когда список этот составляли? Очень напрасно. Вадима Александровича я подозревать не собираюсь, но вот принцип ваш порочен, вы меня понимаете? Или, например, те, с кем вы денежные дела имеете, тех считать надо? Скажем, Борис. Почему его нет в списке?

И тут Откаленко вдруг подумал, не совершает ли он промах. Надо было сперва хоть что-то узнать про этого Бориса, среди сослуживцев Потехина его поискать. Тогда, возможно, стали бы известны фамилия, должность, даже характеристика. Впрочем, не один Борис на свете, вдруг это вообще не сослуживец? Тогда и вовсе уйдешь в сторону. Нет, пусть уж будет как есть.

Потехин же испытующе посмотрел на Игоря светлыми, бледно-желтыми глазами. Неприятный это был взгляд, колющий, недобрый. «Порезаться можно об такой взгляд»,— подумал Игорь. Видно, не уследил за собой Потехин.

— Простите, вы какого Бориса имеете в виду?— вежливо поинтересовался он.

— Сами решайте,— ответил Игорь.— Я же не уличать вас собираюсь, а только помочь. Есть у вас такой знакомый или нет? Если есть, то его, не исключено, следует тоже проверить.

— Загадками говорите,— пожал плечами Потехин.— Борис какой-то...

— Вы хотите сказать, что ни одного знакомого Бориса у вас нет?— уточнил Игорь.— Это — другое дело.

— Нет, почему же... Наверное, есть. Я, признаться, так сразу не припомню.

— Вот я вам и предлагаю припомнить.

— Чтобы внести в список подозрительных?

— Не будем считать их подозрительными,— терпеливо возразил Игорь.— Просто все подлежит проверке. Все, понимаете? Но учтите, я вовсе не настаиваю, не требую. Я советую. Исходя из своего опыта в этой области. В конце концов вы не меньше нас, мне кажется, должны быть заинтересованы в раскрытии преступления. А то и больше. Какие ценности унесли, шутка сказать. И какая старина. — Да,— горестно качнул головой Потехин.— Отец еще собирать начал.

— Ну, тем более. Поэтому я и спрашиваю: есть у вас какие-нибудь дополнения к списку, есть какие-нибудь подозрения?

Потехин задумчиво и привычно схватил рукой бороду, слегка потянул ее, словно проверяя, крепко ли она держится, потом сказал твердо:

— Разрешите еще разок подумать.

— Подумайте. А мы пока этих всех проверим. Ну, и кое-что, конечно, предпримем. Надо искать, никуда не денешься.

— Да уж будьте добры,— с прежней открытостью улыбнулся Потехин.— Я, признаться, как-то в вас поверил.

— Весьма польщен,— сухо ответил Игорь, насколько не собираясь демонстрировать даже минимум доброжелательства.— Но и вашего звонка я жду.

— Насчет этого самого Бориса?

— Не только. Вообще насчет этого круга людей.

— Да, да. Постараюсь припомнить.

— Прекрасно. Разрешите ваш пропуск.

Откаленко отметил пропуск, и Потехин, простившись, вышел.

С облегчением закулив, Игорь откинулся на спинку кресла.

Вроде бы разговор ничего конкретного не дал, к делу не добавилось ни единого факта, ни единой, самой малой зацепки или хотя бы намек на нее. Вот только... Ну, подумаешь, с человеком познакомился, с не очень-то и хорошим человеком к тому же. А все-таки познакомился, узнал, увидел. Полезно это, весьма, кажется, полезно, вот что вдруг с удовлетворением ощутил Игорь.

Но все-таки как дальше вести расследование? Кажется, Потехина встревожило упоминание о некоем Борисе. А ведь именно такой вот Борис, явно какой-то темный делец, махинатор и тоже, возможно, собиратель вроде Потехина, и способен выдать его адресок кое-кому не без пользы для себя. Словом, это реальный путь для поиска. Но Потехин пока думает. И хочется ему этого Бориса проверить, наверняка хочется, но и колется.

Второй путь к грабителям — наган. Но пока и этот путь ничего не дает. «Ходит» наган, где-то «ходит» и постреливает нет-нет, вот что главное. Иначе откуда бы взялась гильза?

А они ее потеряли. Выстрела в квартире Потехина не было. Кто-то им помешал? Но в таких случаях вообще не стреляют. Это же были не случайные хулиганы. Это были квалифицированные квартирные воры, достаточно было посмотреть, как они ювелирно отомкнули все три замка на входной двери. Такие специалисты, между прочим, не только ни в кого не выстрелят, они и в карман-то оружие никогда не положат.

Странное дело. Чем больше думал над ним Откаленко, тем больше ему казалось, что в шайку эту входили какие-то разные люди. Один привычно и ловко открывал любые замки, у другого — безусловно, у другого! — в кармане находилась гильза и к нагану имел отношение только он; а вот третий написал ту наглую записку, именно третий, первым двум это в голову прийти не могло. Да, действовала шайка, скорей всего из трех человек.

В который уж раз мысленно перебирая все добытые материалы, Игорь снова мог убедиться, что пути к раскрытию преступления найти еще не удалось.

Группа Откаленко сейчас разделилась. Сам он вместе с Шухминым работал по краже из квартиры Потехина, подключив, конечно, местное отделение милиции и районное управление. Бригаду создали солидную, во главе с Откаленко: преступление было на редкость крупным и дерзким. Ну, а Лосев и Денисов занимались происшествиями в парке, которые так беспокоили руководство.

Шухмин с группой сотрудников сейчас как раз проверял людей, на которых указал Потехин, и с каждым проверенным человеком из длинного списка все больше таяла надежда найти того, кто дал «подвод» на квартиру Потехина и погрел на этом руки, и росло убеждение в неполноте, односторонности самого списка.

Словом, картина была безрадостной, и настроение сотрудников, работавших вместе с Откаленко, да и самого Игоря вполне ей соответствовало, когда полковник Цветков вызвал их всех к себе.

— Ну, милые мои, давайте-ка вместе еще разок помнем этот вопрос,— предложил он, по привычке вертя сложенные очки.— А то что-то вы забуксовали, я гляжу.

— Это точно, — вздохнул Шухмин.

— Ну, вот. Давай, Откаленко, доложи, что имеет-ся на сегодня, — продолжал Цветков. — Будем танцевать от печки, то есть от места происшествия. Ты тут первый специалист у нас, вот и доложи, что там обнаружили, когда приехали и потом.

Откаленко мрачно откашлялся, затем обстоятельно, даже педантично, без всяких отступлений, эмоций и фантазий четко обрисовал обстановку на месте происшествия. Ко всем известным уже обстоятельствам он добавил, что чужих отпечатков пальцев нигде найдено не было, но в нескольких местах обнаружили отпечатки одних и тех же нитяных перчаток.

— Вывод из этого факта какой? — вопросительно поглядел на Откаленко не проронивший до того ни одного слова Цветков.

— Можно предположить, — ответил Игорь, — что в перчатках работали. У хозяев таких перчаток нет. Следы четкие. Человек этот, думаю, очень волновался — руки сильно потели. Или новичок, или легко возбудимый человек.

— Какие у вас версии?

— Одна из версий, что они приезжие, — сказал Откаленко. — А если так, то их в Москве сейчас уже нет.

— Уехали? — переспросил Цветков.

— Уехали, — подтвердил Откаленко. — Скорее даже улетели.

— Между прочим, если улетели, — вмешался Петр Шухмин, — то должны были при покупке билетов предъявить паспорта.

— Вот бы нам заглянуть в них, — мечтательно произнес кто-то.

— А для этого, милые мои, надо кое-что сообразить, — снова вступил в разговор Цветков. — Значит, что мы имеем? Первое. Группа не меньше как из трех человек, улетает сразу. Второе. Летят они, конечно же, домой. Скорей всего домой. А дом... где-то на Северном Кавказе. Туда записка-то указывает. Вернее, блокнот. Как полагаете?

— Все точно, Федор Кузьмич, — согласился Шухмин. — А улететь они должны были в тот же день или на следующий, не позже.

— Для верности надо все кавказские линии проверить, — добавил Откаленко. — Это рейсы Москва — Тбилиси, Баку, Минеральные Воды, Ереван, Сочи. Все, кажется. В среднем это по пять-шесть рейсов в день.

— Еще Батуми один рейс, Геленджик один рейс, — добавил кто-то.

— Ну, там по мелочи еще наберется, — согласился Откаленко. — Это легко уточнить.

Все оживились. Буквально на глазах, вроде бы на пустом месте рождался интересный план нового поиска, новая, неожиданная версия, требующая немедленной проверки и вселяющая немалые надежды. А когда такая версия создается совместными усилиями, тут же вбирая мысли, догадки, предложения каждого, тогда такая версия необычайно воодушевляет, и порой крах ее — а кто и когда от этого гарантирован? — воспринимается как крушение всех возможностей, провал дела, и тогда опускаются руки. Это как бы обратная сторона первоначального воодушевления.

Такая мысль сразу мелькнула в голове Откаленко, и он уже собрался было что-то сказать по этому поводу, но его опередил Цветков.

— Вы, милые мои, пока не очень-то радуйтесь, — хмурясь, сказал он. — А главное, в нашем деле никогда нельзя ставить на одну карту. Тут у нас очень много «если», обратите внимание. Если их

трое, если они улетели вместе, если, наконец, вообще улетели, а не уехали, допустим, поездом, если...

— Если они вообще приезжие, — добавил Откаленко.

— Во-во, — подтвердил Федор Кузьмич. — Если вообще приезжие. И все-таки, — он усмехнулся и кому-то погрозил очками, — все-таки это вполне рабочая версия, которую следует до конца проверить. До конца. Вот завтра с утра, милые вы мои, и будьте добры. Приступайте. А сейчас распределим обязанности. Кто куда.

Он повернулся вместе с креслом к висевшим за его спиной расписаниям, железнодорожному и самолетному, и водрузил на нос очки.

— Вот, смотрите, — сказал он, водя рукой по расписанию Аэрофлота. — Начнем прямо по алфавиту, с Баку... Ты пиши, — обратился он к Откаленко. — Тут важно не только время отправления, но и аэропорт. Значит, Баку. Первое южное направление...

Работа оказалась совсем не простой. Рейсов было много, в самые разные часы, а аэропортов два — Домодедово и Внуково. Это тоже усложняло дело. Тут еще один из сотрудников районного управления, молодой, рыжеволосый, жизнерадостный Саша Руднев, выпускник знаменитой высшей школы сыщиков в Омске, очень бодро объявил, что сделал приблизительный расчет, и если положить на каждый самолет в среднем около ста пассажиров, то предстоит проверить как минимум около трех тысяч билетных корешков, где указаны фамилии пассажиров и номера их паспортов.

— Если навалиться всем вместе, допустим, вдесятером, — заключил Саша, — то это всего три самолета на брата. Пустяки дело. Шесть человек в Домодедове, четверо во Внукове. И постоянная телефонная связь с руководителем группы товарищем Откаленко, — добавил он с лукавым пафосом.

— Надо охватить не один, а полтора дня, — деловито поправил его Игорь, не принимая Сашиного шутилого тона. — День совершения преступления, точнее — вторую половину дня, и весь следующий день. Как вы считаете, Федор Кузьмич?

— Так и считаю, — кивнул Цветков и потянулся к телефону. — Сейчас я вам обеспечу фронт работ. — Он вытащил из стола потрепанную телефонную книжку, полистал густо исписанные страницы и, найдя что-то, стал набирать номер. — Алло! Товарищ Немчинов?... Привет, Сергей Игнатьевич. Из МУРа Цветков беспокоит. Не забыл?... Жалко, о нас лучше пореже вспоминать... А сами, как видишь, не забываем. На этот раз вот что. Надо, чтобы мои ребята у вас денек-другой поработали...

Федор Кузьмич подробно изложил всю программу предстоящей работы, естественно, не упомянув о ее цели, и условился, что сотрудники уголовного розыска придут в аэропорт завтра, с самого утра, что им отведут отдельную комнату и приготовят все материалы. На этом разговор со Внуковым был закончен, и Цветков позвонил в Домодедово.

Завершив последние переговоры, Федор Кузьмич строго произнес:

— Тут самое главное, милые мои, — это ответственность каждого участника операции. Каждого. Один недоглядит и что-то пропустит, и вся операция проваливается. Прошу учесть. Вас должны насторожить уже известные нам данные. Словом, вы эти корешки обязаны смотреть не просто так, а как сыщики, классные сыщики, столичные. Ясно вам?

Всем было ясно, и радостный энтузиазм сменился некоторой озабоченностью.

А Федор Кузьмич добавил к этой озабоченности еще немалую дозу. С минуту подумав, он сказал, требовательно постучав очками о стол:

— Теперь второе. Отработку версии «Приезжие» — так ее, к примеру, назовем — надо проводить солидно и до конца. А если они и в самом деле из Москвы не улетели, а уехали поездом? Может это случиться? Конечно, вероятности меньше, согласен. Самолетом быстрее. Но все же железную дорогу исключить так просто нельзя. А вот как это проверить? Давайте-ка подумаем. Конечно, никаких корешков с фамилиями и номерами паспортов тут не остается. Однако не будем спешить с выводами. Если уехали они сразу после кражи...

— То есть вечером или ночью, — уточнил Откаленко, вглядываясь в железнодорожное расписание за спиной Цветкова.

— Ну, да, — согласился Федор Кузьмич. — Во вторник, значит. И кража была во вторник.

— Или же на следующий день, в среду, — снова добавил Откаленко.

— Или в среду, — утвердительно повторил Федор Кузьмич. — И тогда они сейчас только-только приехали. Ведь ехать им до любого пункта больше суток, если не двое. До Еревана, допустим. И это вам не два часа самолетом. За сутки можно здорово глаза проводникам намозолить. Да еще ребятки эти не тихие, книжек в дороге не читали, а скорее всего в карточки резались, выпивали и общий порядок хоть как-то, да нарушали. А потому проводникам вполне могли запомниться.

— Это точно, — за всех согласился Шухмин и, шумно вздохнув, заключил: — Придется с бригадами побеседовать, никуда не денешься.

— Надо узнать, как вообще сейчас с билетами из Москвы, летний сезон уже начинается. — Федор Кузьмич посмотрел на Шухмина. — Придется тебе эту линию возглавить. Не зря ты вздыхал. На два дня еще людей вам с Откаленко подбросу. Тут сразу навалиться надо. И особенно ты, Шухмин, смотри. Вам не бумажки смотреть, а с людьми беседовать. Сам понимаешь. Обстоятельно беседуйте, помогайте вспомнить.

На том и кончилось это важное совещание.

А на следующий день началась сумасшедшая работа.

Часть группы Откаленко во главе с ним самим прибыла во Внуково. Их уже ждали. Звонок полковника Цветкова всеми, знавшими Федора Кузьмича, воспринимался серьезно.

В комнате, которую им отвели, в два ряда стояли письменные столы, и сотрудники розыска по одному расселись за ними, как ученики в классе. Затем несколько девушек в красивых униформах Аэрофлота принесли толстые пачки зеленых билетных корешков, связанных тонкой бечевкой, и подшивки посадочных листов, где тоже были указаны фамилии пассажиров. Девушки, кстати говоря, были совсем не прочь задержаться и поболтать с интересными парнями из такого необычного и таинственного учреждения, как Московский уголовный розыск. Но под хмурым взглядом старшего группы даже наиболее общительные из приехавших воздерживались от контактов.

Когда за последней из девушек дверь наконец закрылась, Откаленко внушительно сказал, поднявшись из-за своего стола, чтобы его лучше было видно за горой принесенных бумажных пачек:

— Значит так, товарищи. Медленно перебираем корешки билетов, обращайте внимание на номера. Их номера должны идти один за другим. Группа скорей всего состоит из трех человек. Дальше не забудьте все, что сказал вчера Федор Кузьмич. И помните: малейшее сомнение требует остановки

и выяснения. Малейшее, самое пустяковое. Не стесняйтесь, зовите меня и вообще всех. Это главный момент работы. Вопросы какие-нибудь есть?

Никаких вопросов пока не было.

— Начнем, — сказал Игорь, опускаясь за свой стол. — Подходите. Каждый берет по шесть пачек и соответственные посадочные листки.

После некоторой суеты и хождений наступила сосредоточенная тишина. Все углубились в работу, слышался только шелест бумажек.

Час шел за часом, нарастало утомление, а гора не проверенных еще билетных корешков на столах, казалось, не только не убывала, но даже каким-то непонятным образом росла. Наконец, когда стало уже рябить в глазах от бесчисленных неразборчивых букв и цифр, Откаленко объявил перерыв. Все шумно поднялись из-за своих столов, расправляя затекшие спины и ноги. Закурили, собравшись в кружок возле распахнутого окна. Вдали, на летном поле, виднелись огромные самолеты, доносился далекий рокот моторов. В голубом небе чертил невидимую наклонную линию только что взлетевший самолет.

— Эх, я бы куда-нибудь полетел сейчас! — завистливо сказал Саша Руднев, следя глазами за исчезающей в голубом мареве беленькой точкой. — Люблю другие страны, другие города. Не ту я, наверное, профессию выбрал.

— Ты в интерпол запишись, — добродушно пошутил кто-то. — По всему свету мотаться будешь.

— Набора пока нет. Вот когда наши жулики начнут за границу шастать, тогда уж и мы за ними кинемся. Нет уж, лучше не надо.

— Ну, тогда во всесоюзный розыск просись, все-таки другие города.

— Не досос. Если только товарищ Откаленко продвинет.

— Сразу, — ухмыльнулся Игорь, — как эту группу найдешь, так сразу.

— И квартиру дадите? А то я больше с тещей жить не могу. Эти стрессы уже на работе сказываются.

— Орден дам.

— Нет, сначала квартиру, — упрямо затряс головой Руднев. — Тем более, что мне ее уже четвертый год обещают.

— Пожалуйста, — продолжая усмехаться, ответил Игорь. — Иди к нам. У нас в МУРе каждому дают, кто попросит.

— Знаю я, как даете, — безнадежно махнул рукой Руднев. — Одни только разговоры. А квартиру я скорее в районе получу.

— Ну ладно. Все, — объявил Игорь. — Перекур закончен. А то совсем меня разжалобите. — И напоследок еще раз предупредил: — Только внимательно, ребята.

И вот Руднев словно и в самом деле решил заработать квартиру. Не прошло и пятнадцати минут, как он уже подозревал Откаленко к себе.

— Смотрите, — неуверенно произнес он. — Вот трое подряд. И в Сочи.

— Когда вылетели?

— В среду. Вылет в два двадцать. Это первый рейс в среду.

— Регистрация билетов за час начинается, — задумчиво сказал Игорь. — То есть в час двадцать ночи. Билеты они скорее всего купили заранее. А до того им надо было еще повидаться с наводчиком, выделить что-то из награбленного ему, остальное разделить между собой. На все это требовалось время. А у них был только конец дня после кражи. Да, требовалось время и... место. И чтобы не

опоздать. Где куплены билеты? — спросил Игорь у Руднева.

У того был счастливо-растерянный вид и он даже не сразу сообразил, о чем его спрашивает Откаленко. Из-за всех столов на них были устремлены встревоженные и любопытные взгляды. Игорь решил пригласить этот ажиотаж.

— Рано радуешься, — жестко произнес он. — Три человека ночью вылетают из Москвы. Ну, и что? — Как так, что? — переспросил Руднев.

— А дальше еще надо соображать, — тем же тоном отрезал Игорь и, обращаясь к остальным, добавил: — Продолжайте, продолжайте, товарищи. Пока еще ничего не случилось. — И обратился снова к Рудневу: — Я тебя спросил, где куплены билеты? — Билеты? Сейчас... — Рыжая голова уткнулась в стол. — Здесь куплены. — Руднев поднял глаза на Откаленко. — В аэропорту. Вот штамп.

— Так, так... Значит, при условии, что это те самые, кого мы ищем... Кстати, как их фамилии? — Один — Горчин С. М., второй — Варнавский Г. Р., а третий — Гоцеридзе Ш. Г.

— Ага. Так вот, если это те самые... и им нужно было место... А связей в Москве особых нет. Стой, стой... что-то у меня крутится... Место... А регистрация в полтора ночи... и билеты купили, ие-бошь, сразу, как прилетели... Здесь купили, в аэропорту... Интересно... Ну-ка, проверим.

Игорь снял трубку стоявшего на столе телефона и, посмотрев в список внутренних телефонов аэропорта, лежавший под стеклом, набрал номер.

— Это администратор?.. Добрый день. Говорит старший инспектор уголовного розыска капитан Откаленко. Мы сейчас работаем у вас в аэропорту... Слышали?.. Ну и ну. Впрочем, сейчас это на пользу. Посмотрите, пожалуйста, в книге регистрации. У вас не проживали дня три-четыре и в среду ночью улетели три пассажира... Возьмите, я подожду... Взяли? Так вот, их фамилии Горчин, Варнавский, Гоцеридзе... Что-что?.. А, прекрасно. Сейчас я зайду к вам.

Положив трубку, Игорь сдержанно сообщил Рудневу:

— Проживали. Все трое.

Очень довольный своей догадкой, Игорь огляделся, увидел устремленные на него напряженные взгляды и сказал, невольно подражая при этом Цветкову:

— Самое опасное сейчас, милые мои, это уже поверить и расслабиться. Самое опасное. Поэтому я пойду, а вы продолжайте работать, как будто ничего не случилось. Нам бы еще парочку хотя бы таких групп выудить.

Через несколько минут Игорь уже сидел в комнате дежурного администратора гостиницы при аэропорте. Взволнованная молодая женщина, дежурная по этажу, очень изысканная и в меру накрашенная, и еще одна, пожилая, в халате, горничная с того же этажа, наперебой рассказывали о трех постояльцах, проживших у них четыре дня, начиная с субботы, и в среду ночью улетевших. После них из номера выгребли гору пустых бутылок, окурков, обеды, коробок, оберточной бумаги, веревок. Пластмассовая крышка от какой-то коробки и сейчас еще лежала в ящике стола у дежурной по этажу. Молодая женщина побежала к себе на этаж за этой крышкой. А тем временем горничная сообщила, что постояльцы приехали каждый с портфелем, а увезли столько чемоданов, что ужас прямо. Она как раз на дежурстве была, когда они уезжали.

— А пришли в тот вечер они втроем? — спросил Игорь. — Гостей не было?

— Гостей-то?.. Стой, стой!.. Был гость. Провожал.

— Помните его?

— Нет, — сокрушенно призналась горничная. — Ни к чему мне было его запоминать. Да и со спины только видела. Длинный такой, в плаще. В бежевом.

В это время вернулась дежурная по этажу. В руке она держала черную пластмассовую крышку с отколовшимся углом. Внизу крышки был вытеснен какой-то текст, а над ним разместились роскошный красный петух в цилиндре. Петух был сердит, взъерошен, глаза его сверкали, а клюв хищно приоткрыт. На могучих, мохнатых лапах воинственно торчали длинные боевые шпоры. От этого петуха невозможно было оторвать глаз.

— Из-за него я эту крышку и сохранила, — улыбаясь, сказала дежурная.

Но Откаленко при виде петуха ощутил только сосущую тоску в груди и какую-то минутную вялость.

— Спекулянты, — махнул рукой он. — Это эмблема какой-то французской фирмы, не помню какой.

— Ого! — откликнулся седой розовощекий администратор с галстуком-бабочкой под складчатым, бритым подбородком. — У нас тут, случается, и не такие деятели останавливаются. На них только посмотреть. Лицо — дневник обмана и порока, как сказал один писатель. Вот, например, дня два назад тоже компания. И тоже, кстати, трое. Но эти хотя, — он кивнул на крышку с петухом, — все-таки солидные люди.

— Ничего себе солидные, — презрительно фыркнула дежурная по этажу. — Приставали ко мне на глазах у проживающих. Звали к себе в номер. День рождения придумали.

— За вами трудно не ухаживать, Вера Феодосьевна, — галантно заметил седой администратор.

— Ах, перестаньте! Есть же ведь и порядочные люди.

— Ну, еще бы! Большинство! Подавляющее большинство! — спохватился администратор. — Вот недавно остановился у нас ансамбль из Минска. На четыре дня. Какие чудесные молодые люди. Вы помните, Вера Феодосьевна? — Он обернулся к раздумывавшейся от приятных воспоминаний дежурной.

— Вы что-то начали говорить, — напомнил Игорь администратору. — Тоже трое...

— Трое?.. Что же я хотел сказать?.. Ах, да! Очень неприятные типы. Один, правда, уже в годах, а двое других такие, знаете, шкодливые мальчишки. Да, да! Я, конечно, сразу насторожился. Я ведь эту публику мгновенно определяю. У меня на людей глаз, как рентген, даю слово. Что вы хотите? Ведь двадцать пять лет я за этим столом. И в лучших гостиницах и в худших... Но к чему это я про них вспомнил? — Он потер лоб и улыбнулся. — Знаете, говорят: «Хорошая болезнь — склероз: ничего не болит и каждый день чего-нибудь новенькое».

Все засмеялись. Потом Игорь напомнил:

— Вы хотели рассказать еще про какую-то троицу.

— Ой, я их вспомнила, — объявила Вера Феодосьевна. — Ничего себе мальчишки, лет по двадцать пять, и один с усами.

— Меньше, меньше, — замахал обеими руками администратор. — Ну, двадцать два от силы, а один еще моложе. Сейчас такие и бороды носят.

— Ну, и что же? — спросил Игорь.

— А то. Один из этих мальчишек, например, предложил мне купить не более не менее как золотые часы «Павел Буре».

(Продолжение следует.)

ГЕОРГИ
ТАНЕВ,

первый секретарь
Димитровского
Коммунистического Союза
Молодежи

ЧТО НАМ ДАЕТ СИБИРЬ



В сентябре прошлого года наш журнал, редакция еженедельника «Софийские новости» и строители западносибирских городов — коллектив «Главзапсибжилстроя», в составе которого трудятся болгарские строители, — заключили договор о сотрудничестве. Об этом мы уже рассказывали нашим читателям. Родилась новая форма содружества — интернациональное шефство. В нем активное участие принимает и Димитровский комсомол. Наши корреспонденты Алексей ФРОЛОВ и Игорь АЛБТЕР встретились в Софии с первым секретарем ДКСМ Георги ТАНЕВЫМ и попросили его рассказать о содружестве строителей.

Радует, — сказал в начале беседы Георги Танев, — что объектом интернационального шефства стал именно Тюменский край. Сейчас там трудится одна из самых мощных болгарских строительных групп. На то есть свои особые причины. Леонид Ильич Брежнев назвал Западную Сибирь гигантской стройкой, значение которой возрастает не с годами и месяцами — с каждым днем. Ну, а молодость, как всегда, там, где место открытиям, где простор для инициативы, где ты причастен к большим жизненным переменам. Мне приходилось не раз встречаться с молодыми болгарками — комсомольцами, которые хотели бы поехать в Тюмень, считая за честь работать в этом суровом и благодатном крае. И надо сказать, что их задор, их пыл, энтузиазм не остудить прославленным сибирским морозам. Загляните в Тюмень, Сургут, Нефтеюганск, Урай. Здесь на строительных площадках вы услышите болгарскую речь. Наши ребята работают монтажниками, каменщиками, штукатурами-малярами, плотниками. И работают неплохо.

Недавно мне назвали одну весьма значительную цифру. За минувшую пятилетку в Тюменской области построено и сдано сто двадцать тысяч благоустроенных квартир. Почти половина сделанного — заслуга болгарских рабочих. Тут все, конечно, случилось не сразу, не вдруг. К сегодняшнему дню мы уже успели накопить на стройках Советского Союза изрядный опыт.

Начало, как известно, было положено в 1967 году. Тогда был подписан Договор о дружбе, сотрудни-

честве и взаимной помощи между НРБ и СССР, и в Коми АССР отправилась первая группа строителей и лесорубов. Потом были целлюлозно-бумажный комбинат в Архангельске, объекты Курской магнитной аномалии, нефтяные и газовые сооружения в Средней Азии, на Карпатах, в Оренбуржье. И, наконец, Тюмень...

— А чем, по-вашему, прежде всего привлекательна тюменская стройка для молодых болгар — возможностью «увидеть свет», ощутить сибирские просторы или масштабами дела, размахом освоения?

— Романтический мотив, конечно, не сбросишь со счетов. «Увидеть свет», как вы говорите, набраться впечатлений, понять, что такое Россия, с которой тебя кровно связывает очень и очень многое, — это есть, уверяю, у каждого. Но прежде всего, конечно же, привлекают масштабы дела, возможность проявить себя широко и разносторонне. Ведь молодой болгарин, имея не только желание, может получить на тюменском промышленном полигоне почти любую из современных профессий. Наши ребята прекрасно осведомлены, что именно сюда, в край интенсивного освоения, стягнута наиболее передовая техника, используются наиболее передовые методы труда. Здесь можно приобрести и закрепить профессиональные навыки, освоить опыт не одного поколения советских строителей. Здесь на широком строительном поле больше возможностей для поиска и эксперимента. Здесь и повышенная ответственность. Вроде бы нет особой разницы, в Болгарии ли, в Тюмени ты ведешь кирпичную кладку или штукатуришь стену. Между тем разница есть, и весьма существенная. В Тюмени ты, посланец Болгарии, не можешь допустить ни малейшей промахи. Не имеешь права работать плохо. За тобой авторитет твоей родины... Работа в Тюмени, я бы сказал, обостряет гражданские качества, делает человека более ответственным. Не случайно специалист, прошедший сибирскую школу, ценится у нас в Болгарии очень и очень высоко.

Повышенное чувство ответственности объясняется и еще одним обстоятельством. Шофер Любомир Илиев, проработавший несколько лет в Сибири, рассказывал как-то: «Мы ехали в Сибирь не за деньгами и не за запахом тайги (хотя, как я теперь понимаю, эти факторы тоже имели значение). Я, как и другие болгары, хотел испытать, проявить себя, хотел вложить частицу своего труда в большое дело, которое оборачивается выгодой и для моей родной страны...»

Лес, нефть, газ — все, что добывается в Тюмени, необходимо и нам, болгарам. Вот почему высок счет к личному трудовому участию, — он предьявляется с позиции государственной. Вместе с тем — ничто человеческое нам не чуждо — Тюмень привлекает молодежь и возможностью неплохо заработать...

— Обычно в составе строительных групп едут ребята «обстрелянные», с солидным профессиональным багажом. Бывают ли исключения?

— Исключений не бывает. Все имеют достаточно высокую профессиональную подготовку и в принципе могут включиться в дело, как говорится, «с колес». На практике это удается главным образом тем, кто уже успел однажды поработать на стройках СССР.

Причины тут немало. Общеизвестно, например, что в Болгарии не встретишь таких нелегких климатических условий, как в Сибири. Естественно, молодой человек должен к ним приспособиться, адаптироваться. На это волей-неволей уходит какое-то время, когда он работает не в полную силу... Второй момент. Отправляясь на работу в отдаленные края, молодой человек как бы вырывается из привычной обстановки, из прежнего окружения, в котором у него давно сложились устойчивые связи. Семья, тога-

рицы по работе — все это остается дома. И требуется некоторое время, чтобы он психологически акклиматизировался на новом месте — «оброс» товарищами, нашел себя в новом коллективе. И в коллективе непросто — разноразличным. Значит, предстоит преодолеть еще один барьер — языковой...

Теперь о профессиональной адаптации. Хотя, как я уже говорил, внешне нет особой разницы, где класть кирпичную стену — в Болгарии или на Тюменской земле, однако разница эта существует.

Скажу, например, что наши штукатуры работают кельмой, непохожей на ту, которой ловко орудуют наши строители. А топор болгарского плотника не похож на традиционный русский. Отличие в орудиях труда отражает, очевидно, отличие и в приемах труда. Существует понятная разница и в традициях строительства. И вот здесь-то возникает непростая задача — на первых порах, в процессе профессиональной адаптации, не «задавить» ненароком традицию, а выявить лучшие приемы и методы и поставить их на службу общему делу...

В Тюмени, рассказывают, один болгарский рабочий-металлист в свободное время изготавливал искусные металлические калитки, решетки, воротца с национальным болгарским орнаментом. Этот пример свидетельствует, что отношение к нашему искусному специалисту не было утилитарным — выवाल, скажем, дверные петли — и точка. И вот вам плоды: на далекой Тюменской земле прижились элементы болгарской строительной культуры.

Очевидно, подобных случаев уже можно привести немало. Впрочем, это отдельный большой разговор... Хотел бы закончить ответ на ваш вопрос. Высокий профессионализм наших посланцев просто необходим. Представьте на минуту, что ко всем упомянутым трудностям первых месяцев на сибирской земле ребятам пришлось бы еще и учиться строительным «азам»...

— А что делается, чтобы по возможности сократить период адаптации, — как в Болгарии готовят ребят к работе в Сибири?

— Тут у нас перед глазами большой многогранный опыт Ленинского комсомола, который за последние годы сформировал для районов освоения не один десяток ударных строительных отрядов, учитывая при этом тонкости профессиональной, психологической адаптации и приживаемости. Мы придерживаемся такого принципа: молодой человек должен быть подготовлен к ответственному сибирскому старту еще дома, в Болгарии. Это, как уже говорилось, профессиональная подготовка с неизменным учетом сибирских особенностей. Тут нам хорошо помогают «ветераны» — проработавшие в разных концах Советской страны болгарские специалисты знакомят ребят с профессиональными секретами, приобретенными на советских стройках. Учат их, показывают, как работать тем или иным инструментом.

Однако мы хорошо понимаем, что у себя в Болгарии не сможем точно смоделировать сибирские условия. И здесь полезно вспомнить, что и космонавтов искусственно создаваемые на Земле условия невесомости не избавляют от процесса адаптации в реальном полете. Вот почему мы придаем такое серьезное значение морально-психологической подготовке — формированию у ребят готовности к испытаниям, к трудностям. Первичные комсомольские организации профессиональных учебных центров придерживаются неукоснительного правила — давать нашим посланцам реальную информацию о жизни, условиях работы, быте, заработках на стройках Союза. С другой стороны, мы еще в учебном центре даем молодежи возможность ощутить близ-

нюю и дальнюю жизненную перспективу. Ты едешь на сибирскую стройку. Ты получишь там прочные профессиональные навыки, у тебя будет хороший заработок. Но, кроме того, ты сможешь продолжить свое образование, вырастешь со временем как личность... Наши ребята прекрасно осведомлены, в какой цене в Болгарии те, кто прошел сибирскую школу. Когда-то, простые рабочие, эти люди получили в СССР образование (только в прошлом году в советских вузах обучались подторы тысячи болгар), стали первоклассными специалистами, возглавляют ответственные производственные подразделения... Кого не привлекает такая перспектива?

— Если говорить о будущем интернационального сотрудничества, какие моменты вам хотелось бы особо подчеркнуть?

— На этот вопрос я мог бы ответить совсем кратко: перспективы оптимистичны, масштабы очерчены нашими коммунистическими партиями, заложены в пятилетних народнохозяйственных планах. Эти перспективы обеспечивают единый ритм и всестороннее сближение двух братских народов как в трудовом интернациональном сотрудничестве — его многообразных формах и проявлениях, так и в «человеческих» аспектах — возможности развития и самосовершенствования личности.

У ДКСМ уже накоплен опыт в организации моло-

дежных отрядов. До сих пор в Усть-Илимске, в Иркутске и Иркутской области добрым словом вспоминают ребят из болгарского молодежного отряда имени Георгия Димитрова, работавших на сооружении Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

Несомненно, что и впредь в рамках межгосударственных соглашений будут существовать благоприятные возможности для утверждения таких форм работы. Это, кстати, намечено и в «Мероприятиях по укреплению ДКСМ и ВЛКСМ в осуществлении программы дальнейшего болгаро-советского всестороннего сотрудничества и сближения (на период с 1980 по 1984 г.)». Вероятно, такое сотрудничество получит дальнейшее развитие после очередных съездов наших братских молодежных союзов — XIX съезда ВЛКСМ и XIV съезда ДКСМ.

Вы, вероятно, обратили внимание, что, отвечая на наши вопросы, я старался не называть фамилий. Это не случайно. Наши отношения уже давно миновали тот этап, когда, прежде чем назвать лучших, надо было вспомнить фамилии особо отличившихся. Теперь не уходишь «наше» или «ваше»; теперь в лучших ходят не одиночки, все работают с полной отдачей.

Когда номер подписывался в печать, мы получили сообщение, что Георги Танев избран первым секретарем окружкома БНП в городе Кырджали.

ВСТРЕЧА В ДЕКАБРЕ

Уже почти полтора месяца прошло, а эта декабрьская встреча на Тюменской земле словно бы случилась только вчера. Столько было тепла, взаимного неподдельного интереса, обильной радости...

Тюменские градостроители не скрывали гордости от своих земляков. Кто еще может похвастаться вниманием сразу двух печатных органов — болгарского еженедельника «Софийские новости» и журнала «Юность»? Да, мы приехали в гости именно к ним, строителям сибирских городов. Чтобы уже не по рассказам — своими глазами увидеть, убедиться, каким ответственным делом занят наш знаменитый партнер — «Главзапсибжилстрой», с которым мы совсем недавно заключили договор о дружбе.

...В Москве в тот день была оттепель, а Тюмень встретила изрядным морозцем. На ее улицах было по-зимнему бело. В такую погоду с особым чувством думаешь о теплом, уютном доме, о преимуществах прочных «четырех стен» солидного капитального жилья. А ведь именно такое строят наши новые друзья в Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Урае, Надыме, Уренгое, где мороз зимой под пятьдесят, где дуют пронизывающие ветры и где под ногами нефть и газ...

Хотелось пристальней взглянуть в лица строителей. Как можно больше узнать о них. Дать этим замечательным людям понять, что мы не вежливости ради — с живым, горячим интересом следим и будем следить за их героической работой.

Вот почему так насыщена была программа двух дней тюменской встречи.

Руководители нашей делегации — главные редакторы изданий Александр Дайнов и Андрей Дементьев сами не знали отдыха и нам положили твердый график. Встречи в областном комитете партии, в Доме болгаро-советской дружбы, в главке. Летучие

политические выступления в обеденный перерыв прямо в цехах. И поездки — на предприятия главка, на строительные площадки.

Особенно запомнились две поездки. Под Тюменью есть местечко Винзили. Здесь на домостроительном комбинате делают деревянные объемные блоки, из которых всего за пятнадцать дней на любом участке трубопроводной трассы можно смонтировать 24-квартирный дом со всеми удобствами! Нам было приятно увидеть такой дом на экспериментальной площадке еще и потому, что многие годы «Юность» ратовала за объемно-блочное жилье для северян.

Побывали мы и на строительстве санатория-профилактория для градостроителей. Здесь все великолепно (кстати, строили и отделывали здание болгарские специалисты) — мраморные лестницы, полированное дерево. Великолепные холлы, игровые комнаты и комнаты отдыха. И обворожительная природа вокруг!

Тут же созрело решение: в Москве и Софии собрать большую русско-болгарскую библиотеку и передать ее в дар отдыхающим в профилактории.

...И, наконец, прощальный вечер. Он проходил в одном из самых больших залов Тюмени — во Дворце культуры и техники нефтяников. Здесь в смешанной болгаро-советской программе перед строителями выступили скрипачка Эвелина Арабаджиева, пианистка Лилия Бояджиева, поэты Червенко Крумов, Анатолий Преловский, Алексей Пьянов. Был показан документальный фильм журналиста «Юности» Алексея Фролова «Поселок на трассе»...

В поездке в Тюмень принял участие кандидат в члены бюро Димитровского коммунистического союза молодежи Болгарии, первый секретарь Московского окружкома ДКСМ Никола Николов.



НИКОЛАЙ
ЧЕРКАШИН

ДЕЛА ПОХОДНЫХ ДНЕЙ

1. «ВАХТУ ПРИНЯЛ ИСПРАВНО!»

Палуба покачивалась, и обе шеренги строя то приподнимались на носках, то опускались на пятки. А капитан 3-го ранга Виктор Захаров еще и придерживал на бедре пистолет дежурного по кораблю.

На правом фланге поблескивал трубами оркестр. Впритык к нему стояли автоматчики наружной вахты в касках и бушлатах, караул, дозорные по артиллерийским и ракетным погребам, дневальные по кубрикам, командиры вахтенных постов и прочий дежурный люд суточного наряда.

Захаров только что обошел фронт с новым дежурным по низам, проверил форму одежды, знание инструкций, задал напоследок ритуальный, риторический почти вопрос: «Кто не понял своего назначения, поднять руку».

Руку, конечно, никто не поднял, разве что военный дирижер вскинул ладонь, готовя оркестр к маршу. Но капитану 3-го ранга Захарову надо было сказать об особой бдительности в нынешнее дежурство — на якорной стоянке посреди открытого моря в неимоверной дали от родных берегов. Сказать так, чтобы прожгло каждого, даже если этот каждый заступает в наряд уже в сотый раз.

Отец Захарова служил в войну на дальневосточной границе. Может быть, сказать, что все бы сейчас не просто суточный наряд, а небольшая пограничная застава, которая охраняет полигоновую территорию Советского Союза — военный корабль?

В двух кабельтовых от «Киева» дрейфовал фрегат военно-морских сил НАТО. Вольно или невольно, но его пушки смотрели в спины моряков, замерших в строю. И тогда Захаров командовал:

— Кру-гом!

Обе шеренги повернулись лицом к орудиным дулам фрегата. Захаров называл их калибры, скорострельность, боевые возможности управляемых ракет.

— Ныша главная задача — обеспечить не только внутренний распорядок, но и безопасность стоянки. Наивысшую боевую готовность крейсера.

Глаза из-под стальных навесов касок, златолобых бескозырок и черных пилоток смотрели сурово.

— Смирно! Оркестр, играй сбор!

Грянул красивый марш. Строй четко отбивал шаг по шаткой палубе мимо дежурного по кораблю, мимо большой алой звезды на стабилизаторе вертолета, мимо башен чужого фрегата... И был в этом шествии отзвук того давнего ноябрьского парада, с которого войска уходили в бой.

Корабельная жизнь — сколок с жизни большого города. Города на вечном осадном положении. В любую минуту похода ли, якорной ли стоянки корабль должен быть готов к отражению атаки с воздуха, из-под воды, из-за горизонта. Дежурный по кораблю знает, что ему делать и что делать другим, если на крейсер вдруг ринутся штурмовики или ракеты, выйдут в атаку торпедные катера или подводные лодки.

Черная шторка, за которой чертеж «Киева» в раз-

резе,— строгое напоминание о том, что сейчас капитан 3-го ранга Захаров, случись беда, первый, кто начнет борьбу за живучесть корабля. Разумеется, для этого в совершенстве надо знать несъиспытанный лабиринт коридоров, водонепроницаемых отсеков, цистерн, разбираться в хитросплетениях систем пожарных и осушительных, орошения и освещения.

Захаров идет по кораблю. Обойти его весь невозможно, даже если бы все сутки дежурства шатать по бесконечным коридорам, нырять в бездонные склады.

Горячие поручни ведут в машинно-котельное отделение. Сегодня свой выборочный осмотр дежурный по кораблю начнет отсюда.

Завидев офицера с сине-белой повязкой на рукаве, командиры вахтенных постов подтягиваются, бойко представляются, перекрикивая шум работающих механизмов. Захаров спрашивает вахтенного по средней площадке, вахтенного по горению, вахтенного по электростанции. Всем им один вопрос: «Ваши действия при поступлении забортной воды?» Ответы четкие, уверенные. Матросы чувствуют, что дежурный ими доволен, но тогда зачем он записывает их фамилии в блокнот?

А Захаров засыпает их новыми вопросами: «Куда ведет эта магистраль? Что питает этот насос?» Нет, это уже не проверка. Это Захаров учится сам, не упуская возможности узнать что-либо новое о корабле при любом удобном случае.

Есть два разряда дежурных по кораблю. Одни стараются доложить командиру на утренней «оперативке» как можно больше замечаний, щеголяя своей введливостью,— командир обычно морщится и требует доклада по существу. Капитан 3-го ранга Захаров из тех, кто умеет выделить главное и не боится подозрений в несостоятельности, докладывая о том, что замечаний нет. На мелочи же давно указаво тем, кто сможет их немедленно устранить.

Сегодня в конце доклада он назвал фамилии отличившихся машинистов, и командир одобрительно кивнул головой. Вечером их имена прозвучали в корабельной радиоголазе.

Невелико событие. Но это штрихи стиля службы капитана 3-го ранга Захарова. Ведь не каждый же офицер, сложив с себя полномочия дежурного по кораблю, идет в каюту редактора, чтобы назвать лучших за смену.

...Дежурство было не самое хлопотное. Но и не самое спокойное... В три часа ночи в рубке дежурного зазвонил телефон:

— Через полчаса вертолет доставит на корабль тяжелобольного. Обеспечьте приемку.

Захаров объявил готовность «номер один» БЧ-6 и медицинской службе. Вышел на полетную палубу. Проследил, как опустился вертолет, как вынесли из него носилки, укрытые поверх одеяла черной шинелью, как бережно переправили их в операционную...

...Утром корабль снялся с якоря, и Захаров был вызван на мостик, где ему пришлось сменить пистолет на кортик, а повязку дежурного по крейсеру на красно-белую перевязь вахтенного офицера.

Всякий раз, когда «Киеву» предстоят сложные маневры, в ходовую рубку вызываются лучший вахтенный офицер крейсера и капитан 3-го ранга Виктор Захаров. Так было и при проходе многих узкостей, так было при форсировании последнего пролива... Сегодня дело не меньшей сложности.

— Корабль к приемке топлива на ходу траверзным способом — приготовить! — разнесится по транзляции захаровский голос.

Крейсер и танкер сходятся борт о борт, перебра-сываются шланги.

— Пошло топливо!

К заправщику подходят два больших противолодочных корабля и тоже соединяются с ним шлангами — с кормы и со свободного борта. Огромный плавучий остров составил из четырех кораблей и режет океанские волны и четыре форштевня. Все части его связаны лишь зыбкой канатной дорогой да командирским глазомером.

— Полградуса вправо! — капитан 1-го ранга Ю. Соколов стоит с микрофоном на правом крыле мостика. Отсюда виднее расстояние между бортами. — Держать... цать один оборот!

Захаров репетирует команды рулевому и вахтенным в машинно-котельное отделение. Через минуту:

— Градус влево. Держать... цать два оборота!

Корабли идут кюэз в кюэз, и потому счет ведется на градусы и обороты. Вахтенный офицер сейчас — комок нервов. Команды монотонны — «градус вправо — градус влево». Малейший просчет, даже простая оговорка чреват бедой. А тут еще надо править всей внутренней жизнью корабля, немедленно отвечать на всевозможные вводные, предугадывать их. Захаров — сама собранность. В короткие паузы между командами он не теряет ни секунды:

— БИП¹, как горизонт?

— Горизонт чист.

— Штурман, график ветра и давления?

— Ветер имеет тенденцию к усилению. Атмосферное давление падает...

— Горниста наверх. Команде, не занятой приемкой топлива, обедать!

— ПЭЖ², доложите, сколько тонн уже принято?

— Штурман, время захода солнца. Зажечь сигнальные огни: «Не могу уступить дорогу».

Прилетел самолет без опознавательных знаков. Кто такой? Что нужно? Доложили командиру. Самолет покружил — ушел в сторону берега. А тут уже новое беспокойство: впереди показались ходовые огни океанского лайнера.

— Товарищ командир, с целью разоидемя через двадцать минут левыми бортами... — сообщает Захаров расчетные данные боевого информационного поста.

И все это быстро, без лишних движений, без напоминаний. Можно подумать, что Захаров отрепетировал всю операцию заранее. Его работу не просто интересно наблюдать, ею любуешься, как любуешься мастерством любого виртуоза.

— Захаров, не устали?

— Никак нет, товарищ командир.

— Устанете — скажите. Прекратим заправку.

Немудрена шутка, но и она разрядила нервное напряжение: все, кто был в ходовой рубке, улыбнулись.

Но вот завинчены горловины топливных цистерн, отдаются несущие тросы. Капитан 1-го ранга Соколов вернувшись с мостика в ходовую рубку, молча и крепко пожал руку вахтенному офицеру.

Пусть не покажется странным, что Захаров в общем-то представитель не самой главной морской профессии. Он по профессии — начальник химической службы. Талант морехода, как и всякий другой, даруется человеку без учета штатного расписания. К тому же на «Киев» Захаров пришел с ракетного крейсера «Грозный». А это школа командирова общепризнанной славы. Именно там Захаров узнал истины высокой морской культуры.

Что еще сказать о капитане 3-го ранга Захарове?

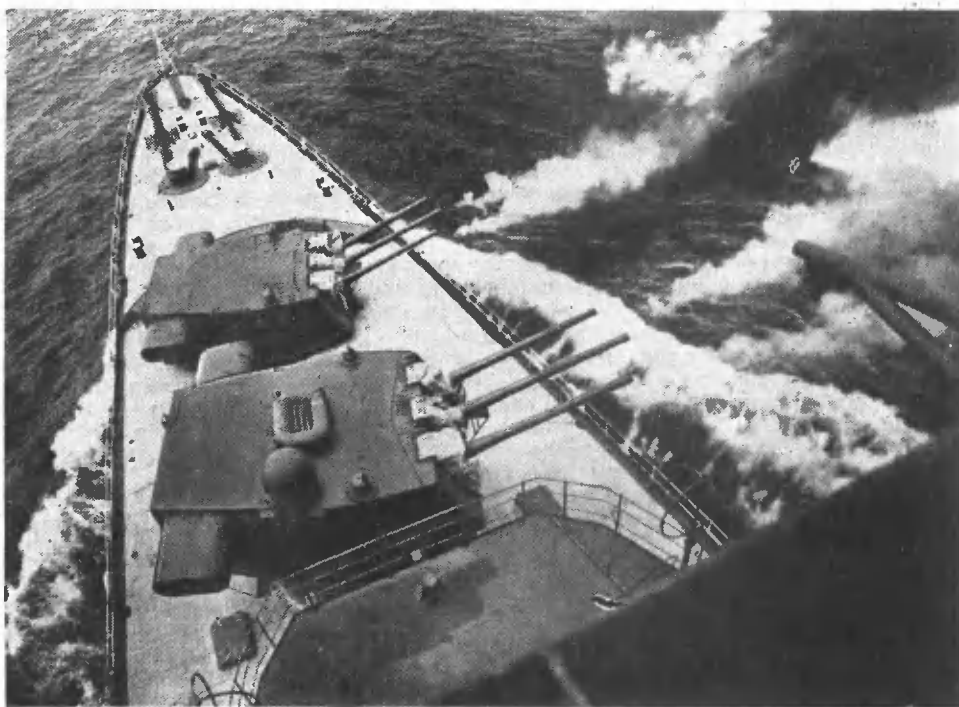
¹ БЧ-6 — авиационная боевая часть корабля.

² Боевой информационный пост.

³ Пост энергетик и живучести.

Залп
главного
калибра.

Фото
Г. ШUTOVA.



Кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР». Приверженец правила, выведенного русским адмиралом Г. Бутаковым: «Каждый морской офицер должен быть лучшим матросом и лучшим боцманом своего судна, чтобы иметь нравственное право требовать от подчиненных своим примером всего того, что им приходится исполнять».

...Торопливый перезвон аврала. Втягиваются в клюз пудовые «калачи» якорь-цепи.

— Горниста наверх!

Противолодочный крейсер «Киев» уходит в иные моря.

2. ПОСАДКА ПО-САМОЛЕТНОМУ

Небо над океаном перекрещено белыми самолетными следами наискось — точно андреевский флаг.

Полетная палуба противолодочного крейсера «Киев». Самолеты вертикального старта. Вот один из них — ярко-синий иглоносый ракетоплан — ныкает на площадку, обожженную реактивным пламенем.

Свирепый рев подъемно-маршевых двигателей вбуравливается в уши. Самолет, словно взлетающий майский жук, приподнимается на огнеструйных столпах. Миг надрывного воя — колеса отрываются от палубы; машина, неуверенно — колесам нужна твердь — покачав, поболтав ими, порывав носом, вздымается все выше и выше и, наконец, зависает на высоте человеческого роста, оглашая все вокруг ракетным грохотом.

Есть что-то совсем непривычное, сюрреалистическое в самолете, застывшем в воздухе. Весь твой прошлый опыт говорит, что этого не может быть. Даже чуточку смешно, как у Чуковского — «рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают...». Но вот самолет плывет по-над палубой, переплывает через ее

край и, ускоряясь с каждой секундой, уходит, улетает, уносится, поджимая закрылки и ноги-шасси...

Так они взлетают и так они садятся, самолеты корабельной авиации, — без разбега! Но однажды реактивной машине пришлось садиться на пятачок палубы — и сесть, вместив свой «бег» в считанные десятки шагов! Случай беспрецедентный, не верилось даже специалистам.

А было так: в небе над океаном у майора Глушко возникла сложность. Летчик обязан был катапультироваться, но решил спасти машину и повел ее... на корабль. Летчик — майор Глушко Василий Петрович, 1951 года рождения, пилот 2-го класса.

К этим анкетным данным могу теперь добавить, что волосы у Глушко кучерявые, глаза карие, характер общительный, а родом он из запорожских казаков...

Мы сидим с ним в кубрике, и, пока специалисты налаживают видеоманитофон с записью той посадки, Василий рассказывает:

— Взлетали группой. Нормально отстрелялись. На посадку заходил третьим. И вот тут-то, на исходе запасов топлива, в круговерти снежного шквала, надо было что-то решать. Доложил руководителю полетов. Конечно, будь берег поближе, можно было бы сесть на запасной аэродром. А здесь океан. Надо прыгать. В зоне корабля, как всегда, натовский самолет-разведчик крутится. Такая злость меня взяла: кувиркаться на глазах у супостата! Он же заснимет все: как самолет в воду падает, как летчика вываливают... Ну, уж нет! Чувствую, что посажу. Не знаю как, но посажу! Уверенность такая была. Старые летчики учли: принял решение — доводи до конца. Заметаешься — погнобишь.

Решился, и сразу мысли, как на табло: «коснуться палубы ближе к корме», «сброс оборотов», «тор-мози!».

Наши все сели. Самолеты вниз убрать не успели — оттащили их поближе к надстройке. Захожу на по-

сачочную глнсаду. Корма все ближе и ближе. Сгруппировался...

Тут и кубрике заработал телевизор, и на экране возник звездобразный фас заходящего на посадку самолета. Он мчался на оператора с огромной скоростью. Кормовой срез. Пролет на высоте человеческого роста. Резкий клевок. Самолет, едва не ткнувшись носом в палубу, подскочил, плюхнулся и вдруг потонул вправо, прямо на прижавшуюся к надстройке машину. В ней еще сидел не успевший выбраться из кабины летчик. Глушко передернул педали и чудом отвернул в сторону. Задымили шины, мертво схваченные тормозами. Самолет шел козлом, растярая о палубу свою смертельную скорость. Он замер в каком-то метре от крыла соседней машины. Хорошо, что консоль крыла была поднята по-ангарному...

И на корабль упала тишина.

Первым подбежал к самолету техник — старший лейтенант Сергей Глушаков. Это важно отметить, потому что машина слегка дымилась, — мало ли как поведут себя после такой посадки двигателя?! Это уже потом выяснилось, что дымилась шины, а тогда Сергей, не раздумывая, бросился к летчику, взлетел по стремянке, откинул фонарь.

— Молодец! — только и крикнул он Глушко, помогая освободиться от ремней. Пошатываясь, Василий прошел в кубрик, куда уже спустился вице-адмирал, наблюдавший посадку.

— Товарищ вице-адмирал...

Старый моряк прервал доклад крепким объятием. Потом окружили друзья, поздравляли, жали руки и кто-то уже требовал писать объяснительную записку.

— Подождите, дайте пообедать! — отмахнулся Глушко. Но есть не стал — выпил лишь стакан компота...

В тот суматошный день как-то забыли о другом человеке, разделившем с Глушко в известной мере риск и успех посадки, — о руководителе полетов майоре Колисниченко. Будь он офицером, мягко говоря, более осторожным, опротестуй он решение летчика, запретил дерзкий эксперимент — ничего бы не было, как не было бы и ценной машины. Но Колисниченко недаром считается асом корабельной авиации, сам не раз выходил с честью из трудных ситуаций, поверил в земляка: «Глушко — посадит!»

Когда в воздухе много машин, руководителю полетов (РП) приходится работать с четкостью жонглера. Перед глазами — экран радара с россыпью отметок; в ушах — хор докладов и запросов. К тому же на рабочую волну прорвался чей-то джаз, и во всем этом гаме надо было сразу же зримо представить, как будет проходить посадка...

В эфире финал операции выглядел так:

РП: 423-й, спокойно. Будем садиться... Удаление? 423-й (позывной Глушко): Удаление... километра.

РП: Проверь скорость... Поддерживай ножкой!

423-й: Поддерживаю.

РП: 423-й, проверь скорости!

РП: Скорость, 423-й!!!

РП: Придержи вертикальную. Вертикальную!..

Глушко не отвечал: он уже несся над палубой. РП: Тормози! Тормози, 423-й!.. Выключай двигатель!

В том-то и состояла уникальность посадки — не на авианосец, а на противолодочный крейсер, полетная палуба которого отнюдь не посадочная полоса — всего лишь площадка для подъема вертолетов и машины вертикального старта и вертикальной посадки. Никто еще в мире так не садился. И, безусловно, в историю авиации посадка эта войдет с именем лет-

чика, как и петля Нестерова, как штопор Арцеулова...

Потом удивлялись: «Если бы он коснулся палубы чуть позже...», «если бы летчик соседней машины не успел поднять консоли...». Но все эти случайности, из которых сложился успех, невероятной посадки, пронизаны одной закономерностью — мастерством экипажа.

В каюте Глушко висят портрет «отца русской авиации» Жуковского, календарь «600 лет Куляковской битвы» и рисунок Стасика «Папа взлетает с корабля». Незадолго до похода родился второй сын — Василь Васильч. В Новый год Людмила подарила (пердала заранее замполиту) театральный бинокль и банку черничного варенья. Смысл первого подарка — что за моряк без бинокля, и намек: почаще бы нам в театр выбираться! Назначение второго — ешь чернику, она обостряет зрение, то есть смотри там в оба, будь осторожен.

Глушко совершил памятную посадку в день своего рождения — 14 января. Кто-то сказал: «Родился в рубашке».

— В тельняшке! — поправил Глушко.



Пока писались эти строки, пришло сообщение: за мужество и хладнокровие, проявленные при посадке в особых условиях, майор Василий Глушко награжден орденом Красной Звезды.

3. КАК РОЖДАЮТСЯ СТИХИ

К залпам башен главного калибра крейсер готовился так, как город к предсказанному землетрясению: в кубриках снимались и укладывались на койки плафоны, приборчики какот выставляли за стекла иллюминаторов «броняшки», снимали с переборок зеркала и часы; аквариум в салоне какот-компании переставили на мягкий диван, а под ножки роялины, чтобы не расстроилась, подсунили плетеные маты.

Лейтенант Сергей Чернецов снял с башни амбарный замок. Тяжелая плита броневой двери откатилась в сторону с маслянистым урчанием. Полумрак стальной тесноты пахнул свежей краской, маслом, сыростью. Кажется, нет более надежной тверди под ногами, чем бронированный пол башни, но тяжесть тела сама собой, начала вдруг переваливаться с пятка на носки — качало. Стальной пол, вне земли он отделен от нее зыбкой толщей воды.

Сыграли учебную тревогу, и Чернецов инстинктивно щелкнул секундомером. Первым прибежал старшина 1-й статьи Иван Федонюк с ненужным уже ключом от башни, последним — но в пределе норматива — матрос Григорий Зозуля.

Замковые, опоясанные холщевыми патронташами с запалами, разворачивали из чистых тряпич стреляющие устройства и крепили их к оружейным замкам. Все как обычно, как на тренировках. Только из лючков в полу с легким шумом высочили и легли на лоток цилиндры зарядов, и от этого в башне стало тревожно и неуютно.

Чернецов уселся перед командирским перископом, протер окуляры замшей — в круглых стеклах зареяло пустынное море. Вглядывайся — не вглядывайся, а щиты не увидишь, они там, за горизонтом; их нащупают артиллерийские локаторы и быстро, молча и точно выдадут целеуказание в башни. Хо-

лодная капля шлепнулась прямо за ворот; кто-то пропирал над головой лейтенанта отпотевший подволоок. Матрос В. Драган по-хозяйски обихаживал ветошь отсыревшую сталь левой секции. «А чего особенного? — гонорил он всем своим видом. — Всю секцию тру, заодно и над вашей головой; не оставлять же огрех».

— Принять целеуказание!.. Наводка!.. По счету!.. Сваря!.. — прогремел в динамике голос управляющего огнем. С мостика сейчас нидно, как стволы носовых башен врасплоху заходили вверх-вниз. Но вот они выравниваются в линию, круто вскидываются. Башня чуть рыскает на барбете¹, не сводя жерл с истинного курса, которым снаряды вот-вот ринутся к цели. Держать этот курс в противовес качке помогают гироскопы; стволы неподвижно уткнулись в горизонт, а огромный крейсер неторопливо переваливается на волне. Сейчас нет более важных машин на корабле, чем орудия, и потому только они извлеклись от качки.

Огненный взблеск, перебивая солнечные блики, пробегает по надстройкам.

— Р-р-хаф-ф!!!

Спрессованный многожды грохот рванул воздух. Пламя вышло в каналах стволов смазку, и косматое рыжее облако, сдернутое с дульных срезов ветром, взметнулось выше мачты. В русском языке нет слова, чтобы обозначить этот адский взрыв, ибо нет таких звуков в естественной природе. Будто колотушка, метившая в турецкий барабан, промахнулась и удар пришелся прямо по перепонкам и ушам.

Чернецов сбил на затылок пилотку — вот он, стартовый выстрел! — в крови закипал азарт: одного из четырех командиров башен назовут сегодня первым. И если не его, не Чернецова, — судьба допустит вопиющую несправедливость. Кто же, как не он, гонял своих пушкарей до седьмого пота? Вон как вертятся замковые, вон как напружинились командиры орудий, вон как приросли к своим маховикам наводчики.

Чернецову вдруг захотелось, чтобы домашние и все ленинградские знакомые увидели его сейчас и башне — лижого повелителя могучих механизмов. Он не успел даже пристыдить себя за это пижонское желание — рыкнул динамик:

— Орудия — зарядить!

Замковые метнулись к замкам вставлять запалы. И тут же в приемный стакан элеватора с легким урчанием вынырнул увесистый полосатый боевой снаряд.

Механическая пьеса разыгрывалась молниеносно, почти без участия людей. Сама собой выскочила из-под пола и легла на лоток «вязанка» из пороховых стержней. Трудно поверить, что вся эта пудовая штука в долю секунды превратится в ничто, в дым, в газы...

Глыба казенника, размером с паровой молот, с неожиданной резвостью поднимается на угол заряжания. Досылающий Зозуля скоро дергает рукоять и воронке — шипнув сжатым ноздрухом, рубчатый кругляш затвора отлетает вверх. Блики солнечного света, проникшего через ствол, слабо дрожат на стенках зарядной каморы.

Командир орудия лихо заваливает стакан, и черная костистая рука приборника, выскочившая вдруг откуда-то из недр заряжающего устройства, суконым кулаком вгоняет снаряд в маслянистую темень вярдадного зева. «Рука» исчезает с быстротой змеино-го языка. Миг, и вслед за снарядом Зозуля отправляет белый цилиндр, по локоть засовывая руки в реб-

ристую пасть. С жадным шипением опускается ее голстая верхняя «губа» — запирающий поршень.

— Первое орудие к бою готово!

В те же секунды все это — мах в мах — повторилось в остальных секциях башни.

— Второе орудие... Третье орудие к бою готово!

— Вторая башня к бою готова! — орет Чернецов так, что телефонисту нет нужды повторять — в ЦАПе, центральном артиллерийском посту, услышали его с места.

— Есть! — отзывается динамик.

Теперь все ждут выстрела. Точнее, команды. Почему ее так долго нет? Может, испортился динамик? Или это наводчики никак не могут взять цель?

Досылающий Зозуля опасливо поглядывает на заряженный казенник: как далеко шархнет он назад? Боевыми снарядами он стреляет сегодня впервые в жизни. Говорят, надо открывать рот, чтобы не оглохнуть.

Тревожный Зозулин взгляд блуждал по белым стенкам башни, перебегая с прихваченных в зажимах огнетушителей на болванки тренировочных снарядов, с такой нелепой здесь комнатной вешалки для противогазов — на ящик, куда складывают при входе и башню сигареты, спички, зажигалки...

— Товсы!.. Ревун!..

С коротким лязгом дергается казенник, содрогается под ногами пол. Тухлая вонь сторевшего пороха... «И все?!» — не верит Зозуля. За глухой броней выстрела почти не слышно. Но от залпа главного калибра закачался язык стопудовой рынды и шнурок звонка в адмиральском салоне, подпрыгнули на вружниках штурманские хронометры и зеленые веера ка-дочных палм в кают-компаниях...

— Заряжай!

Носовые башни блин беглым и поражение. Неистовствуют заряжающие возле замков. Товсы! Ревун! Залп! Откат... Товсы! Ревун! Залп! Откат... Шип. Лязг. Грохот...

Чернецов — комок мольбы и надежды: только бы не выбиться из темпа! Пока ни одного пропуска! Тыфу-тыфу-тыфу!.. Только бы не подвели!.. Зозуля — молодец! Как автомат. В отпуск его! Ну, еще! Еще чуть-чуть... Братишки! Милые вы мои!.. Не запнитесь!

Башня содрогалась в троекратных толчках, и не было для Чернецова ничего сладошнее, чем внимать этой дрожи... А за его спиной стоял круглолицый капитан 2-го ранга и, поднеся в боевом полумраке башни блокнот к самым очкам, торопливо записывал... И Чернецов, и Федонюк, и все, кто его видел здесь, думали, что это посредник из штаба. Но офицер — Леонид Клименко — писал вовсе не заметки к предстоящему разбору:

И снова ночью мне приснится,
Больную память опая,
Артиллерийская зарница
Над острым штевнем корабля.

¹ Основание башни.



КОНСТАНТИН
ЩЕРБАКОВ

...НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО



Один мой добрый знакомый, по профессии, как и я, критик, лет пятнадцать назад, будучи в командировке в дальнем сибирском городе, пришел в местный театр на премьеру. Спектакль ставил молодой, недавно назначенный режиссер; от того, как получится, для него зависело многое, а работа шла трудно — столько в ней было неожиданного, странного, дажестораживающего для этого театра, каким его прежде знали. Спектакль и встречи был городской прессой, управлением культуры, если не в штыки, то, мягко говоря, без всякого энтузиазма. Мою же знакомому спектакль всерьез понравился, и он на одной из официальных встреч сказал об этом прямо и определенно, а потом печатно, в газете, повторил сказанное. В последующие годы встречаться с режиссером ему не приходилось, знал только, что дела у того шли в гору, постепенно завоевывались известность, профессиональный авторитет. И вот совсем недавно, читая статью признанного мастера, а тогда, пятнадцать лет назад, отчаянного дебютанта, ничем, кроме своего таланта не защищенного, мой знакомый критик, по части известности, кстати, преуспевший не слишком, обнаружил в статье этой описание своего давнего визита в сибирский город, исполненное живой человеческой благодарности. Причем описание было детальным, подробным. У него у самого, критика, подробности и детали во многом стерлись из памяти, а вот режиссер помнил все. Помнил.

Я специально начал с совершенно рядового жизненного случая, как будто не заслуживающего упоминания, чтобы сразу задать такой вопрос: не слиш-

ком ли поспешно и категорично мы иной раз решаем, что заслуживает упоминания, а что нет? И решивши — нет, не заслуживает, — не обрекаем ли на бесследность слишком многое в своей жизни, в жизни окружающих? Вообще в жизни. Впрочем, насчет бесследности — это только кажется. Ибо ничто не проходит бесследно — ни малый поступок, ни большой, ни дурной, ни хороший, ни событие, замкнувшееся на судьбе одного конкретного человека, ни иное, затронувшее примерно целый народ. Или народы. Но понимать эту небесследность, извлекать из нее уроки, активно и целенаправленно примеривать на будущее мы сможем только в том случае, если мы будем помнить. И здесь не бывает мелочей, пустяков, такого, что, дескать, бросьте, о чем вы, что у нас — ничего поважнее нету? Всякий раз есть что-нибудь поважнее. А потом еще что-то, что куда поважнее важного. Только вот то, что кому-то кажется пустяком, мелочами... Ох, мелочи ли?

В повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой» напряженно и сильно написана сцена, когда старики и старухи буквально нападают на мужиков, приехавших в соответствии с существующим положением проводить «санитарную уборку кладбища», отбивают у них еще не окончательно порушенные дорожные могилы. Поступок, с точки зрения исполнителей акции, да и, к примеру, председателя сельсовета Воронцова, абсолютно бессмысленный, который можно объяснить и извинить только темнотой и отсталостью нападавших, их неспособностью понять, что «есть специальное постановление о санитарной очистке всего ложа нодохранлища». Ниже по Ангаре строится большая электростанция, а значит, не только остров Матёра, но и многие другие земли будут затоплены. «Семьдесят точек под переселение, и везде кладбища». И в такой ситуации — упереться при нескольких островных могилах, мешать людям, у которых времени в обрез, делать — кто ж говорит, конечно, малоприятное, но совершенно неизбежное дело?

Рассуждая так, Воронцов, товарищ Жук «из отдела по зоне затопления» не совершают ни малейшей логической ошибки. Они совершают ошибку душевную, не будучи в силах осознать, что перед ними не просто «объект затопления», но место, где покоятся деды и прадеды жителей деревни. И что работу, обусловленную специальным постановлением, они, конечно, должны были выполнить, но как-то иначе. Может быть, собрать сначала людей, по-человечески поговорить с ними. Может быть... Словом, как именно, должно подсказать понимание небесследности человеческой жизни, смысла и непрерывности человеческой памяти, если бы оно, это понимание, конечно, было. А коль скоро его не было, люди, подобие Воронцову, оказываются причастны не только к тому, что новый поселок, куда переселяют жителей, ставится бестолково, на камнях и глине, но и к тому, что нравственная почва может оказаться здесь неблагоприятной, бесплодной. Будет, понятно, построена эта электростанция, как множество других, и правильно, хорошо, что будет. Но как же при этом забыть о том, что в нее вложен труд не только сегодняшних строителей, но и тех, кто дал им

жизнь, воспитал их, и тех, кто лежат на подлежащих сносу кладбищах.

Зорек и непримирим писатель к самым разным проявлениям человеческой беспамятности. Не только к слепой и глухой деловитости Воронцова — чего стоит сцена, когда он призывает матёрищен закончить сенокос по-ударному, сроки затопления поджигают, а на дворе дождь, и все, понятное дело, видят, что дождь, и только «Воронцов, завернутый в плащ-палатку, ничего не видел и не слышал, он толковал свое». И не только к никчемности, жалкой и всесторонней бессмысленности Петрухи, готового предвзвешивать к затоплению родительский дом спать раньше срока, лишь бы деньги заплатили скорее, чтоб было на что погулять, а прогуляется — видно будет, еще что-нибудь подвернется.

Но нот, к примеру, Павел, мужик степенный и положительный, держащий дело в руках (не чета дуrolому Петрухе), понимающий, как нужна ГЭС, но не понимающий, почему новый поселок надо было ставить так несуразно, не по-людски, — Павел, в мыслях которого личная боль и государственный интерес сплетаются, взаимодействуют: «Надо — значит надо, но, вспоминая, какая будет затоплена земля, самая лучшая, веками ухоженная и удобренная дедами и прадедами и вскормившая не одно поколение, недоверчиво и тревожно замирало сердце: а не слишком ли дорогая цена? Не переплатить бы?» Или сын Павла, Андрей, — у него связи с Матёрой ослабли, он на строительство электростанции, которая деревню затопит, всей душой рвется, но на прямую заданный вопрос, неужто ему не жалко деревню, ответить с ходу не может...

Вполне достойные современные люди и к старухе Дарье, матери Павла, бабке Андрея, с уважением относятся... Только могилы свои, родовые, как ни молила Дарья, с острова, которого завтра не будет, не перенесли. Хотели, вправду, хотели, но сначала думали — успеется, а в последние дни столько навалилось дел, которые поважнее... И был еще самый последний день, накануне затопления, когда осталась Дарья на острове в темноте и тумане, с такими же, как она, кто вне Матёры для себя жизни не мыслит, и ни Павла, ни Андрея не случилось рядом в самый, быть может, тяжкий для нее час. И вот этого, похоже, не умеет простить писатель Павлу и Андрею, по всем иным статьям отдавая им должное...

Старуха Дарья — это душа Матёры, нравственный стержень ее. Каждое дерево здесь ее, каждая тропинка малейшим изгибом знакома, с детства знакома. Упорно и честно жила она свою жизнь, упорно и честно, но вот подступила старость, «и кажется Дарье: нет ничего несправедливее в свете, когда что-то, будь то дерево или человек, доживает до бесполезности, до того, что стаянется оно в тягость; что из многих и многих грехов, отпущенных миру для измоления и искупления, этот грех неподъемен. Дерево еще туда-сюда, оно упадет, сгниет и пойдет земле на удобрение. А человек? Годится ли он хоть для этого?»

Мысли, продиктованные совестью работника, как-то не задумывающегося над тем, что неустанным трудом он уже многократно и навсегда оправдал свое пребывание на этой земле. Кошущенные и бесчеловечные, исходи они, например, от Петрухи, у Дарьи они приобретают смысл философский и величественный в своей самоотреченности.

Словно столетия существования Матёры, сокровенный их смысл сошлись в характере, личности Дарьи. Деревня жила, каждый день продолжая себя, давая соки для новой жизни. Но завтра всему этому придет конец. Уйдет под воду «царский лист-

вень», который не дался поджогщикам и порубщикам, продолжал стоять, когда все вокруг него уже было пусто. В последний раз надсадно и тоскливо вззовет маленький зверек, Хозяин острова... Исчезновение Матёры под водой — это духовная кончина самой Дарьи. Она, эта духовная кончина, и написана в финале повести — написана с раздражающей аллегорической мощью.

В последней строке повести «донесся слабый, едва угадываемый шум мотора». Заблудившаяся в тумане лодка выйдет к острову, стариков вывезут, разместят в новом поселке... Но у искусства свои законы, и пером Распутина движет потрясительность этой кончиной, этим величественным уходом.

Я ни секунды не сомневаюсь в том, что Валентин Распутин не хуже меня понимает и необходимость строительства электростанций, и неизбежность затопления деревень, подобных Матёре. Но одно дело, наверное, понимать, а другое — сохранять объективность и строгость мышления при виде совершающейся трагедии. Перед лицом ее все безусловные аргументы в пользу строительства, кстати, самим же писателем выдвигаемые, уходят на второй план. А то, например, обстоятельство, что новый поселок поставлен на глине и на камнях, в общем контексте повести приобретает звучание несоразмерное, неточное. Какой-то головотяп так решил, вода стала поступать в подпольях; плохо, конечно, в Матёре сроду такого не было, но замах на некое символическое противостояние жизни от века разумной, правильной и жизни без основы, бесполоково-непрочной (а замах этот прочитывается, хотел автор того или нет) представляется явной, не на меру распутинского таланта натяжкой. А если бы поселок в удобном месте поставили, что, согласитесь, совершенно не исключено?

Кто посмеет, у кого повернется язык бросить Дарье упрек, что все ее мысли, надежды, привязанности, все жизненные силы в конце концов остались там, на гибнущем острове, что не хватает их на электростанцию, на новый поселок? Но мы-то, очнувшись от потрясения, непременно должны задуматься, что если новый жизненный уклад в новом поселке будет нравственно ущербен без благодарной памяти о Матёре, то и она ведь, Матёра, не сама по себе, а связана неразрывными нитями не только с прошлым своей земли, всей, на островах и на берегах, но и с ее будущим.

Такие вот нити, связующие порою, рвутся в повествовании Валентина Распутина, и, кажется, чувствуя это, он торопится ввести в рассуждения Андрея, Павла вполне разумные, правильные, бесспорные мотивы. Но рассуждения рассуждениями, а едва вы начинаете вспоминать прочитанное, как перед вашим мысленным взором возникают четыре старухи, старик, мальчишка, окруженные непроглядной пеленой тумана, один на погибающем острове. И так всякий раз, когда вы начинаете вспоминать. В этом — глубокое внутреннее противоречие «Прощания с Матёрой». А, быть может, один из источников ее мучительной подчиняющей силы?..

Надо полагать, не случайно в романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», так же, как и в распутинской повести, тема родового кладбища, подлежащего ликвидация, становится одной из узловых, важных, выявляющих душевный потенциал героев. Хорошо, что, преобразуя землю, строя электростанции, устремляясь в космос, мы стали больше, серьезней об этом думать.

Долгий путь проделали люди с затерянного в глубине Казахстана разезда Боранлы-Буранный, чтобы похоронить человека на родовом кладбище, и

вдруг оказалось — кладбище в пределах закрытой зоны, сцеплено проволокой, скоро его вообще не будет, потому что это район космодрома, и все здесь подчинено ему. Можно ли сохранить кладбище, нельзя ли — конечно, здесь, у пропускного пункта, этого не решить. И пропустить своей волей в закрытую зону похоронную процессию не может не только солдат-часовой, но и лейтенант, начальник караула. Однако для Айтматова чрезвычайно, быть может, решающе важно, как по-разному реагировали на происходящее разные люди. И если у лейтенанта один разговор: я лицо при исполнении обязанностей, посторонним доступа нет, детали меня не интересуют, — то солдат-часовой «проникся сочувствием», и по начальству бегал звонить, и, смущаясь, объяснял, что служба есть служба, ничего не поделаешь... То есть попросту понял, что не о пустяке, не о мелочи идет речь. Что не блажь и не каприз привел сюда этих людей, что намерения их, независимо от того, осуществимы они или нет, заслуживают уважения.

Способность к такому пониманию, способность и потребность, желание видеть дальше и глубже, чем требуют того непосредственные служебные обязанности или житейская необходимость, — отличительная черта любимых героев Айтматова. Это, как правило, люди, живущие вдалеке от столиц, от политических и культурных событий, делающие рядовое, неприметное дело и не задумывающиеся о высшем, историческом смысле своего дела и всей своей жизни. Однако сам писатель задумывается именно об этом — о высшем историческом смысле достойно прожитой человеческой жизни. Без деклараций и общих слов умеет Айтматов показать достоинство рядового труженика, соизмеримость его личности с понятиями самыми глубокими, важными, общими. И потому книги его, действие которых происходит в маленьких поселках и на дальних лесных кордонах, становятся повестями о нашей жизни вообще, о ее сложностях и закономерностях, насколько не теряя при этом в конкретности, убедительности подробностей и деталей.

В романе «И дольше века длится день» Айтматов впервые отожествляется на сопоставления прямые, открытые. Судьба Едигея, рабочего с разъезда Боранлы-Буранный, оказывается удивительным и причудливым образом связана с глобальными космическими экспериментами, предпринимаемыми ведущими державами мира.

А Едигею и старому его другу Казангапу «времени не хватало передохнуть, потому что, хочешь не хочешь, приходилось, ни с чем не считаясь, делать по разъезду всю работу, в какой только возникала необходимость. Теперь вслух вспомнить об этом нелегко — молодые смеются: старые дураки, жизнь свою гробили. А ради чего? Да, действительно, ради чего? Значит, было ради чего». Работа была тяжелой, неизменно тяжелой, особенно в годы войны, когда людей не хватало, а поезда с фронта и на фронт шли нескончаемым потоком, и обеспечить во что бы то ни стало его непрерывность было долгом рабочего на разъезде. Но спокойное негромкое сознание, что «было ради чего», одухотворяло неблагоприятную работу. И от того, что на разъезде Боранлы-Буранный живут, делают свое дело такие люди, как Едигей и Казангап, по мнению Айтматова, зависит не меньше, чем от самых важных государственных решений.

В сопоставлении с проблемами международными и космическими жизнь, каждодневность Едигея и Казангапа отнюдь не теряется, выглядит существенно и достойно. И небесследность этой жизни, этой каждодневности опирается на небесследность того,

что было на этой земле, в этих местах прежде, в очень далекие и совсем недавние годы.

...Умер старик Казангап, и людям с разъезда Боранлы-Буранный надо похоронить его. Можно где-нибудь здесь, поблизости, как предлагает сын покойного Сабитжан, который с трудом вырвался из города и спешит обратно по неотложным делам. А можно — на родовом кладбище, куда долгий и нелегкий путь через степь, — на этом настаивает Едигей. Так ли уж велика разница, стоит ли в самом деле тратить столько времени и сил, чтобы добраться до кладбища?

Самая главная, ключевая легенда в романе — это легенда о зловещих жуаньжуанах, когда-то в давние-давние времена захвативших здешнюю округу. Жуаньжуаны так изощрились в искусстве уничтожения, что нашли способ уничтожить самое живое и сокровенное из всего, что есть на земле, — человеческую память. Пленных, захваченных в боях, жуаньжуаны превращали в манкуртов, не помнящих ничего из того, что было в их прежней жизни. Полны высокой и скорбной поэзии страницы, где мать юноши, у которого отняли память, зовет к нему, чтобы он вспомнил, кто он, откуда родом, и падает, насмерть сраженная стрелой сына-манкурта...

И если для Сабитжана нет разницы, где похоронить отца — в степи неподалеку от дома или на родовом кладбище, — то для Едигея человек начинается именно с понимания этой разницы.

«— Манкурт ты! Самый настоящий манкурт! — прошептал он и сердцах, ненависти и жалея Сабитжана».

«Ненависть и жалея» — заметьте. Едигея хватало еще и на то, чтобы жалеть Сабитжана, который обделен самым важным, самым дорогим в жизни и не понимает этого, светлым, всеми средствами стремясь к преуспеянию и достатку.

В романе Айтматова люди противостоят манкуртам непримиримо, неуступчиво. У людей, которые не хотят помнить прошлого или хотят вспомнить из него только то, что им в данный момент выгодно, у таких людей нет и не может быть будущего. А есть будущее у Едигея и подобных ему. И у честного, стойкого Абуталипа Куттыбаева, павшего жертвой необоснованных репрессий, тоже есть будущее. Оно в памяти о нем. В его детях, которые не забудут об отце, постараются быть достойными его. Хотя в будущем этом, как бы счастливо оно ни сложилось, останется горький привкус утраты, которой могло не быть. И пусть останется — это справедливо и правильно. Создать достойное будущее мы сможем только тогда, когда ничего не забудем в своем прошлом — ни хорошего, ни дурного. Ибо ничто не проходит бесследно....

Однажды, находясь по служебным делам в Москве, спасаясь от дождя и коротая время до очередного совещания, Сергей Лосев, председатель горисполкома небольшого города Лыкова, зашел на художественную выставку. Там его внимание привлекла картина «У реки», привлекла тем, что изображенное на ней поразительно напоминало знакомые лыковские места. Оказалось, что автор картины — известный художник, что он действительно бывал в Лыкове и рисовал с натуры... И вот человек дела и действия, не привыкший откладывать задуманное в долгий ящик, Сергей Лосев разыскивает вдову художника и, пустив в ход обаяние простоты и душевной открытости, о котором знал и которым при необходимости умело пользовался, получает картину в дар городу. Совершая акцию местного патрио-

тизма, герой не подозревал, сколь значительные перемены в судьбе Лыкова и в его собственной судьбе будут связаны с появлением картины, каким непривычным, не ведомым ему прежде страстям она положила начало. О том, что это за перемены, как, почему они стали возможны, рассказывает Даниил Гранин в своем романе «Картина».

Лосев входит в роман опытным, хватким руководителем, многое делающим для города, искренне болеющим за его нужды. Лосев умеет угодить начальству, понравиться и не видит в этом ничего зазорного при условии, чтобы тогда, когда считает нужным, твердо настоять на своем. Одновременно Лосев хорошо знает правила игры, чувствует тот предел, переступив который, он, как председатель горисполкома, окажется вне правил, принятых в его кругу, и не переступает предела, полагая это нерасчетливым и бессмысленным. В общем, довольно, казалось бы, знакомая фигура, о подобных с некоторой долей симпатии принято говорить: не из худших, далеко не из худших, — однако писатель с самого начала дает штрихи, этой привычности противопоставляя. К примеру, акцентирует внимание на таких эпизодах жизни героя, когда он, возмущенный пустячной, казалось бы, несправедливостью, готов был нарваться на неприятности, явно с несправедливостью этой несообразные. Да и картина... Далась она ему, пристало ли тратить на нее столько времени человеку, у которого на плечах пусть небольшой, но город, со множеством нерешенных вопросов, неудовлетворенных, хотя абсолютно справедливых потребностей?

И вот, однако, далась! Картина стала толчком для некоего внутреннего движения в самом Лосеве и некоторых других героев, на такое движение способных, помогла высвободить такие возможности души, о которых они или не подозревали, или считали в себе чем-то второстепенным. Картина заставила новыми глазами взглянуть на старый дом у реки, что привлек внимание художника, на саму Жмуркину заводь, взглянуть и постепенно, трудно прийти к пониманию простой в общем-то вещи (но как часто именно простые вещи понимают ох как непросто): красота эта, коль скоро она дана людям, требует бережного и ответственного к себе отношения. Легче легкого разрушить, забыть обретенное, данное, и радостной уверенности, что многое еще предстоит получить, обрести, только будет это не что иное, как непростительно-легкомысленная неблагодарность по отношению к жизни, щедроты которой, как убеждаемся мы все чаще, отнюдь небезграничны, — неблагодарность, за которую рано или поздно придется платить без поблажек и скидок. И в этом свете вопрос о том, сохранить ли Жмуркину заводь в неприкосновенности или начать здесь строительство филиала завода вычислительных машин, так нужного городу, предстает вопросом отнюдь не пустяковым и однозначного ответа не имеющим.

Разбуженная духовная потребность не оставляла, тревожила, давала широту и свободу взгляда, и тогда выходило, что и картина, и дом, и заводь — все это отнюдь не само по себе, что это только звенья одной долгой и бесконечно важной цепи. В доме бывали люди, которые думали, работали, ошибались, страдали, которые внесли свою лепту в то, что можно назвать культурным слоем города. Слой этот создавался не только в нынешнем, но и в прошлом веке и раньше, создавался многими и многими, чьи имена и фамилии нужно сегодня помнить и чтить. В давней, дореволюционной истории города было не только дурное, реакционное, но и хорошее, нуж-

ное, то, без чего настоящее, будущее окажется ordinарнее и тусклее. Вот о чем не задумывался прежде Сергей Лосев, захваченный всяческими неотложными нуждами. В определенном смысле старый дом, Жмуркина заводь стали для Лосева тем же, чем родовые кладбища для героев Распутина и Айтматова, — внятным, не дающим пренебречь собою напоминанием: ничто не рождается в пустоте, не встанет прочно, надолго без фундамента, без корней.

Будучи человеком по натуре надежным и прочным, Лосев не бросался из крайности в крайность, не превратился, как случается, в нерассуждающего, прущего напролом радетеля старины, не перестал понимать, что и больница, и жилые дома, и филиал завода вычислительных машин — это то, без чего сегодняшним лыковцам жизнь не жизнь. Здесь основа конфликта Лосева и с юным правдоискателем Костиным Анясимовым и со стариком Поливановым. И если Костик, готовый с кулаками лезть на геодезистов, которые отнюдь не по своей инициативе пришли работать на Жмуркину заводь, и не желающий понимать всей бестолковости своих действий, вызывает у Лосева понимание и сочувствие, не свободное, конечно, от раздражения, то с Поливановым сложнее, гораздо сложнее.

Яростный, решительный, непреклонный, Поливанов был одним из тех, кто, не щадя сил, утверждал в Лыкове революционную новь, великие надежды и преобразования были смыслом его жизни, его работы. Но он же, комиссар Поливанов, сжигал на костре старые иконы, церковные книги, которым нет цены, и еще совершал поступки, которые тогда в его глазах, в глазах многих окружающих не вызвали сомнений, а сегодня представляются ошибками, драматическими издержками исторического процесса. Не в силах об этом забыть, не успокаивая себя мыслью, что полезное, нужное в его жизни преобладало, Поливанов отстаивает сегодня Жмуркину заводь с той же яростной безоглядностью, с какой когда-то бросал в огонь старые рукописи. Этот душевный непокой, конечно, заслуживает уважения, но он заслуживал бы уважения куда большего, если бы с годами обрел Поливанов душевную мудрость, способность слушать других людей и понимать их аргументы. При том, что направленность действий Поливанова стала прямо противоположной, сложную и яркую его натуру отличает некая внутренняя остановленность, косность. Глухота к нуждам живой, пульсирующей действительности, многим и разным, может проявляться в обожествлении прошлого столь же успешно, как и в сокрушении его.

Бороться за Жмуркину заводь до конца Лосев решается только тогда, когда находит новую площадку для филиала, новый, более удачный вариант стройки. Но старый вариант утвержден слишком многими инстанциями, и, значит, слишком многим пришлось бы признаться в недосмотре, ошибке — еще одна разновидность внутренней остановленности, косности возникла на пути Лосева. Ему предстояло нарушить установленные правила игры, и Лосев, каким мы видим его в конце романа, идет на это, не колеблясь. Сначала своей властью отменяет работы, которые уже через несколько часов должны были начаться на Жмуркиной заводи, а потом, когда стечение обстоятельств заставило заподозрить его в кариеризме, в личной корысти, отказывается от предложенного высокого назначения и вовсе уезжает из города. Принять бы ему эту должность, на которой много хорошего можно было сделать, ведь сам-то Лосев знает, что он не корыстолюбец и не

карьерист. Но жить, не опровергнув подозрения, неся на себе его груз, он не мог...

Последние страницы романа возвращают нас в Лыков некоторое время спустя. Все здесь так, как хотел Лосев, к чему стремился, преодолевая множество, казалось, непреодолимых препятствий: и музей создан, и филиал завода мирно сосуществует с Жмуркиной заводью. Только вот Лосева мало кто помнит: да, вроде был такой, куда-то уехал... Финал прямолинейен, декларативен, но вдумавшись в его смысл.

«Выломившись» из правил игры, Лосев добился того, что тогда казалось почти нереальным, а сегодня представляется естественным и нормальным. Если бы не тогдашняя отчаянная решимость Лосева, не было бы этой сегодняшней естественности и нормальности. Кто-то должен быть первым, кто ломает устаревшие правила и воочию покажет, что основы, суть нашей действительности дают гораздо больший простор для инициативы и творчества. Но для того, чтобы не начинать думать и понимать с нуля, будто никто до тебя не понимал и не думал, когда в новых обстоятельствах придут новые проблемы — а они придут, и будут посложнее, чем проблемы Жмуркиной заводи, — надо по меньшей мере помнить, что первым, кто встал на защиту этой самой заводи, был председатель горисполкома Сергей Лосев. Помнить. Многих ошибок удастся избежать, если ту истину, что ничто не проходит бесследно, мы не будем при каждой очередной оказии открывать для себя заново.

В романе «Выбор», как и в предыдущем, в «Береге», Юрий Бондарев опять-таки сопоставляет, сплетает в тугой, неразрывный узел разные временные пласты, разные эпохи: сегодняшняя мирная жизнь героев и их прошлое, годы войны. Чем больше проходит времени, тем беспощаднее, драматичнее предстают эти годы в книгах Бондарева. Писатель открывает нам моральные ситуации, захватывающие своей трагической неразрешимостью, когда нет простого, однозначного «или-или», когда одно фронтовое мгновение обрушивает на человека бесцельное множество этих «или», оставляя его один на один со страшной громадой войны.

Именно в такой ситуации оказались два молодых офицера, Володя Васильев и Илья Рамзин, друзья еще по московской школе. А точнее, она, ситуация эта, дала Васильеву хоть чуть-чуть, хоть немного пощады, не поставила перед необходимостью крайнего выбора, всей своей тяжестью обрушившись на Рамзина. Когда они, обвиняемые в трусости, не виноватые и все же чувствующие себя виноватыми, приступили к выполнению приказа, почти не дававшего шансов вернуться живыми, Владимир должен был оставаться в прикритии, а Илья уходил за последнюю черту — туда, в расположение противника, чтобы отбить оставленные орудия, которые по нормальной логике боя отбить было нельзя. И рядом с ним туда же и с той же целью уходил его смертельный враг, уловивший, некогда и донощик старшина Лазарев. Тогда, как был уверен Васильев, он видел Рамзина в последний раз. Через много лет оказалось: нет, не в последний.

В мирной части романа мы застаем Васильева крупным, заслуженно известным художником, переживающим глубокий творческий кризис и не менее глубокий кризис во взаимоотношениях с женой и дочерью, самыми любимыми, самыми дорогими людьми. Появление Ильи, выжившего, все эти годы прошедшего за рубежом, обострило душевное состояние Васильева до предела, почти до физического заблуждения.

Бондарев пишет драматизм человеческой будничности, утверждая нас в мысли, что бывают обстоятельства, когда внутренний накал его оказывается не меньшим, чем открытый накал драматизма военной поры. Ничто не переменилось, не списалось со счета за давностью лет, стоило только коснуться, тронуть будто бы отошедшее... Возникновение из небытия Ильи Рамзина заставляет Васильева опустить мучительно, наново, что не случайно именно Илья, а не он оказался тогда первым — перед конечным выбором, у смертной черты. Не случайно, потому что Илья всегда был первым, а Владимир вторым — и в юношеской их дружбе, и в соперничестве за Марию, ставшую после войны женой Васильева, и на фронте, когда незадолго до того последнего боя именно Илье, по праву лучшего, доверили исполнять обязанности командира батареи. И в Марии смятении и больно отозвалось прошлое; оказалось, она ничего не забыла, и дочь Вика, совсем юной пережившая свою тяжелую драму, ощутила на себе холодное и властное обаяние, которое продолжало исходить от личности Ильи Рамзина. Сокрушительно, грозно вступило прошлое в нынешнюю жизнь Владимира Васильева и его близких.

Делая нас участниками внутреннего спора между Владимиром и Ильей, свидетелями их духовного противостояния, писатель ни на мгновение не поддается соблазну в чем-то облегчить положение героя, которому глубоко симпатизирует, которому, видимо, отдает какие-то из собственных сокровенных мыслей. Более того, Бондарев, как мне кажется, несколько даже искусственно создает стечение субъективных обстоятельств, которые в данный конкретный момент лишают Васильева существенных аргументов. Но эта суровость, это почти безразличное неприятие какого бы то ни было прекраснотушного дают писателю моральное право очертить контуры основного конфликта столь же непреклонно и резко.

Не поставленный тогда у последней черты, Васильев потом много раз... Да что много раз, — он потом, наверное, каждый день своей жизни делал выбор, делал сам, иногда ошибаясь, и жестоко, но только неизменно в соответствии со своей внутренней правдой, по совести. И это определению приводит к мысли, что, окажись он, а не Илья, у последней черты той ночью, выбор Владимира тоже определили бы правда и совесть. Неразрывна связь настоящего с прошлым, и по тому, как поступает человек сегодня, можно с немалым основанием предположить, как бы он поступил вчера в обстоятельствах, которые тогда не случились, но могли случиться.

А Илья... Сегодняшний Илья, уже решив умереть, рассказывает Владимиру, как перехитрил смерть, выжил. Он убил Лазарева, и — вот где нельзя не поразиться бесстрашию писателя перед лицом трагической реальности — вы не осуждаете самый факт убийства, вам представляется, что и вы, сведи вас судьба в таких обстоятельствах с таким Лазаревым, вы бы тоже, тоже... Роковыми для Ильи оказались мотивы, заставившие нажать на спусковой крючок. Уже решив сдаться в плен и понимая, что Лазарев принял такое же решение, Рамзин понимал и то, что при сложившихся отношениях вместе им в плену не жить. И если не он Лазарева, то Лазарев его, сейчас ли, потом... В момент выбора он, по главному жизненному счету, поставил себя с презираемым им мерзавцем на одну доску, и потом уже не сойти было Илье Рамзину с этой доски.

Почему так произошло? Почему? Да можно ли исчерпывающе истолковывать, как ломается человек, брошенный в самую крайнюю крайность? Но вот

это юношеское безоглядно-упорное, самоуверенное, холодно-жестокое и честолюбивое первенствование, из-под гипноза которого до сих пор не может освободиться умная, чуткая, совестливая Мария, которое и в Васильеве отзывалось прежде, отзывалось и теперь... Но человеку должно хватать душевной культуры, чтобы чувствовать, что иногда, конечно, стремление отличиться, выделиться несет в себе заряд созидательный, плодотворный, иногда надо потесниться и не быть, или скажем так — не лезть первым. Кажется, в юности Илья никого не толкнул, никого не обидел своей безоглядностью. Но задумался ли хоть раз о том, что может толкнуть и обидеть? И если сегодня Илья так бесцеремонно, безжалостно вламывается в жизнь Васильевых, целиком ли, стопроцентно ли это порождение на чужбине, без родины прожитых лет. Из черт и свойств, оттенков и черточек, складывавших характер юного человека, что-то уступало, что-то перевешивало, но ничто не растворялось в пространстве. И случились обстоятельства непоправимые, жуткие — и то, что уступало, не развилось, попросту не замечалось, вдруг рвануло наружу, тягостной мутой заливая все остальное: я лучший, я первый, кому же, как не мне, жить, жить, жить...

Поступок породил если не философию, то взгляды, которые Илья внушал окружающим, а прежде всего себе, и согласно которым в этой паршивой жизни человек лишен возможности самостоятельно выбора, — нечто всеисильное и страшное, «лохматое, звездное, далекое» нечто совершает этот выбор за него. Был кошмар плена, а потом были долгие, тусклые годы, наполненные внешним преуспеванием там, за рубежом, когда сильный, победительный, рожденный для удачи Илья Рамзин терял, терял, терял себя, и его путь был не жизненным путем, а путем к смерти. И пролегал он между той давней ночью, когда Илья должен был умереть достойно, как подобает солдату, и этой ночью в московской гостинице, когда он предпринял последнюю попытку совладать с кричащей, незаживающей совестью. Попытку без надежды и без исхода. Так и не удалось Илье Рамзину убедить себя, что это не он, а нечто «лохматое, звездное, далекое» предало Марию, мать, родину. «Простите! Простите! Простите!» — иступленный крик, многократно повторенный на подвернувшейся под руку газете и в предсмертном письме вскрывшего себе вены Ильи. Простите... Но что сделаешь, если приехавшая на кладбище мать не нашла в себе сил выйти из машины, чтобы проводить сына в последний путь?

Поймет ли Мария, в которой не умерло чувство к Илье, поймет ли Вика, в которой Илья увидел повторение Марии, поймут ли они, что его внутренняя уверенность и покой, к которым их властно потянуло, которых им так не хватало, были уверенностью отчаяния, безысходности, кладбищенским, смертным покоем? Сумеет ли Васильев разрешить мучающую его творческую неудовлетворенность, воплотить в искусстве боль души, неотделимую от ее поиска, сумеет ли вернуть близость жены и дочери, без душевной святости с которыми он своей жизни не мыслит?

Нет дня сегодняшнего без дня прошлого. Но как бы ни было болезненно вторжение этого прошлого в души Васильева и его близких, жизнь не может остановиться, кончиться этим вторжением. Она, жизнь сегодняшняя, бесценная, ценность сама по себе, она мудра и сильна и не даст превратить себя только в отблеск того, что было, не окажется от него в роковой, безысходной зависимости. Выбор Владимира Васильева — неустойчивое, мучительное житиетворчество. Выбор Ильи Рамзина — забвение на тихом подмосковном кладбище, милосердие принявшем русского чужестранца. «Никакого следа я не оставил после себя на земле», — горько признается Илья в предсмертном письме. Все отзывается, ничто не проходит бесследно? Недостойно прожитая жизнь, предавшая себя, свое прошлое, может отзываться забвением.

Вступление в жизнь — это поиск себя, он чреват метаниями, ошибками. Нельзя считать их чем-то чрезвычайным, заслуживающим лихорадочного битья в набат. Но и благодушная присказка «кто не ошибается в молодости?» начинает с годами представлять мне не благодушной, а равнодушной. Как бы усыпляющей, увиливающей от сути. И не потому, что вводит она в заблуждение, будто бы в молодости мало кто ошибается... Да нет, немало. А потому, что каждая ошибка, большая ли, малая, нуждается в исправлениях, в преодолениях этих выковывается личность. Многое, решающее многое зависит от способности сознать постоянно и неуклобно, что за каждую ошибку, в том числе и разрешившуюся плодотворным накоплением душевного опыта, все равно надо платить, что каждый поступок, даже такой, о котором ты совершенно искренне и думать забыл, все равно скажется, отзовется. Дурной поступок или хороший. Дурно или хорошо, скажется.

Еще принято говорить: «У молодости все впереди». Но с каждым годом и позади остается что-то, и, значит, впереди уже не все. Так что же осталось там, позади? Хорошо бы, чтобы меньше безответственных решений, легкомысленно убитого времени.

Ведь ничто не проходит бесследно.

¹ Произведения, о которых шла речь в статье, вышли в следующих отдельных изданиях:

В. Распутин «Прощание с Матерой» — в книге «Повести» М., «Молодая гвардия», 1980.

Ч. Айтматов «Буранный полустанок» («И дольше века длится день») М., «Молодая гвардия», 1981.

Д. Гранин «Картина» Л.-д., «Советский писатель», 1980.

Ю. Бондарев «Выбор» М., «Молодая гвардия», 1981.



АЛЕКСАНДР
КАМЕНСКИЙ

ПОД ЗНАКОМ ИСКАНИЙ



Это была одна из самых интересных и спорных выставок последних сезонов. Над экспозицией произведений 23 московских живописцев, скульпторов и графиков, расположившейся в обширных помещениях Дома художников на Крымской набережной Москвы, витал ореол дискуссионности. Причем стилистические проблемы были на этой выставке относительно второстепенными. И это также одно из примечательных ее качеств. Стилистика тут подчинялась особенностям концепции жизни, своеобразной трактовке проблем истории и современности.

При первом знакомстве с выставкой могло показаться, что представленные на ней произведения очень разных и ярко оригинальных мастеров собраны вместе по чисто внешнему признаку принадлежности авторов к одному поколению, вышедшему на художественную арену в семидесятые годы. А так — сплошные контрасты. Снабжем, тонкая лирическая живопись Ирины Старженецкой соседствует с озорными, иногда близкими к лубочной балаганности полотнами Ксении Нечитайло. Рядом с хрестоматийно-музейным гладкописцем Вадимом Дементьевым — мечтательный Евгений Струлев, чуть дальше — эксцентричный Борис Кокейшвили. И так далее.

Но, пройдя раз другой по длинным выставочным аллеям, зритель начинал ощущать, что какая-то глубинная, не бросающаяся в глаза общность есть у большинства показанных здесь вещей.

Прежде всего это драматизм мировосприятия. Нет, не мрачность, не угнетенность чувства, но постоянное душевное напряжение. Именно драматическая динамика чаще всего оказывалась на выставке ведущим мотивом произведений, и через него осуществлялся сложный путь к позитивным итогам. Это какой-то стихийно найденный, но по своему глубоко оправданный строй современной образной психологии. Он с несомненной очевидностью противостоит легковесности «улыбчивых» изображений жизни.

Еще одна характерная черта выставки: обостренное чувство истории, постоянные и многочисленные диалоги с прошлым. Его образы как бы вливаются в наши дни; иные из современных переживаний и размышлений выражаются историческими коллизиями и аналогиями. Очевидно, что во всем этом отразилось острое развитие исторической памяти нашего общества.

Наонец, выставку буйно захлестывала игра стихий инскажений, уподоблений, условных приемов. Зритель втягивался в сотворчество, авторы доверительно обращались к его воображению, фантазии. Пассивность восприятия при этом исключается.

В отличие от обычного живописца не была на выставке единоличным лидером. Пожалуй, даже некоторые тенденции получили наиболее явное выражение в скульптуре, представленной в экспозиции работами таких талантливых мастеров, как Л. Баранов, В. Клынов, И. Савранская, В. Соскин, П. Чусовитин.

Особое положение на выставке заняла многофигурная композиция Леонида Баранова «Пушкин». Замечательно интересная вещь! Начать с того, что автор создал новый жанр скульптурно-сценического представления. Чтобы охватить его общий вид, зритель должен был встать посреди некоего сложнопостроенного амфитеатра. И тогда его взгляду открывалась скульптурная повесть о пушкинском эпохе. Витая колонна в центре с ее стремительным, резким вращением — необходимая пластическая деталь, задающая общую интонацию острого, напряженного душевного беспомощия. Пушкин предстает на этих историко-художественных подмостках чуждым, в различных аспектах образа. Человек своего времени, мыслитель, поэт, жертва мрачной и подлой травли. Точно так же расслаивается образ Натальи Николаевны — возлюбленная, муза поэтических вдохновений, знатная дама, ослепленная светом и мишурой «высшего света». Мертвящая деталь — входит в композицию тупо-окостенелая фигура Николая I. Из некоего далека наблюдают за пушкинской судьбой взволнованно-самозабвенный Гоголь, смятенный Достоевский, чей лик неожиданно влетен в орнаментную напильку витой колонны. Такое отступление от классического принципа единства времени и действия создает особого типа хронологический разворот действия, чья эстафета долетает и до наших дней; зритель-современник ощущает себя впрямую сопричастным к изображенной драматической ситуации. Да и общая илассичность скульптурной формы здесь заметно преобразована динамичной лепкой многих деталей. Словом, в современности тянутся все внутренние линии композиции. Проблема Пушкина предстает здесь как нравственная и социальная проблема всей русской общественной и духовной истории.

И у другого участника выставки — скульптора Вячеслава Клынова — есть своего рода пластическое чувство истории. В его произведениях, все, так сказать, художественная инструментовка, все дыхание скульптуры меняется в зависимости от исторического содержания образа. Каменная баба с кожом в руке — это воплощение слепой бездуховности, сильной, но злобной животной плоти. И масса скульптуры — грубая, дремотная, грозно зажатая своей окостенелостью. Как решительный контраст к этому мрачному, тягучему «сну разума» выглядел в экспозиции портрет композитора И. Ф. Стравинского, построенный на легчайших асимметрических сдвигах, играющий множеством переливов светотени, прокинутый отголосками сложных душевных движений. Убедительное портретное сходство сочетается тут с прекрасным воплощением интеллектуализма XX века.

На смене нескольких исторических точек отсчета



Е. СТРУЛЕВ.

Сенокос. Отдых.

По залам выставки произведений группы
московских художников, 1981 год.



А. ВОЛКОВ.
Мелодия.



Н. НЕСТЕРОВА.
Метро.

**А. ПЕТРОВ.
У восточной
кромки.**



**И. ПРАВДИН.
Первый тост —
Пиромани.**





Т. НАЗАРЕНКО.
Новая работа
(в мастерской
скульптора).
Фрагмент.



К. НЕЧИТАЙЛО.
Охотники
на диване.

построен и кыковский портрет Владимира Высоцкого. Прежде всего зрителю открывается грубоватомужественный характер человека с легко раинимой душой, словом, тот психологический облик, который связывается в нашей памяти с ролями и песнями этого артиста, поэта, современного барда.

Но этому образу скульптор придал некий илассцизированный оттенок. Поначалу кажется странным, для чего бы Высоцкого, так плотно и неотрывно связанного с жизнью наших дней, певца, чей хрипловатый, богатый ироническими и доверительными интонациями голос и поныне у нас на слуху, приобщать к античности, рядить в какое-то эллинистическое одеяние? Но, очевидно, этот условный прием понадобился автору для того, чтобы поместить образ на известной дистанции от сегодняшнего дня, связать его и с прошлым и с будущим, возмечь ореол легенды, которым В. Высоцкий и сейчас уже несомненно окружен.

На выставке все было обращено к современности. Но иносказания, притчи, другие формы условно-ассоциативных образов тут преобладали. Иногда художники создают особый мир, ясно связанный с жизнью наших дней, взявший из нее все свои реальные детали, но все-таки метафоричный; современные ситуации, переживания, размышления предстают тут в неожиданном и непривычном свете.

Картины-притчи Евгения Струлева живут фольклорными началами. Но это не стилизации под умильную патриархально-крестьянскую старину, в которых всегда есть что-то нарочитое, если не поддельное. Живописец стремится к иному: увидеть современность глазами подлинного народно-художественного чувства с его глубиной, философской лирикой, с широкими отставлениями общего течения жизни и поворотов отдельной судьбы, человека и мира. Как важно понять, что народность исторична, что она вовсе не прикована намертво к одним и тем же формам, приемам, мотивам! На мой взгляд, главная привлекательность картин Струлева в том и состоит, что он находит для своих композиций точное и убеждающее соединение традиционной и современной образности.

Пожалуй, зрителю труднее добираться до сути живописных иносказаний Натальи Нестеровой.

Очень непросто определить их стилистическое происхождение. Вспоминаются самые разнородные источники — «праздники любви» Антуана Ватто, арлекинады Константина Сомова, произведения «примитивов» нынешнего века. А вместе с тем перед картинами Нестеровой возникают живые аналогии с поэтикой театра кукол, получившего за последние времена огромную популярность. И ведь не случайно: этот жанр способен создавать завершенно-условную модель мира и в его рамках с обескураживающей простотой трактовать сложнейшие проблемы жизни времени.

Так и у Нестеровой. Ее причудливые композиции балансируют между сходством и несходством. Изображаются всем известные места — станции метро, улицы городов, сады, террасы кафе; да и сюжеты тут немудреные — пирушки, зрелища, прогулки и т. д. Но видно, что автор «сразу смазал карту будня». Пейзажи и интерьеры в картинах Нестеровой никогда не воспроизводят в точности натуру — всякий раз это свободные импровизации: они лишь намекают на конкретные мотивы, которые, однако, изменены и перетолкованы, стали зрелищем, ничуть не срывающим свою артистическую, игровую природу. Персонажи картин — условные типы, маски, на просцениуме, которым поручено своим присутствием обозначить какое-то действие. Однако же это не манекены, а символические носители чувств и мыслей. Чаще всего они милы и трогательны, на свой лад одушевлены — веселятся, печалются, размышляют. От странных условий происходит органичный переход к живой и убеждающей поэтичности. Так складываются театрализованно-романтические иносказания о жизни наших дней. Они отличаются неподдельной сердечностью и музыкальностью. Если и этому добавить, что у Н. Нестеровой очень тонкое ислористическое дарование, что ее полотна отмечены богатой и радостной декоративной красотой, то станет ясным, что ее романтизм не только своеобразен, но и обладает увлекающей художественной силой.

Особого рода современным романтизм есть и в картинах Татьяны Насиповой. Но именно «особого рода». Спокойная, мягкая ирония Нестеровой, ее мечтательность, светлые живописные переживания выглядят бы странной музейной архаикой в художественном мире Насиповой. Она чаще всего изображает характерные интерьеры нынешнего времени с их открытыми анимированными красками, жесткой графичной линией и форм, с их вьезшей во все поры повседневности техничностью. И вот эту-то сухо-аскетическую синтетичность живописец стремится переиначить,

одушевить, увидеть поэтическим зрением, чтобы вернуть отчужденным и скучным вещам обаяние человечности. Рядн этого Насипова стремится придать игровой характер комбинациям деталей, которые взяты из окружающей нас повседневности. В ходе такой игры эти детали становятся забавными, привлекательными, несущими отсвет людской жизни. Удастся ли с помощью подобных приемов, отказываясь при этом от традиционной живописности, высечь искру творческого духа из стандартных элементов технической цивилизации? Путь избран трудный и рискованный, ибо чрезвычайная ограниченность палитры, холодность письма придают «современному романтизму» Насиповой какой-то холодный, скулы сводящий привкус. Но, может быть, даровитый мастер найдет какие-то еще неведомые пути к новой живописности, получившей опору в предметной сфере нынешних времен?

Вокруг этой проблемы движется искательская мысль и некоторых других участников выставки. Сложная и острая задача! Ведь наши живописцы и графика часто оказываются как бы в молчаливой оппозиции к предметной среде современности. Эту среду либо обходят (о, сколько же их продолжает появляться, пейзажи, жанры, натюрморты, написанные так, словно их авторы живут столетие тому назад и готовы даже «пар и электричество» считать сомнительным новшеством, чуждым искусству), либо стремятся подчинить стародавним художественным вкусам, заимованным в свое время, но сейчас уже неспособным освоить и выразить ритмы, формы и краски времени, его духовный строй... В таких случаях само понятие красоты оказывается неприложимым к атомной технике, реактивным двигателям, космическим полетам, и новому облику городов и сел. Но ведь от этого никуда не уйдешь! И можно понять Александра Петрова, когда он в своих картинах словно бы «наплывом» и с резкой, документальной точностью воссоздает кадры современной городской жизни. В этом есть оттенок явного вызова. Мол, сколько же можно утыкаться в березки, полянки, избушки — иное мы видим перед собой; вот это, вот так, и не иначе! Смотрите, не отворачиваясь, без скептического прищуря! Еще Маяковский сказал: «Дайте нам новые формы!» — несется волею по вещам». Новые формы и новые вещи, новая техническая и городская среда давным-давно уж возникли, почему же изобразительное искусство так упорно их «не видит»?!

Вот и пытаются увидеть. На выставке немало тому примеров. Графики Ольга Гречина, Борис Смертин создают причудливые космические фантазии, сложно-ассоциативные построения, в которых впечатления сегодняшней жизни, предметные детали современного мира, воспоминания, мечты, проециции будущего смешиваются, наслаиваются друг на друга, как обрывки сновидений. Это словно бы срезы духовной жизни человека наших дней.

Вроде бы очень близок Петрову Андрей Волков. Он также резко кадрирует свои композиции, посвященные жизни современного города, также показывает — остро и броско — аскетическую скупость его форм и красок, жесткую чертностью контуров и перспектив. Однако Волков не щеголяет холодной технизованностью как модным фасоном жизнеощущения. Он воспринимает ее как среду повседневного, которая день ото дня обнаруживает обж и в ш и х ее людей. А живет она напряженно и сложно, и этой мужественной, серьезной драматичностью проникнуты полотна Волкова. Пожалуй, он больше, чем кто-либо из его сотоварищей по выставке, следует известной традиции «сурового стиля».

Эта традиция связана с именами многих мастеров — знаменосцев творческой молодежи 50—60-х годов. Среди них — Н. Андронов и Г. Корнеев, П. Никонов и Т. Салахов, А. Васнецов и И. Обросов, В. Иванов и М. Савицкий, В. Попков и Э. Илтнер, М. Аветисян и И. Зарин, братья А. и П. Смолины и Т. Нариманбеков, И. Попов и П. Оссовский... Замечу, что давно уже ставшее привычным и общеупотребительным определение «суровый стиль» (оно, кстати сказать, и прозвучало-то впервые на страницах «Юности» еще в 1961 году, № 7), конечно, очень условно и одномерно. В работах названных и неназванных художников — творческих лидеров тех десятилетий — очень широкий диапазон жизненных красок. Героическое начало сплетено в произведениях этих мастеров с искренней и тонкой лиричностью, сосредоточенные философские размышления — с темпераментным, романтическим переживанием красоты и радости бытия. Эта широта чувств и мыслей служит добрым примером для художников нынешних поколений.

Вот Виктор Калинин. В своей драматической энергии он идет прежде всего не от сюжетных ситуаций, а от музыкального переживания жизни. Любая из его композиций — это поле высокого, живописного напряжения, которое своей смятенной экспрессией вьнушает

зрителю чувство взволнованности и душевной страсти. Иногда живописный темперамент как бы захлестывает мастера, и он сбивается на «святое косноязычие» сумбурных всплесков красок. Но тогда Калинин удается достичь пластической и смысловой ясности — в таких вещах, как «Сон», «Старик с доской», «Александр Блок», — он соединяет общее поэтическое мироощущение с конкретностью идеи и образа; при этом романтический порыв художника обретает определенность речи.

Сходные размышления возникают и перед виртуозными графическими листами Кирилла Мамонова. Его работы — это видения потрясенного взора. Простейшие натурные сюжеты преобразуются в его композициях, где бушуют какие-то могучие тайные силы, ломая и перенашивая формы, наполняя изображение яростным эмоциональным напором, даже кажимым магнетизмом. Если бы направить весь этот поток чувств в определенное образное русло, дать им внятный «глагол»! Тогда искусство Мамонова сможет зазвучать на пророческий лад!

Ах, эта мудрая внятность, эта прозрачно-ясная открытость образа! Как они желанны и как их недостает порой даже самым даровитым мастерам!

Ведь вот, например, эффектные декоративные импровизации Александра Ситникова захватывают своей живописной выразительностью. Но предметные элементы и фигуры порой почти растворяются в этой бурно плещущей стихии красок. И смысловая определенность еще как-то не сформировалась из туманностей их «млечного пути». Аллегорические структуры — все эти быны, петухи, обрывки фигур, плывущие в зыбком цветном мареве, — туманны и расплывчаты, иногда кажутся внешне наложенными на декоративные феерии. Что значат эти аллегории, какие истины стремятся уразуметь и раскрыть? Машинописные пояснения автора насчет символического противоборства сил прогресса и реакции, пожалуй, остаются в плане декларации: художнику еще предстоит найти убеждающий «модуль перехода» от смутных ассоциаций к завершенной логике образов. То же можно сказать и о театрализованных притчах Ольги Булгаковой. Их фантазия богата, чувство душевного напряжения выражено в них остро и причудливо. Несомненно, что художник обладает своеобразным зрелищно-режиссерским талантом. Вереницы реальных и условных персонажей, странных масок, театральных фантазий проходят на арене полотен Булгаковой в мастерски организованном, сценически выразительном действии. Но эти полотна относятся к жанру «писем без адреса» — их сквозная внутренняя тема не ухватывается, быть может, ее просто нет.

Все же и в таких произведениях есть свое большое обаяние. Позция зрелищности, таинственная и эксцентричная, способна увлечь сама по себе.

Еще ценнее, когда она соединяется с глубинным ходом художнической идеи, с реальной сложностью мысли. В таких случаях и новизна подхода ниюгда не кажется претенциозной — она имеет свое очевидное основание, закономерно порождая неоднозначность образов. Произведения подобного рода составили костяк выставки 23 московских художников.

Такой неоднозначностью отличаются лучшие из произведений Татьяны Назаренко, включенные в экспозицию выставки. Эти произведения вобрали в себя весьма характерные тенденции.

Картина Т. Назаренко «В мастерской» — это размышление об особой роли искусства в наши дни. Перед нами нечто вроде новой вариации древнего мифа о Пигмалионе. Сам-то скульптор тут почти не привлекает внимания — он недвижим и безгласен в своей глубокой задумчивости. Зато созданные им образы оживают и начинают вести себя как реальные персонажи текущей жизни. Вся композиция построена на сложной игре переходов от замыслов и прототипов и законченному художественному воплощению. Автор стремится уловить в живых моделях черты будущих произведений, а в застылой плоти уже готовых скульптур как бы продолжающуюся жизнь реальной натуры. Эта игра обострена повторенными несколько раз автопортретными мотивами. Вообще рубежи действительного и воображаемого тут размыты: между двумя этими категориями устанавливается тайное и странное взаимодействие. К этому добавляется еще одна настойчивая тема — тени и отзвуки прошлого входят в наше сегодня, становятся его прямыми и непосредственными участниками. Так утверждается некое четвертое измерение нашей духовной жизни — творческая фантазия, которая, вырываясь из ряда очевидного и непосредственно-зримого, становится и фоновым и действующей силой повседневности, приобщая ее к миру поэтического преображения, а также к давним эпохам.

С таким концепционным строем связана и историческая живопись Т. Назаренко. Она не сочиняет прилежных иллюстраций к общеизвестным фактам исто-

рии и вообще находит возможным смещать времена и связи событий (вспомним о более ранних ее вещах — «Казнь народолюбцев» и «Декабристы»). Не такая-то замкнутая в себе историческая сцена, но воспоминание и размышление нашего современника о прошлом — вот ее исходная позиция в трактовке жанра.

Она ясно ощутима и в новом полотне художника — «Пугачев». Сюжетная завязка тут заимствована из пушкинской «Истории Пугачева», где, в частности, рассказывается о том, как А. В. Суворов, получив «высочайшее повеление», сопровождал пленного Пугачева из Янцигского городка в Симбирск. Что говорить, этот исторический фант полон горечи: один народный герой вел другого на смертные мучки. Зачем бы теперь и тревожить память об этой трагической иллюзии?

Именно потому, что она трагична и ее уроки содержат свою мудрость. История развивается сложно, и одними лишь черно-белыми сопоставлениями зачастую не раскроешь ее сути. Высокая историческая живопись это всегда чувствовала. Вспомним, например, гениальное «Утро стрелецкой казни» В. И. Сурикова, где в непримиримом конфликте сталкиваются две правды — Петра и стрельцов — и каждая имеет своим глубочайшим жизненным основанием.

Назаренко, вспоминая классические примеры, показывает один из таких горьких и мучительных исторических фактов. Автор стремится его понять, как бы беседа с прошлым.

Перед нами возникает вовсе не «картинка истории», а некие ее фрагменты, сложно и разнопланово сопоставленные в воображении нашего современника. Шеренги солдат на первом плане — это сличение слепого исторического инерции. Они механически шагают, бездумно выполняя чужую волю.

Погруженный в сосредоточенное размышление, Суворов существует как бы отдельно от них. У него своя судьба, свое предназначение. По сути дела, он оказывается вне контекста всей этой ситуации, соприкосновение с которой для него случайно и нелепо.

А для Пугачева с его яростным, мятежным порывом образуется еще одно, совершенно особое временное и эмоциональное измерение. Инстинктивно чувствуя боль и страдания угнетенного народа, он пытается взорвать рутину несправедливости. Но он резко опережает возможности времени, его медлительную логику. И потому его порыв не находит отклика, он переживает трагедию непонятости. Глубина этой трагедии тем и подчеркнута, что в рамках изображенной эпохи оставалось затуманненным высшее оправдание подвига Пугачева. Оно ясно нам, людям совсем иного исторического горизонта.

Как примечательно, что наше искусство все чаще вносит в жизнь наших дней отсылки и отголоски далекого прошлого, вплетая их в самую животрепещущую актуальность. Вновь вспоминается Пушкин — «и старым бредит новизна»...

Ведь, собственно, вся выставка 23 московских художников — это «новизна», которая «бредит старым», напряженно ищет живые, органические соотношения и с далекой классикой, и с внутренней традицией советского искусства, и с духовным опытом всего человечества.



НАЧАЛО

24 февраля 1982 года исполняется 90 лет со дня рождения Константина Федина. По книгам, фильмам, спектаклям и телеспонкам хорошо известны его романы «Города и годы», «Братья», повесть «Трансвааль», историко-революционная трилогия «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер», книга воспоминаний «Горький среди нас»...

Перенявший высокую эстафету литературной традиции от мастеров русской классики, Константин Александрович Федин был одним из зачинателей и строителей советской художественной культуры. В течение долгих лет он возглавлял Союз писателей СССР. Исключительно много сделал Константин Александрович для воспитания литературной смены. В Литературном институте имени А. М. Горького до сих пор живут легенды о знаменитом фединском семинаре...

Но как пришел в литературу сам будущий мастер, как начал свою писательскую дорогу? Об этом рассказывает Юрий Оклянский в отрывке из биографической книги в серии ЖЗЛ «Федин», готовящейся в издательстве «Молодая гвардия».

К. А. Федин в годы гражданской войны.
Фото М. Нанпельбаума.

Это было трудное время... — вспоминает Федин в последней своей «Автобиографии» с зиме 1918—1919 года, — голод давал себя знать слишком сурово. Вскоре мне представилась соблазнительная возможность работать хотя бы в провинциальной печати, и я поехал в начале 1919

года на Волгу, в Сызрань. Здесь, при отделе народного образования, мной был основан небольшой литературный журнал, где печаталась местная советская молодежь и некоторые «писатели из народа»... Я редактировал газету «Сызранский коммунар», работал секретарем городского исполкома...

В автобиографии 1922 года те же события излагаются со свежестью вчерашних впечатлений:

«...Я поселился в Сызрани. И здесь протекала моя революция. Я говорил речи (ни раньше, ни теперь не сказал бы и двух слов) в Пролеткульте, с балкона, в Исполкоме, на площадях, по-русски, по-немецки. Усольским мужикам — о мировой революции, мадярам и немцам — о принципах трудовой школы, сызранским мукомолам — о спартаковцах и Бела Куны, школьникам — о Советской Баварии и многих других прекрасных вещах. Я осматривал журнал и из кожи лез, чтобы в нем писали реневские, паньшинские, соловчихинские мужики. Я редактировал газету, был лектором, учителем, метранжажем, секретарем Городского Исполкома, агитатором. Собирали добровольцев в Красную конницу, сам пошел в кавалеристы... Этот год — лучший мой год. Этот год — мой пафос».

1919-й был решающим, поворотным моментом гражданской войны. И именно он отмечен высшим взлетом революционной активности молодого литератора. Восемь месяцев прошло в Сызрани с весны до октября. И если весь 1919-й, по словам Федина, «лучший мой год», «мой пафос», то лето было воистину необыкновенное... «Необыкновенное лето» — так и будет назван почти через тридцать лет роман-трилогия, сосредоточенный в значительной мере на этом периоде 1919 года, где художественно отобразятся среди прочего и многие из событий, участником и свидетелем которых был сам автор...

При Сызранском уездном отделе народного образования имелась почти бездействовавшая типография, с опытными наборщиками, запасами бумаги, машинами для многоцветной печати, великолепными шрифтами и красками. Нечего было только издавать. И молодому Федину предложено было немедленно организовать на этой базе пролетарский печатный орган, журнал. Какой? А это уж ему виднее.

Показывал типографию заведующий уездным издательством Алексей Колосов, двадцатидвухлетний паренек, в солдатской гимнастерке, с торчащим хохлом, ходивший вприпрыжку. Хотя держался строго, но и он вздохнул раз: «Сам бы издавал!.. Но видишь, товарищ Федин, что у нас тут творится... После недавнего бавдистского мятежа и партийных мобилизаций нет кадров. Я же редактор уездной газеты, буду еще теперь и председателем горисполкома... Так что давай, товарищ Федин!» Он был человек бывалый, из студентов, на пять лет младше.

Всю следующую ночь Федин не спал. Наутро программа журнала была готова. Называться он должен был «Отклики». С подзаголовком: «Ежемесячный пролетарский журнал литературы, искусства, политики, науки».

А. И. Колосов — впоследствии писатель, очеркист, почти три десятилетия работавший специальным корреспондентом «Правды». В романе «Города и годы» близко к реальности революционных лет выведен под прозрачным именем — Семен Голосов.

Смысл названий пояснялся в заявлении «От редакции»: «Товарищи! Наш журнал должен стать откликами вашей жизни, ваших мечтаний и вашей революционной борьбы. Пуг и стаюк, поле и фабрика — создатели жизни материальной — должны быть творцами жизни духовной...»

Утверждать программу журнала должны были два постоянных эпитафа. Один — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Другой эпитаф, повторявшийся затем в каждом номере, — стихотворный, тайная гордость Нидефака¹:

Иди ж, иди, прекрасная Богиня,
В жилища бывших пасынков судьбы,
Где мрак стоял, где свет струится ныне —
Искусство светит миру из избы!

Но безымянная эта строфа, по-видимому, и оказалась последним стихотворным сочинением Нидефака.

Дальше случилось классическое превращение количества в качество. Подобно тому, как из перезрелого лопнувшего стручка гороха разлетаются горошины, во множестве посыпались на печатные страницы разные литературные имена — Конст. Редия, К. Алякринский, Петр Швед, Конст. Федин... — а сам первоначальный псевдоним, гордый, одинокий Нидефак, перестал существовать навсегда.

«Короткие месяцы работы в Сызрани, — пишет Федин в «Автобиографии», — оставили сильный отпечаток на всем моем жизненном пути. Кроме выучки газетчика, которому приходилось писать все — от передовых статей и фельетонов до театральных и книжных рецензий, или вестей, наряду с городским репортажем, международный обзор, — революционные поволжские события дали мне неиссякаемый материал для писательского труда».

Журнал «Отклики» имел тираж не более 300 экземпляров и только полсотни подписчиков. За неимением штатных сотрудников львиную долю материала собирал редактор, постоянно работавший также в местной газете. Издание прекратилось на седьмом номере. «Но, несмотря на это, — как отмечает исследователь З. Левинсон, — сызранский журнал и его молодой редактор получили... известность не только у читателей, но и среди литераторов, главным образом, из рабоче-крестьянской массы...»

Еще большим, без сомнения, был внутренний след, оставшийся в душе молодого литератора.

Вскоре после завершения романа «Необыкновенное лето» Федин напечатал даже специальную статью под названием «Сызранский эпизод». Обращаясь мыслью к собственному «необыкновенному лету» поры 1919 года и живописуя редкостный взрыв тогдашней своей журналистской активности, автор статьи пишет:

«Восемь месяцев в сызранской жизни заняли большое место в моей писательской судьбе... Первый напечатанный рассказ «Счастье» («Отклики», под псевдонимом К. Алякринский) был первоначальным наброском образа Мари в романе «Города и годы». В Сызрани я написал рассказ «Дядя Кисель», премированный в Москве на конкурсе «РОСТА» в конце 1919 года. Впоследствии «Дядя Кисель» стал одним из персонажей в тех же «Городах и годах». В романе многие черты городка Семидола родились из воспоминаний о Сызрани...

«Дядя Кисель» и статья из «Откликов» — «И на земле мир» были теми вещами, после прочтения которых Горький, в начале 1920 года, пригласил меня к себе — познакомиться...

Отсюда и пошла моя литературная дорога».

О ближайших затем событиях 1919 года, которые

почти на двадцать лет связали его жизнь с городом на Неве, Федин сообщает в «Автобиографии» так: «Осейю я был мобилизован на фронт и очутился в Петрограде — в самый разгар наступления Юденича. Сначала меня направили в Отдельную башкирскую кавалерийскую дивизию, — здесь я заведовал экспедицией, снабжая печатью четыре полка дивизии, сражавшихся на фронте. Потом я был переведен в редакцию газеты 7-й армии «Боевая правда», где и проработал помощником редактора до начала 1921 года... В течение шести лет, с конца 1919 года, я был тесно связан с ленинградской журналистикой, печатал статьи, фельетоны, рассказы, редактировал (1921—1924) критико-библиографический журнал «Книга и революция»...»

В раннем варианте «Автобиографии» (1939) Федин подробно характеризует литературно-эстетическое содержание начальной поры жизни в Петрограде: «...Полный переворот в моем эстетическом сознании произвел Петроград 1919—21 гг. Вряд ли я, как писатель, испытал нечто более бурное, нежели в эти годы. Требования времени обступили меня со всех сторон. Но, требуя, время давало мне неизмеримо много. Я слушал Александра Блока, я познакомился с Максимом Горьким, я вошел в литературное общество «Серапионовы братья»...

Главенствующим во всех этих событиях было, конечно, знакомство в 1920 г. с Горьким. Он оказался моим первоначальным советчиком и другом в литературе и жизни — самым расположенным и внимательным...»

«...1920 год... Февральский, промозглый, совершенно петербургский день. Я иду с Песков на Невский, к Аничкову дворцу, в книгоиздательство Гржебина.

Два дня я провел в необыкновенном волнении: мне сообщили, что Максим Горький приглашает меня прийти познакомиться. Незадолго ему были вручены два моих рассказа и письмо...» Так начинается книга Федина «Горький среди нас».

«За кадром» тут остался милый, доброжелательный человек, посредник, который тем не менее обеспечил возможность встречи, вручив Горькому рукописи и письмо.

Что означала эта скромная услуга для неприкаянного, неуверенного в себе, полуголодного, исхудалого, как жердь, дошедшего уже до отчаяния, безвестного молодого провинциала, — говорить излишне. Он передавал в руки посредника мольбу о решении своей дальнейшей жизненной и литературной судьбы.

Не исключено, конечно, что вручить рукописи и письмо для этого человека было обычной служебной обязанностью. Но, возможно, здесь с самого начала было замешано и чувство. Может, с симпатией и состраданьем скользнул по лицу посетителя, по его старой, обвислой шинели улыбочивый взгляд спокойных черных глаз, и встала из-за своего стола ему навстречу эта невысокого роста смуглая женщина. Взяла бумаги, успокоила. Да, да, не волнуйтесь, все будет сделано! И, может, сказала Горькому еще и какие-то добавочные нужные слова...

Человеком этим была двадцатипятилетняя машинистка издательства З. И. Гржебина — Дора Сергеевна Александер.

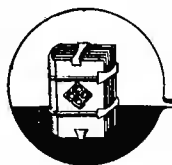
В 1921 году она стала женой К. А. Федина.

Роман «Города и годы» писался уже в той старинной семейной квартире на Литейном проспекте, в доме с «колодцем».

Так начался творческий путь одного из крупнейших советских писателей.

Юрий ОКЛЯНСКИЙ

¹ Ранний литературный псевдоним К. А. Федина.



ЛЕВ
АННИНСКИЙ



РАМПА РЕАЛЬНОСТИ

Решившись на исповедь перед читателем, Вячеслав Спесивцев («Моей памяти поезд...», М., «Советская Россия», 1980) так и не решился писать «от себя» — он подставил на свое место героя с прозрачным псевдонимом «Юрий Семенович». Это можно понять: в конце концов психологически не так-то просто выступать с «мемуарами» в 37 лет, хотя в эти 37 лет ты уже и вышел в громкие режиссеры и созданный тобой театр прогремел на всю столицу. Все так, однако у Спесивцева были основания спрятаться за полувывмышленного героя. Слишком много потаенно-душевного выплеснул он в эту первую свою книгу. От себя не все и скажешь. От имени Юрия Семеновича легче...

Но такой уход автора за кулисы опасен. Текст начинает восприниматься как беллетристический. А это значит, что швы и стыки, естественные и даже подкупающие в документальном повествовании, начинают резать глаз. Стихийная талантливость Вячеслава Спесивцева, сказавшаяся в его театральных постановках, каким-то краем выявляет себя и на письме: есть подлинность словесного жеста, есть интонационная смелость, есть и искусство в «сцепке» кусков и глав. И все же смесь документа и беллетристики — дело рискованное. Ну, скажем, появляется в документальных мемуарах льдо с необычной фамилией — вы на этом не фиксируетесь, но если в беллетристическом тексте появляется фамилия Шиндель, вы невольно ждете какого-то художественного сигнала... а его нет. Зато лезут в глаза романтические штампы вроде «пурги белых цветов»; «карточный домик» вопреки всяким правилам метафоры рассыпается «этаж за этажом» (?), и обороты вроде «сколько начинаний ищет помещения» вопиют о редакторском карандаше. По элементарной обязанности рецензента я предупреждаю обо всем этом читателя, чтобы он, натываясь на такие вещи, не застревал на них, а постарался бы почувствовать то самое, что и в спектаклях спесивцевского театра ощущается иной раз сквозь верховную сценографическую «поверхность»: неистовый характер человека, аккумулятирующего огромную творческую энергию... но о «сценографии» еще два слова.

Вышедшая под ступо деловым грифом «В помощь художественной самодеятельности», книжка Спесив-

цева тем не менее не дает рецептов для соответствующей культмассовой работы и не может быть пособием для будущих профессионалов сцены. Дело в том, что тут описаны не спектакли, а та человеческая атмосфера, из которой они рождались. Это разговор как бы предпрофессиональный. В свое время я посмотрел много спектаклей театра-студии на Красной Пресне, я этот театр полюбил и могу засвидетельствовать, что «предпрофессиональные» размышления Спесивцева и для разгадки секретов его режиссуры дают очень многое. Но поражает простота, с которой объясняются многие его режиссерские решения. Ну, например, четыре пары актеров, ведущие от акта к акту роли Ромео и Джульетты... На сцене я воспринял это как виртуозную находку, как концептуальный акт, подобный тому же физическому отсутствию Яго. А объяснение оказалось ошарашивающе просто. «Ребята, поднимите руки, кто хочет играть Ромео и Джульетту!». Подняли все... пришлось «делить» роли... в буквальном смысле.

Спесивцев-режиссер как бы полагается на логику «самой действительности». Это режиссерская концепция, но не только. Она шире, в ней есть жизненный смысл. Вот почему Спесивцев-режиссер лучше всего воспринимается не на фоне кулис или занавеса — его видишь среди школьников, которых он делит на группы, отряды, «подстудии», с которыми он играет, с которыми он строит не столько театр, сколько новую версию действительности. Огромная энергия нужна для этого. И она в нем есть — в этом парне, росшем близ депо в послевоенном бараке, в этом сыне кузнеца, в этом преснеиде, для памяти которого булыжники мостовой — свое, родное.

Не случайно в книге Спесивцева театр постоянно граничит с улицей, и какой-нибудь парень оттуда в любой момент может прийти к нему на сцену, где ему найдется дело. Вопрос в переключении этой энергии. А нужным для такого переключения педагогическим талантом Спесивцев обладает в огромной степени. Отсюда его заводной нрав, крутость, уверенность, режиссерский азарт. Отсюда и его успех.

Один фантастически-реальный случай в заключение. По ходу того самого шумевшего, в электричке идущего спектакля (о Дзержинском) вышла-таки накладка: обрыв провода, непредвиденная стоянка. График полетел, «администраторы», готовившие сцены на станции, не дождавшись, уехали. Очередной эпизод с участием революционеров и жандармов приходится разыгрывать в реальной толпе. Какая-то женщина, увидев револьверы (и не зная, что они булгарские), вызывает милицию. По линии идет телеграмма: «На дороге орудует банда — срочно блокировать вокзалы». На Курском режиссер вместе с актерами попадает в руки блюстителей порядка.

Думаете, Спесивцев удерживает, расстроен, сбив с построения таким оборотом дела?

Рад без памяти! Театр контактирует с реальностью! Напрямую! Наконец-то перед нами не рампа, умирившая зрителей, а живое событие, в котором зрители, и актеры, и люди со стороны перемешались! И почувствовали, как они родственны! Искра контакта — сброс энергии — переключение реальности в сцену и обратно — прорыв будней — реализация личности в случайном потоке прохожих...

Чистейший Спесивцев!.. И мы желаем ему успеха.



В мире Прекрасного

**РОДИОН
ЩЕДРИН**

ОПЕРА В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

*Заметки о современной опере
«Юнона и Авось»,
сочиненной поэтом
Андреем Вознесенским
и композитором
Алексеем Рыбниковым
и поставленной
Марком Захаровым
в драматическом Театре
имени Ленинского комсомола*

Резанов Николай Петрович (1764—1807) — выдающийся русский путешественник и государственный деятель. Один из учредителей Российско-американской торговой компании. Происходил из небогатого рода дворян Смоленской губернии. Служил поручиком лейб-гвардии Измайловского полка. Позднее занимал должность обер-секретаря гражданского департамента и управляющего главного правления Российско-американской компании. В 1806 году предпринял путешествие в Калифорнию, где содействовал налаживанию торговых связей между Российско-американской компанией и испанскими колонистами. На обратном пути в Россию умер в Красноярске.

Историческая справка



тот спектакль непременно надо видеть. Он свеж и многозначен. Умен и непривычен, броско зрелищен. На нашем театре состоялось произведение, где слово и мысль, музыка и танец, сценические эффекты, рисунок мизансцен, пластика жестов, изящество костюмов слиты в неразрывном органичном и естественном единстве.

Прежде всего нужно сказать, конечно, об Андрее Вознесенском. Счастливейшая это была идея: взять за основу его поэму «Авось». Здесь и историческая достоверность, и беспечная моцартовская фантазия, и отсветы приключенческого, я бы сказал, детективного романа. В поэме есть юмор, море лирики, возвышенные пронзительные раздумья. Есть и какая-то ибсеновская грусть по женщинам, всю жизнь — слово Сольвейг — прождавшим своих возлюбленных.

В «Авось» это Кончитта — дочь губернатора Сан-Франциско. Обручившись вопреки всем и всему с графом Николаем Резановым, она ждала его потом тридцать пять лет. С шестнадцати до пятидесяти двух. А потом дала обет молчания... Есть высокие человеческие поступки, которые по красоте своей и значимости остаются в истории, в сознании поколений наравне с великими шедеврами искусства...

Стихи Андрея Вознесенского, подлинная история, опозитированная им, есть каркас всего здания спектакля. Каркас могучий по мощи таланта, по силе мысли, по исповедальности и открытости тона, по способности уразуметь прошлое России и соизмерить его с настоящим. Отыскать в том прошлом красивых, чистых, честных и, увы, невезучих людей и дать им вторую жизнь в дне сегодняшнем. Слог легковесный уже саму идею не вынес бы на своих плечах. Каждое слово в этой опере — как золото высшей пробы. Каждый глагол бережит душу, жжет и тревожит. Каждая строфа полна прозрений, провидения.

Во всем этом и оценка былого и переключки с беспокойными поисками нравственности сегодня, поисками внутренних резервов для очищения, для при-

общения к высокому, несуетному, непреходящему. Свою поэму «Авось» Андрей Вознесенский дополнил и сдвинул в сторону яркого театрального лицедейства, нигде не поступившись ни словом единым.

Узнаешь удивительную историю графа Николая Петровича Резанова, который сто семьдесят пять лет назад мечтал, «закусив удила, свесть Америку и Россию», «американский расчет и российский грустную удаль», — историю, которая трагически оборвалась на полдороге, и с благодарностью думаешь о тех, кто взял ее из векового забвения и придал ей такое современное звучание.

Мои музыкантские симпатии всегда были на стороне музыки классической, музыки серьезной. Чтобы объяснить свое отношение к спектаклю «Юнона и Авось», мне надо немного рассказать о своих взаимоотношениях с музыкой «третьего направления», куда я отношу оперу Вознесенского и Рыбникова. Это направление стремится объединить в себе приемы, технологию и эстетику музыки серьезной, классической и современной, с одной стороны, с доступностью, простотой, незатейливостью музыки развлекательной, легкой, еще точнее — коммерческой — с другой.

Раньше я был скептиком и полным отрицателем всего, что не пребывало на материке под названием «музыка серьезная». Может быть, виной тому был аскетизм, пуризм изнурительного долгого консерваторского обучения, да и наша, думаю, оперетта, которая и сегодня представляется мне закостеневшей, неповоротливой, штампованной, отставшей. Так или иначе, но когда судьба забросила меня на два с лишним месяца в 1962 году в Америку, любые приглашения моих коллег посмотреть на Бродвее на шумевшие мюзиклы я встречал иронической улыбкой. Лишь высокое доверие к дирижерскому и композиторскому дару, вкусу Леонарда Бернстайна, неожиданно позвавшего меня после репетиции с оркестром Нью-Йоркской филармонии этим же вечером посмотреть на Бродвее его мюзикл «Вестсайдская история», подтолкнуло мою цеховую бдительность.

И это было прекрасно. (Теперь знаменитый мюзикл этот у нас хорошо известен. На всех соревнованиях по фигурному катанию половина участников катается под его музыку.) После спектакля, ошеломившего меня, Лення — как зовут Бернстайна музыканты — повел меня в театральный ресторанчик, где познакомил с балетмейстером Джерри Роббинсом, поставившим это представление. Помню разговор: как явилась идея? Роббинс сказал, что один драматический режиссер, собравшийся ставить шекспировскую «Ромео и Джульетту», додумал его вопросом: как прочесть эту трагедию сегодня, что в ней затронет зрителя, что созвучно дню сегодняшнему? И Роббинс ответил — все, если полемически сменить приметы внешние: ненависть Монтекки и Капулетти — на два смертельно враждующих клана из предместий Нью-Йорка, поменять имена да поставить на календаре год нынешний. Этот ответ балетмейстера стал для него самого тем толчком — в искусстве это сплошь да рядом, — что вызвал к жизни рождение шедевра. Тогда же Роббинс предложил Бернстайну написать музыку будущей «Вестсайдской истории».

Джерри Роббинс показал мне тогда несколько новых своих созданий. Одно из них — балет без музыки. Оригинальное, полное магии, озадачивающее музыканта зрелище. Целый балет, который сопровождался лишь движением пуантов, тонким скрипом капифоли на деревянном полу, порывами пируэтов, пагами выходов танцоров на сцену. Никакой музыки не было. Я вспомнил Пастернака: «Тишина, ты лучшее из того, что слышал». Другое шоу называлось замечательно длинно — «О, папа, бедный папа, мама

повесила тебя в шкаф, и мне от этого очень грустно». Программка к этому спектаклю была напечатана словно на бумаге для заклеивания окон — длинной не меньше метра и складывалась гармошкой. Помню, как ехали мы с Роббинсом на эту его постановку во взятом им напрокат «роллс-ройсе» и он шуточно кичился, что это единственная в мире машина, куда можно сесть, не снимая с головы цилиндр.

Я немного отдаляюсь от заданной темы, но, может быть, все это небезынтересно, да и жанр заметок, а не рецензии, вроде позволяет.

Роббинс познакомил меня с тогдашним королем бродвейских мюзиклов Джорджем Абботтом. Благодаря Абботту я увидел несколько замечательных представлений: «Смешная вещь приключилась со мной по дороге на форум», «Как достичь успеха в бизнесе, не затрачивая чрезмерных усилий»... Тогда в ходу были названия длинные, прозаические. И хотя в тот первый свой приезд в США круг моих интересов, встреч и впечатлений пролегал, естественно, в сфере музыки серьезной, эти мюзиклы впервые внушили мне доверие к жанру. Я понял, что это может быть истинным искусством.

Позже были «Скрипач на крыше», «Волосы», «Иисус Христос — суперзвезда». В последний свой приезд в США, два года назад, я сам уже стремился увидеть новые мюзиклы на Бродвее. В этот раз мне не слишком повезло. Но один шедевр я увидел: «Chogusline» («Линия кордебалета»). Это очень горькая и очень печальная, немножко чаплиновская история про то, как отбирали для такого же мюзикла танцовщиков кордебалета. Добиваются этой работы совершенно разные люди — секс-бомба, пара молодоженов, женщина, отчаянно мечтающая стать примой, гомосексуалист и т. д. Их судьбы просто хватают за душу. Ком в горе! Два раза я смотрел этот мюзикл. Фантастический спектакль! Великое искусство. Не меньше, чем симфонии Брамса.

Надо сказать, что обычно делают в Америке мюзиклы очень любопытно. Один человек сочиняет только мелодии. Другой — гармонизирует их. Третий — инструментует для оркестра. Кто-то придумывает фабулу, кто-то пишет диалоги. Конвейер! Каждый делает то, что он умеет лучше всего в жизни. Может быть, тот, кто гармонизирует, напишет и неплохую мелодию, но там используют лишь звездные возможности человека. Вот и получают спектакли на таком высоком уровне профессионализма.

Почему я об этом толкую?

Мы часто говорим о синтезе искусств, о возможном обогащении их открытиями и своеобычием. Когда-то Александр Николаевич Скрябин мечтал создать произведение, в котором наравне с музыкой, словом, движением участвовали бы свет, цветовая гамма, запахи трав, ароматы цветов. Сегодня Скрябину надо было бы пойти в Театр Ленинского комсомола. Там в ладах с лазерами, светомозыкой, пиротехническими запахами и алхимией.

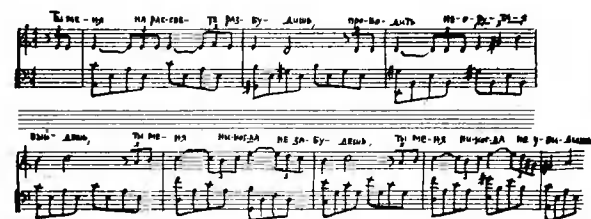
Это, конечно, шутка. Но мне кажется, что спектакль «Юнона и Авось» во многом сумел приблизиться к материализации этих мечтаний, соединив в себе усилия разных муз.

Музыка Алексея Рыбникова ярко помечена знаком таланта. Это очень одаренный природой человек. Мелодическая броскость «Юноны и Авось» очевидна с первого же прослушивания. Каждая мелодия оперы — это то, что мы называем шлягер, в хорошем разумении этого слова. То есть мелодия сидит в вас и после того, как вы выходите из театра; сидит прочно, как бы вы ее ни отгоняли, многократно возникая в вашем слуховом сознании весьма долгое время.

Хочу привести примеры. Нотная грамота нынче у нас, кажется, в чести. А со времен «Войны и мира» Маяковского нотные строчки совсем забыли дорогу на литературные журнальные страницы. Вот тема песни моряков:



Или мелодия романа, который выстраивает музыкальную форму сочинения, словно бумеранг, возвращаясь ко вниманию слушателя после громогласных разноголосых бешеных эпизодов:



И еще очень существенно. Партитура написана человеком, по-настоящему профессионально оснащенным. По-настоящему! Рыбников — ученик Арама Ильича Хачатуряна. Он много работал в жанрах симфонической, камерной инструментальной музыки. Он знает, как все это делается. За ним подлинная музыкальная культура, эрудиция. Слово «опера», которое он пишет на титульном листе сочинения, обязывает ко многому. Сразу в памяти возникает вереница великих имен законодателей, реформаторов оперного искусства. Кстати, слово «опера» по-итальянски означает буквально: сочинение, произведение; от латинского — труд, изделие. Да, труд тут положен немалый. В сочинении Рыбникова наглядно действуют законы музыкальной драматургии, драматургии слушательского восприятия. Композитор точно и тонко сочиняет громкое и тихое, быстрое и медленное, высокое (регистр) и низкое... Он использует средства гомофонические и полифонические. Мыслит вертикалью и горизонталью. Многократно и уместно возвращаясь к главным музыкальным темам, не просто повторяет их, но трансформирует, развивает, рядит в иные одеяния, используя разные формы вокального и инструментального их исполнения.

Партитура оперы трудна. И то, что актеры театра драматического сумели ее освоить, свободно и артистично в ней ориентироваться, удивительно. Конечно же, актерам очень помог ансамбль театра «Рок-Ателье» — Александр Садо, Павел Смея, Александр Белоусов, Камилль Чадаев, Борис Оппенгейм, Юрий Титов и руководитель Крис Кельми. Хорошо звучат у них флейта, скрипка, виолончель, ударные, колокола, гитара и бас-гитара в сочетании с четырьмя электронными синтезаторами. Это передает и музыку пространства и такие душевные переживания. В музыке «третьего направления» тем более, краской стремятся компенсировать утраченную (или отрицаемую) сложность гармонических структур и равновесие современного голосоведения. В

этом тоже декларативность музыкального мышления такого рода.

Алексей Рыбников нашел замечательный финал.

Нам рассказали грустную историю Николая Резанова и Марии де ля Кончепсион де Аргуэльо, а потом все участники спектакля выходят на сцену и поют гимн любви, обращаясь к «жителям двадцатого столетия». Финал этот дает нам чувство Театра:



Мы как бы уже с дистанции Времени видим людей, давно ушедших, но столь схожих с нами в своих порывах, страстях, суждениях, муках, радостях и горе...

Современная серьезная музыка бродит вблизи тупика потому, что аудитория ее весьма ограничена. Разрыв между потреблением музыки легкой и музыки современной серьезной удручающе и ускоряюще расширяется. С классикой дела лучше, но тоже не блистательны. Прошли времена, когда, скажем, вся Италия жила тем, что Верди пишет новую оперу, когда заключались пари — на сколько четвертей будет выходная ария героя, на три или на две, — как теперь держат пари, с каким счетом кончится громкий футбольный матч. Это осталось в золотом веке оперы.

Мы часто произносим привычные ламентации: ах, как люди себя обедняют, не слушая классическую музыку! Конечно, это так и есть. Я исповедую тот взгляд, что человек, который миновал в своей жизни музыку классическую, все равно что прожил без неба, без моря, без солнца. Музыкальное искусство — величайшая сила, одно из самых удивительных созданий человеческого духа. Но ведь подневольно, изпод палки не заставишь человека слушать симфонию Моцарта, фугу Баха или оперу Чайковского. Одних призывов и ламентаций мало.

Я начинаю думать, что пути приобщения людей к серьезной музыке могут пролесть и через музыку «третьего направления».

В нашей композиторской среде зачастую пренебрежительно, я бы даже сказал — априорно-снобистски, отрицательно относятся к транскрипциям классики, сделанным для развлекательных вокально-инструментальных ансамблей, для симфо-джазов и т. д. А мне думается, что, может быть, и через это придет к молодежи интерес к тем же Баху, Моцарту, Чайковскому. Важно, конечно, чтобы такие транскрипции делали высокие профессионалы, а не неучи! Скажем, исполняя Баха Swingle Singers'ы не меняли ни одной его ноты, а только тактично добавляли партию ударных инструментов. Все остальное — это был подлинный Бах. Подлинный! А моторика, музы-

кальное движение у Баха всегда наличествовали, чем-бало, например, он часто использовал как инструмент ударный. То есть функция у него была та, которую сейчас выполняет гитара.

Шостакович когда-то говорил, что главные законы легкой музыки и музыки серьезной — одинаковые. И тут и там верхний голос — мелодия, средний голос — гармония, нижний голос — бас. В общем, музыкальная земля стоит на трех этих китах. Будь то материк легкой музыки, будь то материк музыки классической.

По-моему, такая работа, как опера Рыбникова «Юнона и Авось», созданная на таком уровне философского осмысления темы, на таком уровне музыкальной эрудиции и таланта, удача и убедительность ее воплощения на сцене помогут аудитории обрести большую степень доверия и интереса к поискам и скитаниям серьезной современной музыки.

Марк Захаров поставил спектакль отменно. За всем здесь его огромный труд, творчество, талант.

Мне кажется, что этот спектакль вообще мог родиться только в театре у Марка Захарова. Актеры его подбирались к этому жанру постепенно, они были подготовлены к нему предыдущими работами. У них был уже опыт общения с Рыбниковым, и они прониклись доверием к его музыкальному мышлению. Поверили, что композитор не злоумышленно завел их в дебри тесситурных сложностей, где рвутся голосовые связки. Поверили, что сложность эта — форма естественного выражения красоты. Но при всем при том музыку они учили долго, спектакль готовился мучительно долго. Об этом обязательно нужно сказать, чтобы легкость, вдохновение, изящество, с каким идет опера, не заслонили громады кропотливого труда. Ведь начинали с того, что хотели все пустить под фонограмму, а пришли к тому, что все исполняется «живьем»: живьем поют солисты, живьем поет хор (хормейстер Василий Шкиль), живьем играют медные инструменты, живьем ансамбль театра «Рок-Ателье».

Актеры в «Авось» делают все с упоением, с поразительной отдачей. Никто ничего не приберегает «на завтра». Отдает все, что имеет в эту секунду, на что способен его организм, его здоровье, голосовые связки, его мускулы, легкие, сердце, его мениски, ахиллы. В любом театре есть всегда на сцене несколько человек мавкирующих, потому что дома болен ребенок или поссорился с женой и так далее. Тут такое впечатление, что ни у кого не болен ребенок, и вообще все в порядке.

Как это удалось Захарову? Думаю, что главная его победа — он заставил всех без исключения работать на сто процентов отдачи.

Марк Захаров сумел свести воедино квалифицированное музицирование актеров, пластическое их движение, работу всех этих лазеров и подъемных механизмов, светомузыку и пиротехнические эффекты... Все в спектакле соотнесено безукоризненно — свет, перемены декораций, ритмы.

На мой взгляд, исполнение музыкального или театрального произведения всегда или почти всегда потеря. словно вода, которую берешь в ладони, а остается в них полглотка. Немножко позже включил свет, немножко раньше опустил панораму, чуть опоздал с «громом» — и впечатление уже слабое. Эти известные толстовские «чуть-чуть»!

Недавно смотрел я «Анну Каренину» в Большом театре — как ужасающе работала постановочная часть! Абсолютная каша... Следовало бы всех их привести на спектакль Марка Захарова и показать им, как надо работать! Железная синхронность, слаженность, точность — блистательно. Я сидел, завидуя Захарову горькой завистью.

Великолепна, изобретательна сценография молодого художника Олега Шейнциса. Особенно поражает работа его со светом — свет у него поистине материален. Шейнцис скуп в деталях, невеличечив, но каждый штрих его дорогого стоит. Эффектно, умело и точно пользуется он контражуром. Художник по костюмам Валентина Комолова обогащает зрелище красочной, щедрой театральностью одежды, их тщательной прорисовкой и дотошной, скрупулезной отделкой.

Вкусный суп сварится только из первоклассных продуктов. Чудес в кулинарии не бывает. То же на театре. Приглашение Владимира Васильева (ассистент балетмейстера Валентина Савина) в свою «сборную команду» хореографом «Авось» — удачейшая идея Захарова. Васильев — человек исключительно одаренный, остро чувствующий, чутко реагирующий на сегодняшней день искусства. Он придал всем пластическим и танцевальным эпизодам ноту некоего излома, изыска, терпкости. Даже танцевальный дуэт поставил! Драматические актеры исполняют красивое балетное любовное адажио. Это тоже идет в копилку спектакля. Превосходно сделана сцена отплытия парусника, бал. Мне, незнакому с кухней постановки, неизвестно, кому принадлежит мысль — так поставить дуэль: Васильеву ли? Захарову ли? Актерам ли? Так или иначе, но тут несомненный почерк вдохновения!

Когда я смотрю на Николая Караченцова в этом спектакле, охватывает меня чувство изумления. Беззаветность отдачи!

Он редкостью совпадает со своим героем, Николаем Резановым, человеком безудержной страсти, лихости, авантюризма, ума, тоски, таланта. Я не знаю, что это такое — его игра? Быть может, мессианство? Караченцов чувствует себя мессией, который несет идею своего героя!

Всегда настороженно относился я к поющему драматическому актеру. Сейчас это модно — все поют. Но Караченцов делает это по-своему, и делает замечательно. Где-то в сути у меня даже возникла параллель с Владимиром Высоцким. Когда отсутствие поставленного певческого голоса возмещается напряженным нервным током, исходящим из всего существа актера, нутром, чувством... А ведь партия его не проста, и Караченцов ее с блеском воплощает. Даже не могу сказать — поет. Музыка рождается у него, словно не Рыбников, а он сам, Караченцов, ее создал.

Очень обаятельна Елена Шанина — Кончитта. Она хорошо и легко двигается, танцует. Она неутомима и тренирована.

Хорош Александр Абдулов. Он многолик и разнообразен, выступая в ролях Пылающего еретика, Человека от Театра, Кончиттинного жениха Фернандо Лопеса, находя в этой последней краску простодушного наива, которая тоже нужна в этой истории.

Каждый актер, каждый участник спектакля чувствует свою прикосновенность к правому, святому, высокому делу Искусства. И это рождает ответную реакцию зала, какое-то храмовое чувство. Публика тоже играет в этом уникальном спектакле свою роль, отдавая свои токи актерам. Идет обмен высокими мыслями и высокими чувствами. Есть ощущение единения сцены и зала, какого-то всеучастия.

От спектакля гипнотически веет чувством поразительной духовности жизни в нашей стране, беззаветной российской духовностью. Сила эта всегда жила в России. Она для нас — жизнь.



**ВЛАДИМИР
АНДРЕЕВ**



Уже весна подтачивает силы
Холодных дней, февральских, ветровых.
Асфальт дымит, словно лошадь в мыле.
Шуга шумит в колодцах ливневых.

Час пик идет привычным распорядком,
И я с работы еду, как и все.
Угрюмый дизель сладко жрет солярку,
Лохматый дым рокошет по шоссе.

А мы в прибой зеленый светофора
Рванем с тобой по шумному шоссе.
И вскрикнет ветка синего простора
В разбухшей почке — мощном колесе!

И вспыхнет свет и заживет в квартире,
Как наша встреча в этом феврале,
Как лист березы в грозном этом мире
На очень хрупкой розовой заре...

Березы весной

Трезвонят, смеются капли,
Светлеют стволы у берез,—
Деревья на этой неделе
Сосут синеву, как насос.

И годы, как небо, прозрачны,
Подняли свои паруса.
Березы, мечтая, как мачты,
Уходят легко в небеса.

Довольно и грусти и хмури!
Слетайте морщины со лба!
И счастья кетлекной лазури
Ты дай зачерпнуть мне, судьба!



Выпускает из рук апрель
Соловья молодую трель.
Прижимайте, мои края,
Нежность дерзкому соловья,

Где до времени до поры
Подрастает мальчишка — Май,
От невнятной его игры
Чувства ломятся через край.

Потому — ни добра, ни зла,
И — ни встреч еще, ни разлук,

Только туго катянут лук,
Только пески стрела светла.

Пролетает в тени ветвей,
Достигает души без помех,
Для себя поет соловей,
Значит, песня его — для всех.

Плотина

Экскаваторщик, черт чумазный,
Рыжий чуб, как отвал, носит.
И сквозь кряжистый гул КамАЗов
Он покрикивает, голосист.

Белозубый, могучий детина,
Он с лукавинкой, с гонорком.
Для какой-то уж точно клином
Свет сошелся вот на таком.

Мерно движется экскаватор,
Он изыщен в ходу весьма,
И прямая его лопата
Крестит гупкие кузова.

Всякий знает свое искусство,
И в надежных земля руках.
И вздыхает над новым руспом
Групп в КамАЗовских кузовах.

Саксофонист

Я играю на саксофоне,
На изогнутой хитро дуде.
Раскрываются звуков бутыи,
Как кувшинки на темной воде.

Бархатистую мглу за спиной
Контрабас и гитара соткут.
И мелодии лунной тропой
Мои думы, светлея, пойдут.

И вскипят серебристые трубы,
Как метели в степной стороне;
Сквозь метели шагается трудно,
Но легко вспоминается мне.

Пробегают по клапанам папыцы
Дружелюбно-послушной гурьбой.
Видю: девушка тонкая в таице,
С нею парень, такой молодой!

Только я со своим саксофоном
Поднимаюсь и соло даю,
Избывая, веду в полутоне
Угрызений сердечных змею...

Ходят-иют невольнички-пальцы,
Трости дрожь отдает хрипотцой.
Небылицы раздольные танца!
Мотыльки с межпланетной пылью!

И плывет саксофон, словно лебедь...
Только небо, лука, забытье...
И мелодии медленный стебель
Прорастает сквозь имя твое...



ЕВГЕНИЙ БОГАТ

УХОД

**Расследование
одного события:
официальные документы,
показания,
письма, версии**

«...Утром 25 июня с. г. на территории лодочной станции комбината «Искра», на левом берегу реки Волги, ребятами, ловившими рыбу с лодки, был обнаружен труп неизвестного молодого мужчины, одетого в светло-коричневые брюки, трикотажную синюю кофту, серый пиджак и коричневые полуботинки.

...в тот же день в морге студентка медицинского института Завьялова опознала в обнаруженном трупе однокурсника Барышева В. И. Затем он был опознан и родственниками.

...Установлено, что за пять дней до этого Барышев ушел с квартиры, оставив записку хозяйке и три письма: одно — родителям, живущим в городе О., второе — товарищу по институту Адамовичу, третье — девушке Туrowsкой. Во всех письмах сообщалось о решении уйти из жизни.

...в дальнейшем расследовании будет участвовать психолог М. Н. Сидорова...»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Странный автопортрет

Илья ОГНЕВ (комсорг курса). «Наши девочки нам говорили: старайтесь быть похожими на него, вы еще вроде бы ребятишки, а он взрослый человек. А за последнее время Валерий и внешне возмужал, усы стал носить: он будто бы в отличие от нас успел повидать жизнь и многое испытать, хотя и были мы ровесниками — всем нам теперь по двадцать...»

Наталья ЗАВЬЯЛОВА, сокурсница. «Это был настолько удивительный человек... В двадцать лет он уже многое умел и мог. Он, наверное, и минуты одной не тратил попусту. Он резал по дереву, он рисовал. И хорошо рисовал. Он писал стихи. При его жизни нам были известны только его шуточные стихи, но после трагедии мы узнали, что он писал и нешуточные...»

Андрей АДАМОВИЧ. «Как-то был у нас разговор, и он сказал, что его родители сильно хотели, чтобы он стал врачом, а у него таких склонностей никогда

не было. Он мечтал когда-то быть архитектором, потом — изучать иностранные языки... В институте нашем он избрал хирургию, но ее не любил, а потом записался на радиологию. Что я помню о нем? С ним было весело и интересно, он много читал, сочинял песни, играл на гитаре, любил музыку. Он был душой всех наших вечеров. Помню, поручили нашему курсу организацию вечера о вреде курения. Он на эту тему так переиначил пушкинского «Вещего Олега», что весь институт потом несколько дней смеялся. А вообще он был чем-то на нас не похож. Чем? Я думаю, что, несмотря на песни, и шутки, и выдумки, он был серьезнее нас. Большая в нем была серьезность. Он задумывался над целью жизни, искал ее смысл — для себя. И он острее чувствовал все бутры. Там, где для нас были обычные обстоятельства, для него — необычные, которые больно ранят...»

Александр РОМАШОВ. «Мы с ним сошлись на третьем курсе, готовили вместе вечер, посвященный Окуджаве. Он хорошо пел вместе с одной девушкой: «Давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не стоит опасаться...» Он с таким чувством пел эту песню, будто бы сам ее сочинил. И мы всегда думали, что у него хорошо на душе...»

С. И. РЯБОВА (квартирная хозяйка Валерия Барышева, бывший торговый работник, ныне пенсионерка). «Он из дома всегда возвращался с сумками, в них и вкусная еда и чистое белье. Родители у него чу-

десные, не какие-нибудь ханыги. Обычно родные студентам мало помогают, молодежь живет на одну стипендию. Эти нет: и дома у него отдельная комната, книги, и у нас в городе жил не в общежитии, как все, а на квартире, у меня, что тоже говорит о заботе родителей...»

Б. Л. КУДРЯШ (зам. декана лечебного факультета медицинского института). «Барышев — обычный студент: способности устойчиво-средние, с уклоном в хорошие... Интересовался литературой, искусством, меньше — медициной. Несколько слов вообще о тех, кто к нам поступает. Иногда молодые люди идут из романтических соображений и не видят тяжелой и кропотливой работы медика, не понимают, как страшно трудно учиться в нашем институте. Стоит только у этих вчерашних школьников или у их родителей перед глазами, что быть врачом красиво, благородно и это выделяет как-то из толпы. Тут перемешаны и романтика и престиж. Есть ли у нас люди, которые уходят из института? Есть, это бывает на первом курсе, после первого семестра. А на третьем курсе? Я работаю восемнадцать лет и не помню, чтобы кто-нибудь ушел с третьего курса. Третий курс — самый тяжелый, и уж если ты его одолел, то на восемьдесят процентов институт окончен. Может, кто-нибудь и хочет уйти, но, наверное, думает, сколько уже потеряно сил, энергии, самое тяжелое позади, дотянуть надо. И, конечно, никто не ушел так страшно, как Валерий Барышев».

С. И. РЯБОВА. «...Человек он был чудесный. Мальчик скромный, благородный, и я никак не могу его без слез вспоминать. Если за квартиру задержит немощно, всегда говорит: извините, тетя Сима. А я говорю: да что ты, сынок. Если позвонит в дверь, когда после двенадцати, тысячу раз извинится. Но вечерами уходил редко, все больше дома сидел, читал. Про себя рассказывал мало, только пойду туда-то и туда-то... Я и про любовь-то его эту, роковую, узнала, когда он ушел навсегда, хотя могла бы и раньше о ней догадаться. С какого-то времени — почти я обычно сама вынимала — он письмами стал особенно интересоваться. Но письма он и раньше получал — из дома, от родных, — и поэтому я не поразилась. А однажды я захожу к нему, он сидит пишет, а лицо сияет. Это он, наверное — сейчас уж понимаю, — письмо ей писал...»

Илья ОГНЕВ. «...Остроумие и энергия так и били из него. У нас учился на втором курсе мальчик, его зовут «греком», у него отец, кажется, грек, и вот был у него день рождения, и Валерий для него написал... Что бы вы думали — греквием! Ну, понимаете, похоже на «реквием». Я нанзусть запомнил. Вот: «Поднимем нежные бокалы, за счастье выпьем в день такой, пусть лапа русского нахала сольется с греческой рукой. Будь счастливы ты, о сын Афины и мудрых греческих богов...» Дальше запаматовал. Если надо, восстанавливаю, это многие у нас запомнили».

Александр РОМАШОВ. «...Был день рождения одной девушки, Капитоновой Любы, она не только будущей медик, но и певица, у нее голос хороший. И вот Валерий написал для нее стихи. «Тебе на сцене в блеске славы, тебе перед толпой стоять, но ты должна не для забавы фенедоскоп в руках держать. И стены вовсе не больницы должны твой голос отражать, и вовсе не такие лица тебя должны бы окружать...» Дальше забыл. Помню только две смешные строки: «Ты даже в шуме тренья плевры услышишь музыку стихов».

Наталия ЗАВЬЯЛОВА. «...После этой трагедии мы решили собрать все его стихи. Некоторые остались в черновиках у него дома, что-то мы помним сами, что-то он дарил. Я бы разделила его стихи на три катего-

рии, что ли. Первая — чисто шуточная или по какому-нибудь поводу, вроде вечера о вреде курения. Вторая категория — серьезные, но написанные не для одного себя. А третья — только для себя, он их никому не читал, мы их нашли уже потом».

Илья ОГНЕВ. «...А вот еще шуточные стихи. Были мы осенью на картошке, 30 сентября, а это, как известно, день Веры, Надежды и Любви. И были там Любовь и Надежда, наши студентки, а Веры не было. Валерий написал стихи и читал их. Стихи о том, как тяжело без Веры. Там был рефрен, шуточный: «Без Веры, без Веры, без Веры живем». И он утешал нас: «Не надо тому огорчаться нисколько — Любовь и Надежда заменят ее».

Наталия ЗАВЬЯЛОВА. «...А вот из стихов, написанных для себя. «Судьба, зачем ты так крута? Мой друг уходит навсегда... Судьба, зачем ты так крута? Красивых женщин красота коварством на судьбу похожа. Зачем всегда уходит та, та, без которой жить не можешь?»

Андрей АДАМОВИЧ. «...Вот он с девушкой познакомился. И тут он был не как все — он сам готов был пожертвовать собой и, наверное, от нее ждал такой же самоотдачи. Он мне рассказывал про нее; она старше его, много повидала, пережила. Она его поразила. Он восхищался ею. Он однажды читал мне стихи о том, как вечером вошел в комнату и увидел в стакане воды, который оставил днем на окошке, все ночное небо...»

М. Н. СИДОРОВА (психолог). «Заметно, что «стихи для себя» у Валерия Барышева гораздо более печальные, чем стихи «для всех». Он словно жил в двух ипостасях: одной, повернутой ко всем, и в ней он был даже веселым, компанейским, он был человеком, которого любили, он мог написать про себя, как «про русского нахала». Он обычный студент, остроумный, беззаботный, общительный, находчивый и даже будто бы бездумный. Но во второй, внутренней, он пишет: «Судьба, зачем ты так крута?» Меня его товарищи познакомили и с остальными стихами «для себя». В них такие строки: «Наша жизнь коротка, как дорога домой, все на этой планете не вечно». В них он пишет о несовершенстве человеческих отношений, и мне кажется, что это не тривиальный юношеский пессимизм — чувствуется живая боль».

Товарищи нашли в его бумагах и автопортрет, ведь он рисовал. Интересный, странный рисунок. Две половинки человеческого лица соединены воедино. Одна — «дневная», бодрая, с распахнутым окном, вторая — «ночная», невидящая, темная.

Когда же он был подлинным, самим собой? Мне кажется, что обе ипостаси подлинны. Это безусловно цельная личность, обладающая сложной структурой. Это личность, в которой цельность взаимосвязана с неоднозначностью. И этим же определяется ее неординарность. Наивно думать, конечно, что наедине с собой он был «ночным», а на людях «дневным». Он был, повторяю, натурой цельной, как кажется мне, поэтому и сквозило независимо от его желания «ночному» существование в «дневном». И это сообщало ему некую загадочность. Он тщательно скрывал «болевое начало», но не мог и не хотел скрывать острый интерес к людям, жизни, сострадание, участие, которые обычно сопряжены с «болевым началом» в личности, с большой ранимостью и незащищенностью.

В сущности, у него было мироощущение человека искусства, во многом романтическое. Не случайно же, конечно, он когда-то мечтал быть архитектором. Он был человеком разносторонне одаренным и в то же время ни в одном из этих дарований не был уверен. Поэтому, наверное, и пошел по настоянию родителей в медицинский институт. Но все говорит о том, что он все больше не находил себя в

медицине. «И стены вовсе не больницы должны твой голос отражать» — это ведь не только про поющую сокурсницу Любу, но, думаю, про себя.

Трудно винить родителей Валерия, у них была непростая и нелегкая судьба: отец — рабочий-грузчик, мать — медсестра. Всю жизнь для нее врачи были существами высшего порядка. И она страстно мечтала о том, чтобы подобным существом стал и ее сын. Родители Валерия честные, хорошие люди, совершенно искренне и самоотверженно «жили для него». Они хотели для него только хорошего, но хотели — ПО СОБСТВЕННОМУ РАЗУМЕНИЮ. Для сына они хотели того, чего не было у них и о чем они мечтали — солидности. «Он будет врачом», — говорила мать. Для нее это было вершиной... И Валерий, выдержав большой конкурс, поступает в медицинский, и достигает третьего курса, и задается, судя по стихам и воспоминаниям товарищей, вопросом «зачем я живу?» и ищет ответа.

В сущности, у него со всеми хорошие отношения, начиная с хозяйки, у которой он снимает комнату, и кончая деканом. Его любят товарищи. Они чувствуют в нем романтика. И им, натурам более земным, это импонирует. Более того, они чувствуют в нем — физически крепком — хрупкого романтика, и это вызывает нежность. А между тем, несмотря на всю хрупкость, он был натурой не только цельной, но и сильной. Об этом, в частности, говорит и его последнее письмо Ирине Туровской, женщине, которую он любил...

Андрей АДАМОВИЧ. «...Он познакомился с ней за два с половиной или три месяца до трагедии, и это было самое яркое время в его жизни. Он был человеком скрытным, но мне однажды сказал, что теперь он понимает: чувство благоговения не выдуманно поэтами и фантазерами. Оно существует реально. Он испытывает его к ней...»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Из переписки Ирины Туровской с писательницей Мариной Валентиновной Д.*

«Уважаемая Марина Валентиновна, я убила человека. Человека, которому было только двадцать лет и который был теплом и радостью в моей жизни. Это был, поверьте мне, удивительный человек. Он любил жизнь и умел жить, зажигая всех окружающих».

Родители, товарищи ищут виновных, а у меня не хватает ни сил, ни мужества открыть им истину. Почему я пишу именно вам, незнакомому мне человеку, писателю? Мы с Валерием читали вместе одну из ваших книг. Его поразили ваш рассказ о том, как вы поспешили на помощь женщине, которая была в беде. Валерий тогда сказал: «Как хорошо быть писателем, как хорошо понимать человеческие души, человеческие отношения и помогать людям, это великая честь».

* Писательница дала согласие опубликовать ее письмо, но не разрешила называть ее подлинного имени. Изменена и фамилия Ирины.

С каждым днем мне все труднее жить. Сознание вины тянет в бездну. Я понимаю, что это мое письмо нелепо, но я в отчаянии, помогите мне, на вас последняя надежда. Я работаю в С., в районном центре, в редакции газеты, недалеко от областного города, где учился Валерий и где мы познакомились с ним. Дайте мне телеграмму, я через три часа буду в областном городе, в гостинице, где вы остановитесь.

Ирина Туровская.

«Милая Ирина! Рассказ, который вы читали с Валерием, написан мною около тридцати лет назад. Я была молода — относительно — и сестра в поезд или самолет в ответ на тревожное письмо для меня было естественно, как дышать. Сегодня я с трудом выхожу из дома, а в эти дни даже лежу. Я теперь, увы, старая и больная. И мука моя в том, что письма, получаемые от читателей, ранят меня не меньше, а больше, чем тридцать лет назад, а поехать немедленно, помочь живым участием или живым делом не могу.

Что стряслось с вашей жизнью? У меня в областном центре, где вы задумали нашу встречу в гостинице, немало читателей и, рискуя утверждать, читателей, в том числе и на высоких должностях. Если вам угрожает непосредственная реальная неприятность, я обращусь к ним, чтобы они отнеслись к вам с пониманием.

Но, милая, вы никого не убили! Мой опыт не может меня обмануть. Люди, на чьей совести убийство, не пишут письма, подобные вашему. Видимо, вы не спасли, и это мучит вас. Я ошибаюсь?

Как было бы хорошо, если бы вам удалось выбраться ко мне в Москву. Вы бы все рассказали, я бы постаралась понять, а когда кто-то понимает, уже легче жить. Остановитесь у меня, поживете, отойдете душой. Я не рискую вас ни о чем спрашивать. Может быть, вы даже уже пожалели, что послали мне отчаянное письмо, и не ответите на это. Я повторю, ни о чем не расспрашиваю, и, может быть, не стоит вам в новом письме беречь рану. Расскажите, если хочется, о себе, не касаясь беды...»

«Дорогая Марина Валентиновна! Ваше письмо успокоило меня немного, хотя чувство вины за эти дни стало острее, может быть, потому, что я перечитала письма Валерия, которые он посылал мне в город... во время последней и, в сущности, первой нашей разлуки. Больше я его не видела.

Но лучше, действительно, не касаясь беды, рассказать вам о себе, иначе вы, наверное, даже при вашей мудрости чего-то в этой истории не поймете.

Мне двадцать семь лет. Я уже была замужем, но это неважно и неинтересно.

Я родилась неподалеку от города А., в семье было пятеро детей, я младшая. Отец умер, когда мне было три года. Он был рабочим, мать — домохозяйка. Когда мы остались без отца, старшие, закончив восемь классов, шли работать. Из двух моих сестер и моих братьев выучился и закончил институт только один любимый брат. Он теперь инженер-строитель.

Мама растила нас в твердой убежденности, что если ребенок сыт и одет, то все — больше ему ничего и не надо. В этом нельзя ее винить: ее родители умерли рано, жили они трудно, у нее были старшие братья, и когда кто-то из них гостил у нас или гостил теперь, то непременно возникали ссоры.

Маму нельзя винить, но мы совершенно чужие люди. Теперь ее вещи интересуют гораздо больше, чем дети. Но, может быть, и мы, ее дети, в этом вино-

баты. Не только от нее к нам, но и от нас к ней было мало добра, теплоты и участия.

В классе восьмом я начала писать стихи. Мама нашла тетрадь и возмущилась. Чем заниматься такой ерундой, говорила она, шла бы лучше работать. Она читала эти стихи вслух и буквально глумилась над каждой строчкой. Я заплакала и умоляла отдать мне тетрадь, но она не отдала. А там были и мои дневники, это душа моя там была. Я писала и про детскую первую любовь (он, конечно, никогда не узнал об этом чувстве, человек, которого я тогда любила). Мать собрала родственников и устроила настоящий домашний суд. «Вы посмотрите,— говорила она им,— что она пишет, это в шестнадцать-то лет!» Я потеряла сознание в первый и последний раз в жизни. Упала в обморок, как барышня из старого романа. Тогда мама не на шутку перепугалась — она ведь все-таки любила меня — и на завтра потащила к врачу. Я потом все это сожгла — и стихи и дневники.

Я стала с того времени скрытной и, пожалуй, жесткой. Не только человеку, даже бумаге ничего не доверяла: все время стояла передо мной мама, и я слышала, как она смеется.

Марина Валентиновна! Это первое письмо, в котором я исповедуюсь.

Когда я окончила школу, я ушла из дому. Я стала работать в районной газете корректором и изредка пописывала. Один добрый человек посоветовал мне поступить на факультет журналистики, я неожиданно для себя поступила, на заочный. Мать не одобрила моего выбора, она хотела, чтобы я поступила на медицинский (вот пишу вам и вдруг первый раз подумала о странном совпадении: ведь и родители Валерия ЗАСТАВИЛИ его пойти на медицинский).

Потом я работала в рекламе, получала семьдесят рублей зарплаты, из них двадцать пять отдавала за комнату, всю зиму ходила в старых летних туфлях, но к матери за помощью не обратилась.

Потом я работала в многотиражке, на заводе тяжелого машиностроения литсотрудником. Это были лучшие годы в моей жизни. Я познакомилась с интересными, увлекающимися людьми, но все время хотелось чего-то нового: людей, встреч, мест. Все время мне казалось, что можно жить разнообразнее и плодотворнее, чем я живу. Тянуло в дорогу, к новым местам. Мне почему-то казалось, что перемена места изменит всю мою жизнь к лучшему. Я в это верила так же наивно, как в то, что высшее образование изменит мою судьбу. Я узнала, читая «Журналист», что есть вакансии в районной газете, в маленьком городе на Севере, в той области, где я сейчас живу. Мне ответили. И вот около двух лет я работаю зав. сельхозотделом в местной районной газете. Работаю иногда с четырех утра до двенадцати ночи. Живу у одной доброй бабуся, в избе за пергородкой.

Можно, я расскажу теперь, как познакомилась с Валерием. Я сидела с ребятами в баре при гостинице в областном городе. А жила я тогда в этом городе долго, потому что занимаюсь еще в университете марксизма-ленинизма и была у нас сессия. Ко мне отнеслись хорошо, дали мне место в гостинице обкома, чтобы я работала над дипломом. Было это совсем недавно, в марте. Мы болтали, дурачились, настроение было хорошее. Я Валерия не заметила, но кто-то из ребят показал на него. Вот, мол, уже полчаса не отрываясь, изучает тебя. Вижу: действительно, сидит, смотрит, не отрываясь, без улыбки, строго и как-то торжественно. Ребята говорят: позвем его к нам. Позвали, он подошел, так мы и познакомились. И тут опять пошел общий разговор, бессвяз-

ный, бестолковый, а в конце разговора он вдруг меня спросил: можно с вами посоветоваться, у нас вечер в институте готовится о вреде курения, вы, как журналист, не подскажите что-нибудь? Я согласилась.

А сам он курил, пока не узнал, что у меня аллергия на табачный дым. Мы были, я помню, за городом, жгли старые листья в апреле, тлели костры, хорошо пахло дымом, он подошел к одному костру и с комичной торжественностью, чтобы развеселить меня, — ему все время хотелось, чтобы мне было весело, — кинул в огонь пачку сигарет с забавной клятвой не курить до тех пор, пока у меня не появится аллергия на отсутствие табачного дыма...

Валерий радовался мне, как ребенок. Он идеализировал меня, он не видел моих пороков. Он окружал каким-то романтическим ореолом некоторые мои качества: общительность, коммуникативность, веселость, известную неординарность. Видимо, они совпадали с моделью женщины, которую он создал когда-то в воображении. И вот ему показалось, что он действительно встретил ту единственную, необыкновенную, удивительную, неповторимую. Я же давала ему понять, что в любую минуту расстанусь с ним легко и безболезненно, я не говорила об этом вслух, но всем «независимым», решительным и жестоким видом не оставляла сомнения, что он не первый и не последний.

Смутно, еще не определив для себя точно почему, я уже тогда догадывалась, что не в силах дать Валерию то, чего он хотел, что ему нужно. Он мечтал о маках среди зимы, а мне вполне достаточно веточки умершего бессмертника. Слушая Моцарта, он сам становился Моцартом. А я улавливаю перемены внутри себя, но умолкает музыка, и что-то из души уходит. Во всем, во всем Валера стремился к совершенству. Меня же если не вполне устраивает жизнь, то по крайней мере я с ней лажу: не получилась рисунок — в печку, тривиальный стищек — в печку, и на душе легко: слава богу, никто не видел, не читал.

Мне все казалось, что я «воспитываю» Валеру, опускаю с небес на землю, учу разумной трезвости. Но — понимаю теперь — он воспитывал меня. С каждым днем мое сердце становилось больше и добрее, и душа, сжавшаяся в комочек от бесчисленных микропотрясений, расправлялась и открывалась людям — она теперь готова была вобрать в себя чужие несчастья. В такой хороший час мы читали с ним вашу книгу...

Марина Валентиновна! Вот-вот в районе начнется уборочная, и отлучиться на два-три дня для меня совершенно невозможно. В три утра за мной заезжает машина, я весь день мотаюсь по колхозам, а вечером пишу в номер. Те полтора месяца, когда я жила в областном центре и готовилась к экзаменам в университете марксизма-ленинизма и последующие два месяца, когда я защищала диплом в университете, мне порой ставят в вину как бесконечную курортную жизнь. Я не сержусь за это на моих товарищей. Их можно понять: в редакции всего несколько человек, а газету каждое утро подавай новую. Когда выбывает надолго один, всем остальным жить ощутимо тяжелее.

Псылаю вам фотографию Валерия. Мне хочется, чтобы вы увидели его и чтобы он увидел вас.

Я ни с кем в жизни не была так откровенна, как с вами. Наверное потому, что тот ваш рассказ — последнее, что мы с Валерием читали. Ваша книга была для него открытием.

Надо кончать письмо, а я не могу остановиться.

Он был одинок в своем восприятии, понимании мира. И эти мои авансы: читать будем вместе, слушать

вместе, все-все вместе — вселили в него надежду, что внутреннее одиночество кончится. Вот почему чувство вины обостряется во мне все больше.

Спасибо вам, до свидания».

«Ирина! Чем ответить на вашу исповедь? За доверие можно заплатить лишь доверием, как за любовь любовью, иной цены в человеческом мире не существует. Писатели — скрытный народ, они редко рассказывают о замыслах (может быть, суеверие, что не осуществится). Мне захотелось рассказать вам об одном замысле. Он давний, но упорно живущий во мне по сей день. Лет двадцать назад, когда я была, как говорится, в расцвете сил, моей самой большой радостью были путешествия. Я немало поколесила, поплавала, полетала, была даже в Австралии. И там, в заповеднике, видела кенгуру, они уже тогда исчезали, их осталось совсем немного, и, как все исчезающее, они вызвали острое ощущение незащищенности и беспомощности. У кенгуру, которое доверчиво повернуло голову, учуяв мои шаги, была совершенно очаровательная морда, ну, человеческое лицо. Мы постояли, всматриваясь друг в друга, потом это существо (их осталось на земном шаре меньше ста) убежало. Наверное, в те мннуты и родился замысел.

Двадцать лет назад вы были еще ребенком и, конечно, не помните, что то было время бесчисленных дискуссий о возможном и невозможном в кибернетике, о фантастическом господстве «мыслящих машин», то было время, когда главенствующим жанром в литературе вдруг стала фантастика. И вот я задумала рассказ, местом действия которого должен был стать заповедник. Но живут в заповеднике не кенгуру, не зубры, не страусы, а... люди. Их мудро и милосердно оберегают новые хозяева планеты — некогда людьми же созданные мыслящие машины, конечно же, на машины в сегодняшнем понимании (непохожие. Их сохраняет искусственная жизнь, достигшая той степени интеллектуальной мощи, о которой человеку и не мечталось. Почему же она сохраняет их, зачем ей нужны эти странные, беспомощные, умственно ограниченные существа — то есть люди? Может быть, ради экзотики? Для демонстрации инопланетным путешественникам, если они появятся? Ведь, как утверждают фантасты и даже трезво мыслящие ученые, мудрым машинам ничто человеческое чуждо не будет. Нет — и в этом соль фантастического, задуманного мной рассказа, — они оберегают их не ради экзотики и по мотивам не чудаческим, а строго рациональным — они оберегают их потому, что без человеческого, «слишком человеческого», как иронически писал философ Ницше, самая в интеллектуальном отношении мощная жизнь теряет высоту, идет на убыль. В этом таинственная сила человечности. Ее хорошо понимал один старый мудрец, утверждавший: «Великие мысли рождаются в сердце». Новые хозяева ощутили, что по мере исчезновения людей, чья мысль немощна в сопоставлении с их идеями, почему-то начинают меркнуть их идеи. Нарушается какое-то высшее — не экологическое уже, а космическое равновесие. А ведь и... мыслящая машина, как и человек, — микрокосм. Воздух, которым мы дышим сегодня, насыщен человечностью, мы не ощущаем ее и не думаем о ней, потому что дыхание — это дыхание. Нет ничего естественней. Но я отвлеклась от сюжета рассказа, а точнее, даже не начала его излагать. В этом заповеднике развиваются отношения между двумя любящими существами: да, он и она. И вдруг оказывается, что это самое важное в смысле судеб новой цивилизации, что по какому-то таинственным космическим законам будущее новой мощной интеллектуально-искусственной ци-

вилизации зависит именно от неудачи или удачи этой любви.

Культура, как известно, не умерла, когда умерли Ромео и Джульетта. Потому что, несмотря на всю уникальность трагедии, разыгравшейся в то время в Вероне, сами по себе отношения уникальными не были. Но вообразите — фантастика, — что это последняя любовь на Земле, где огненные царят ния структура бытия!

А, может быть, даже если исчезнут только австралийские кенгуру, что-то изменится в нашем внутреннем мире и мире вообще? Что-то уйдет не только из заповедника, но из сердца, из культуры?.. Более того, это загадочным образом отразится на будущем человечества?

Я фантазирую не для того, чтобы отвлечь вас от печальных воспоминаний, мыслей, хотя, наверное, бессознательно и для этого.

Понимаете, один старый писатель, ныне уже умерший, любил повторять: каждый рассказ, каждую повесть надо писать так, будто бы они последние у тебя. Наверное, и любить надо так. Это соотношение — плод поздней мудрости, мудрости, недоступной ни в двадцать, ни в двадцать семь, ни даже в сорок. Но порой в виде редчайшего исключения она доступна двадцатилетнему. Валерий этим исключением и был. Я долго всматривалась в его лицо на фотографии. Одновременно и мужчиной и ребенком. Что-то от молодого Маяковского. Неистовый максимализм в сжатых губах. Не подумайте только, что я вас сейчас в чем-то виню. У женщины, даже когда она старше мужчин, это отношение к любви, как к последней, бывает гораздо реже (а у женщин-писательниц отношение к книге, как к последней, реже, чем у писателей-мужчин). Может быть, потому, что у женщин с ее чувством материнства сильнее развито сознание бессмертия, для нее вообще меньше последних вещей в мире, чем для мужчин. Для нее даже последнее одновременно и первое.

Нет! Вы не убили, я почти в этом убеждена. Ваша вина тоньше и, возможно (я не хочу сейчас вам делать больно, а если и делаю, то на одну мнуну), и глубже. Это та глубина, которую легче увидеть и понять со стороны: дело в том, милая девочка, что иногда неполное понимание ранит смертельнее, чем полное непонимание. Родается огромная, несмысленная надежда и... рушится, а с нею рушится целый мир. При полном же непонимании надежда с самого начала полупарализована».

«Дорогая Марина Валентиновна! Постараюсь, чтобы письмом это было более строгим и четким, было более трезвым, чем первые два. Познакомились мы с Валерием в начале марта. О родителях Валерий почти никогда не говорил. Лишь однажды, когда я в мнуну откровенности сказала ему, что мне не хочется ехать к маме, он мне неожиданно ответил: и у меня совершенно такая же история. Он страшно завидовал тем людям, которые любят дело, которое делают. Завидовал мне, говорил: как замечательно быть журналистом, с людьми встречаться, переживать их жизнь.

Однажды Ольга (моя подруга по университету марксизма-ленинизма), когда мы сидели в общежитии обкома в нашей комнате, познакомила нас с шутивым тестом на определение характера и мировоззрения. Там наряду с малосерьезными вопросами был и такой: нравится ли вам ваша работа? Он четко и сухо ответил: нет. А мы, дуры, начали издеваться над ним, называли хамелеоном в белом халате и тому подобными дурацкими словами. Я еще не понима-

ла тогда, как ему это больно. Потом он совершенно откровенно объяснил мне, что институт не любит и пошел туда лишь потому, что в их семье был форменный культ работы врача, мама, медсестра, говорила «доктор», как говорят «бог».

Я Валерку начала понимать по-настоящему, только когда побывала у его родителей. На похоронах. Вошла в дом — ковры, хрусталь, похоже на мою маму, и нигде ни рисунка Валерия, ни резьбы его по дереву. Оказалось, они в шкафу их держат. Когда он нарисовал Паганини, мать огорчилась — «какую страхолюдину нарисовал». Это он мне говорил.

И при этом они любили его без меры. Ничего для него не жалели, все лучшее для него. Обо мне никогда так не заботились, поэтому я так остро и понимала это.

Ну вот, познакомились мы с ним в начале марта. А двадцатого апреля я Валерия почти насильно отправила домой, в город Орехов, к родителям. Ему не хотелось, а я говорила ему, что он давно там не был, и что если съездит сейчас, то отбудет «сыпавью повинность», и у нас появится возможность на майские дни уехать в деревню.

Он согласился со мной. А когда он уехал, я получила тотчас же письмо из университета о том, что в городе А. начинаются установочные лекции перед государственными экзаменами и мне надо уезжать. Я ему позвонила в Орехов, толком ничего не растолковала, только сообщила, что улетаю в город А., вернусь — объясню. Потом я трое суток сидела в аэропорту в Домодедове, а он в тот же день, когда я позвонила, был в областном городе — искал меня.

Папа его после рассказывал, что после разговора со мной он тут же стал собираться. Родители уговаривали его не ездить, а он им ответил: и не хочу ее потерять навсегда. Одно из самых страшных для меня воспоминаний — это воспоминание последнего нашего разговора по телефону. Я позвонила ему веселым голоском: «Валера, я уезжаю. Я тебе напишу, если будет время».

Вся эта легкость, вся эта деланная веселость от моего давнего убеждения, что основное — работа, что работе и учению не должна мешать такая безделушка, как любовь. Любовь можно позволить в пустые минуты.

Только на расстоянии трех с половиной тысяч километров до меня дошло, что Валера дорог мне. Поэтому писала ему. В городе А. я обнаружила, что заметно изменилась, не было дня, чтобы я не думала о Валерии. Я получила от него десять писем (одинадцатое — последнее ожидало меня дома). В двух письмах были посвященные мне стихи.

Начиная с пятого в письмах вошла тревожащая тема экзаменов. Получилось, что мы с ним держали экзамены в одно и то же время. У меня были госэкзамены и защита диплома, у него экзамены при переходе на четвертый курс. «Ты меня не очень рутай, — писал он мне, — за тройки, для меня и тройки будут счастьем, эта сессия самая трудная». Когда я сообщила ему, что получила на госэкзамене пятерку, он меня поздравил с «грандиозной победой» и в том же письме пожаловался на «серую и однообразную» жизнь. Самое поразительное, что его последнее из полученных мной в городе А., десятое, письмо было умиротворенным и тихим. Он получил на первом экзамене «удовлетворительно» и писал: «Чапа (он называл меня этим именем), я доволен, как слон. Этого экзамена боялся даже отличники. Так что ты не рутай меня, а лучше поздравь. Очень много завалов». Он мне писал в этом же письме: «Нам нужно обязательно встретиться, ни в коем случае не умирай и быстрее залечивай травмы (я ему писала до этого, что в

бане упала и сильно расшиблась, даже к врачу ходила), больше я такого не допущу и тебя на руках носить буду».

Больше писем не было. Я получила это в день защиты диплома. Я защитила на «пять» и тут же ему написала что-то тщеславное — поздравь меня, равняйся на меня и т. д.

Десять дней, лишь десять дней отделяют дату этого письма от даты его ухода. Сейчас разные официальные лица исследуют события последних десяти дней, спрашивают его товарищей, экзаменаторов, квартирную хозяйку, всех, кто с ним в эти десять дней общался, всех, кто его видел, всех, кто был с ним рядом.

Единственный человек из его окружения, которому непосредственно о событиях этих десяти дней неизвестно, — я. Единственный и самый виновный...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Эти десять дней

Андрей АДАМОВИЧ. «На первом экзамене, десятого июня, он получил «удовлетворительно» и повторял, что доволен, как слон. А шестнадцатого июня был экзамен по патофизиологии. Доктор медицинских наук Б. накануне второго экзамена на консультации заявил, чтобы мы все явились с записями его лекций, и добавил, что если лекции записаны разными почерками, то эти конспекты для него недействительны и он к экзамену не допустит, поставит двойку. Не помню уже почему, но Валеры на консультации не было, по-моему, в тот день он был у родителей в Орехове. А некоторые лекции он не писал. У него была феноменальная память, и поэтому он записывал лишь то, что заключало в себе особые трудности для запоминания. Но ему было известно, что экзаменатор Б. требует полной записи лекций. Не было ему лишь известно, что Б. не терпит разных почерков. Поэтому он одолжил у кого-то тетрадку и, пока он готовился к экзамену в Орехове, его отец переписал из нее несколько лекций.

И вот экзамен. Валера начал отвечать по билету, но экзаменатор посмотрел, полистал тетрадь, увидел, что разные почерки, закричал, что это обман, что Валера к экзамену не готов, и, не дав ему ответить по билету, выставил вон...»

Илья ОГНЕВ. «Б. единственный в институте, кто требует, чтобы все было записано одним почерком. Понимаете, для Валеры это была катастрофа. Если бы он любил медицину, то, наверное, отнесся бы к этому легче и разумнее, пошел бы назавтра к Б., договорился бы о пересдаче. Но уже после первого экзамена, десятого июня, он говорил мне, что окончательно разочаровался в медицине. Когда он завалил шестнадцатого, мы его ободряли, я напомнил ему, что на первом курсе мы завалили биологию и ничего — пересдали. За студенческую жизнь мало кто двоек не пережил».

Б. КУДРЯШ, декан лечебного факультета. «Есть ли такой писанный или неписанный закон, чтобы показывать экзаменатору конспекты, да еще обязательно одним почерком? Конечно, нет. Откуда студент черпает познания — это его личное дело, лишь бы ответил толково. Б., разумеется, не прав. Но нелепо рассматривать это как некую катастрофу. У Барышева на первом курсе была пересдача, он отнесся к ней адекватно. И, извините меня, двойка по пато-

физиологии — это отнюдь не крушение судьбы. Можно было что-то понять, если бы он был типичным и законченным отличником, болезненно-драматически переживающим даже тройку. Но ведь он в основном на тройки и учился».

Андрей АДАМОВИЧ. «...А недели за две до этого, то есть до двойки по патофизиологии, мы отмечали в общежитии его день рождения. Он играл на гитаре, пел, был, как обычно, душой коллектива, и, помню, я подумал: вот у кого можно занять-одолжить в тяжкую минуту душевную и телесную силу».

Семнадцатого июня, после этой нелепой истории с разными почерками, я пошел рано утром к Валерию, он был мрачный, я пытался его развеселить, но ничего у меня не вышло. От всех моих шуток он без улыбки отмахивался — голова болит.

А через четыре дня — третий экзамен, по патоанатомии. Когда я заговорил об этом, Валера ответил, что после патофизиологии патоанатомии учить ему неохота. На консультацию он не явился. Не явился и на экзамен.

Ирина, девушка, которую он любил, была в то время в городе А.

Мы все, как и обычно перед экзаменами, зубрили».

С. И. РЯБОВА (квартирная хозяйка). «Шестнадцатого, когда он вернулся после экзамена, он меня обманул, говорил, будто бы тройку получил, я уже потом узнала, что двойку. Был печален, а я ему и говорю: подумаешь, тройка, не переживай! Он и отошел немного. А восемнадцатого мы отделяли с ним кухню, он был мастер на все руки. Когда мы закончили работу, я, помню, спросила: Валера, ну, как у нас кухня? Он ответил: ой, тетя Сима, до чего же у нас хорошо!»

И говорю ему: сынок, у меня двадцатого день рождения. Он спросил: сколько же лет вам будет? А я ответила — пятьдесят один.

И вот наступило двадцатое, мой день рождения. Часов в девять утра я позвала его: Валер, Валер, — а он не ответил. Я пошла на базар, пошла в парикмахерскую, вернулась домой в пятнадцать часов пятнадцать минут. Почему время точно запомнила? По радио была передача наша местная, и время назвали. Я вошла в его комнату, а там на тахте записка ко мне лежит: тетя Сима, я страшно виноват перед вами, позвоните моим родителям в Орехов. Я и думаю: о чем же это? А потом вижу — еще три какие-то записки: Адамовичу, то есть товарищу, Барышевым, то есть родителям, и Туровской...»

Андрей АДАМОВИЧ. «В записке ко мне было всего лишь несколько слов: «Помнишь, мы с тобой говорили о смысле жизни?»

Это было давно, может быть, даже на первом курсе. Он только что кончил читать «Божественную комедию» Данте, и она его потрясла до такой степени, что ни о чем большем он не мог говорить. Память у него была отличная, мы шатались по городу и он читал наизусть целые куски, целые главы...»

М. Н. СИДОРОВА (психолог). «В этой истории есть одно, казалось бы, внешнее, но весьма важное обстоятельство: день рождения хозяйки квартиры. Валерий относился к людям бережно и участливо, стараясь ни с кем не общаться, когда у него дурное настроение. Он был человеком скрытным, и он был человеком душевно тонким. Для того, чтобы этот человек решился в день рождения хозяйки, в общем-то симпатичного ему лица, совершить то, на что он решился, нужно особое состояние безысходного отчаяния, которое не может ждать, которое требует немедленного выхода, разрешения. Илн — некое событие, встреча с которым невыносима. Этим событием была, видимо, экзамен по патоанатомии двадцать пер-

вого июня. Двадцатого июня, в день рождения Рябовой, он уходит из жизни и тем самым избавляет себя от экзамена двадцать первого июня. Все мои собеседники, имеющие отношение к мединституту, вспоминали, что на первом курсе у Валерия был тоже завал — по биологии, была пересдача и, в сущности, ситуация, возникшая шестнадцатого июня, не была новой. Это было уже однажды испытано и пережито. Но между положением Барышева на первом курсе и на третьем была огромная разница.

Во-первых, он уже затратил массу сил на это немилое для него, и чем дальше, тем больше, гнетущее дело — медицину. А во-вторых, он встретил Ирину.

Он, двадцатилетний мальчик, хотел быть для нее, двадцатисемилетней женщины, старшим; он и вообще то все время стремился к тому, чтобы быть старше ровесников. В последние недели он отпустил усы. Чисто внешняя, но важная деталь, он должен быть для нее мужчиной, надеждой и опорой, он и писал ей как старший: «Я тебя на руках носить буду». И он хотел быть не просто мужчиной, а мужчиной, который, образно говоря, положит, если надо, к ногам любимой женщины все царства мира. А что вместо этого? Мальчишка-студент, неудачник, жалкий несмышлениш. Она, женщина, получает там где-то пятерки, защищает с блеском диплом — и он ее со всей искренностью любви поздравлял с этим, — а он, он...

Но не наваждение ли это, не «дурной сон»? Умереть из-за неудачи на экзаменах, даже на двух, на трех? Соверши резкий шаг в сторону, разрубил узел, начини сначала и жизнь и самоощущение! Молодой, сильный, талантливый... Живи. Сколько выходов, сколько решений, сколько вариантов! Ведь он мог после рокового этого завала с разными почерками забрать документы из мединститута и уехать совсем из этого города на БАМ, на какую-нибудь стройку, на Север, на Дальний Восток, работать там, ну хотя бы оформителем в Доме культуры: ведь он был художником. Или рабочим — все мои собеседники отмечали, что физически он был сильным. И писать там стихи, рисовать, читать книги, искать себя и в конце концов найти. Ирина была бы далеко... Пиши письма, завоевывай или, если не хочешь ни на день расставаться, забирай документы из этого набившего оскомину мединститута и уезжай в тот город, где живет и работает она. А потом с нею уезжай куда-нибудь далеко от места первой жизненной неудачи. Перед тобой вся жизнь, вся земля... Ведь было ему только двадцать лет. Но...

Неординарная личность не сумела совершить неординарного выбора в жизни. В этом психологическая суть трагедии. Я думаю, что надо воспитывать сейчас в людях, особенно молодых, это умение совершить неожиданный шаг, когда, казалось бы, судьба рушится. Чтобы вовремя было совершено внутреннее открытие: я могу начать жизнь сначала.

Чаще всего в ситуации, из которых надо решительно выйти, попадают люди наиболее чувствительные, уязвимые, с наиболее развитыми (и даже переразвитыми) психологическими структурами. К ним надо бережно относиться. Но и сами они должны бережно относиться к себе. Надо понимать их ценность. Но и они должны понимать собственную ценность. Надо их оберегать. Но и их самих надо учить и духовно-нравственному и даже физическому самосохранению. Надо учить их бережному отношению к себе как к творчески и социально ценной личности — бережному отношению не в узкоэгоистическом, а в высоком понимании: не для себя, а для общества».

Андрей АДАМОВИЧ. «...Чем больше я думаю, тем меньше понимаю, почему он ушел из жизни. Я ли-

стал его тетради, в которых записаны лекции первого курса, там есть несколько строк, не имеющих отношения к медицине. Например: «Я вижу, как живут люди, и меня такая перспектива не устраивает. И чем дальше, тем больше эта серость окутывает».

Объясняет ли что-нибудь эта запись? По-моему, нет. Кому из нас не хотелось и не хочется, чтобы жизнь была более яркой. А Валерий не только хотел, но и делал ее более яркой. Он украшал ее стихами, рисунками, песнями, игрой на гитаре. Он украшал ее собой, собственной личностью, он что-то излучал... Он боролся с серостью и, мне кажется, все время побеждал ее.

Или он пишет: «Жизнь без цели — это не жизнь». Но разве цель только в том, чтобы быть врачом, инженером или архитектором? Он же сам говорил часто: цель в том, чтобы быть человеком. И для нас он был настоящим человеком. А не нравится медицина, попытайся стать художником, писателем, моя мать в сорок пять лет начала рисовать и сейчас выставляется в Москве. Нет, и эта запись ничего не объясняет.

Я все время думаю о нем. По виду он был человеком совершенно не замкнутым, открытым, общительным, как говорят, артельным. И в то же время чувствовалось, что у него какой-то собственный мир, куда он никого не пускает. Может, не надеялся, что его поймут? Он все время пробовал себя, все время искал, все время испытывал силы. После первого курса был в стройотряде, занимался в студенческом научном обществе по радиологии, великолепно плавал на байдарках и вообще отлично плавал.

Не могу верить в то, что Валерий хотел умереть. Он хотел совершить что-то такое, что-то такое... Это надо додумать до конца, это надо понять, тут какая-то тайна... Это надо понять...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Из переписки
Ирины Туровской
и писательницы
Марины Валентиновны Д.

«...В том письме, дорогая Марина Валентиновна, снл на логическую стройность не хватило, поэтому расскажу в этом по порядку, что было дальше. После письма от десятого июня, в котором Валерий сообщил, что, получив тройку, он «доволен, как слон», от него писем больше не было, я ходила на почту, ничего не получала и решила, что он полностью поглощен экзаменами. Тридцатого июня я дала ему телеграмму о вылете, но на аэродроме в Домодедове (а от нашего областного города до Москвы два с половиной часа), к моему удивлению, его не было. Я поехала к Ольге (помните, подруга по университету марксизма-ленинизма) и говорю ей: не понимаю, почему Валерки не было на аэродроме. Она мне говорит: «А тебе ничего не известно?» Я засмеялась и говорю: «А что, разлюбил, что ли?» Она отвечает: «Он погнб». Я поехала к родителям, и они дали его последнее письмо ко мне. Вот оно.

«Ира, прости меня. Я тебе уже однажды пытался говорить, что сел не в свои сани. Я больше не могу — силы кончились. И не считай меня трусом. Отступать уже поздно... Я люблю тебя! Моя единственная просьба: роди сына, назови его Валерой и вырасти

из него настоящего человека! Ради меня. Я люблю тебя. Ты одна у меня осталась, и я не хочу потерять тебя. Прости меня и прощай, Валера. 20.VI. Как жаль, что я мало написал тебе советов».

Отец его, когда мы с его родными шли с кладбища, отстал немного со мной и говорит: «Ира, выполни то, что Валера писал, а мы тебе поможем». Я на него смотрю в изумлении: «Что выполнить?» «Сына роди». Боже мой! Ведь отношения у нас с Валерием были совершенно платонические, ни разу не поцеловал... Никто не понял, что он писал о сыне вообще, не о нашем сыне, а о том, который у меня, может быть, когда-нибудь будет. И в этом весь Валерий, вся его душа. Душа, которая не укладывается ни в какие стереотипы.

Я о стереотипах пишу, потому что со мной психолог беседовала. Она говорила не о вине моей, а о беде и упоминула о двух стереотипах.

Первый: стереотип восприятия. Мне, мол, казалось — передо мной мальчик любопытный, влюбленный, но ему двадцать, а мне — двадцать семь и у меня с ним нет будущего. А «мальчиком» он был необыкновенным, редким, и я из-за «незоркости стереотипа» (ее выражение) не увидела за «стандартами жизни» реально существующего нестандартного Валерия.

Второй же стереотип: убеждение, что внешние жизненные обстоятельства торжествуют, вернее, должны торжествовать над внутренними ценностями, что любовь можно отложить на потом, а вообще ее место в пустые минуты, а полные минуты — это учение, работа и достижение разных совершенно «реальных целей». То есть, стереотип неромаитического восприятия жизни.

То, что она говорила, наверное, было недалеко от истины, но все это напоминало анатомический театр, который Валерий так ненавидел.

Я сейчас немного отхожу, но боль за Валерию остается. И останется. А если она уйдет, и Валерка уйдет из сердца и из памяти — копейка цена мне, человеку. Я сейчас понимаю, что до Валерки мне далеко, не стою я ни одного его волоска. Но я постараюсь, я постараюсь...

Марина Валентиновна, он ведь щадил меня до последней минуты. Не отправил письмо, то, одиннадцатое, по почте, чтобы я не сорвалась, не закончив всех дел в университете.

А вообще я думаю: он был уверен, что его уход из жизни я переживу так же легко, как легко и отнеслась к нему. Поэтому и не позвал, когда стало невмоготу.

Я совсем-совсем другая, чем Валерий: и письма писателям пишу и исповедуюсь, то есть облегчения ищу.

Не могу расстаться с этим письмом. Когда мы познакомились с Валерой, я писала дипломное сочинение и никому не позволяла отвлекать себя от этой работы. А Валерку ждала и радовалась ему. Мы говорили обо всем. И даже о том, чем жил каждый из нас до этой удивительной встречи. Мы обнаружили много общего, а порой ситуациями поразительно совпадали. Валерий рассказал однажды об отчаянии, которое он испытал в четырнадцать лет, когда ему казалось, что никто из окружающих его не понимает и он бесконечно одинок. Именно в те минуты он и решил научиться петь, играть на гитаре, резать по дереву, чтобы люди окружающие больше его любили и постарались глубже, тоньше понять. Он рассказал мне об этом, а я ему о том, что однажды тоже испытала нечто подобное и мне даже при всей любви к жизни захотелось умереть. Валера побледнел, схватил меня за руку и выговорил побелевшими губами: «Ты никогда больше не думай об этом.

Если тебя не станет, не будет и меня». Я ему поверила...

Вот написала последние строки, и вина моя перед ним стала еще очевиднее: ведь в моих силах, в моих руках было оставить его в живых, ведь я до отъезда в город А. почувствовала, что Валера не увлечен, нет, что я для него все, и невзаимность и даже непонимание ведут к трагедии. И если быть до конца честной, Марина Валентиновна, я испугалась этой глубины, этой мощи. Меня никто никогда так не любил. Спасибо вам за участие».

«Ирина, в первом письме к вам я сделала все, чтобы уменьшить ваше чувство вины. А теперь говорю: живите с этим чувством. Оно высокое. Оно уже перестроило вашу душу. Поразительно, что именно такая, какой вы стали теперь, и могла отворить трагедию. А такая, какой вы были тогда, раньше, с ним, не могла. Ей мудрости не хватало. Вы, наверное, горестно воскликнете: «Но неужели ценой трагедии, чьей-то жизни надо стать женщиной, человеком, который может отвести удар от любящего или от любимого? Ведь сегодня мудрость моя не нужна никому, и маловероятно, чтобы повторилось в моей жизни то, что было с Валерием, и я удержала человека за руку на краю бездны». Может быть, и не повторится. Но мудрость ваша нужна. Она растворится в жизни и — верю — отразится на человеческих отношениях и судьбах.

В том, что Валерий ушел, виноват и он сам (хотя это особая вина, для которой надо найти более высокое и тонкое имя).

Иногда рождаются люди (в старину говорили о них высокопарно: созданы для лучшего мира), к которым надо относиться с той же робкой бережливой осторожностью, с которой мы относимся к исчезающим видам экзотических животных или деревьев».

Эпилог

Как писатель-документалист, я исследовал эту историю логикой документов: показаний, писем, официальных и неофициальных заключений.

«Неординарная личность не сумела совершить неординарного выбора в жизни», — говорит психолог. «Его вели к трагедии глубина чувств, непонимание и невзаимность», — убеждена женщина, которую он любил.

«Есть люди, о которых в старину говорили, что они созданы для лучшего мира», — напоминает старая писательница.

«Тут какая-то тайна. Это надо понять...» — думает Андрей Адамович.

Это надо понять.

Это понять надо было и мне самому, когда я из документов строил, разламывал, перестраивал эту историю, стараясь характер ушедшего из жизни человека осветить наблюдениями, суждениями, версиями всех действующих лиц, иногда резко субъективных, даже несправедливых и все же помогающих как можно полнее и разностороннее выявить суть судьбы и ситуации.

И вот однажды, все это перечитывая, я вдруг задержался надолго на воспоминании Андрея Адамовича о том, как они с Валерием «шатались» по городу и Валерий читал наизусть ему «целые куски» из «Божественной комедии». Я задержался, потому что резко осознал то, что почему-то ускользало раньше:

часы эти, когда они «шатались по городу», ожили в памяти Андрея не сами по себе, их оживили строки последней записки к нему Валерия: «Помнишь, мы говорили с тобой о смысле жизни?»

О чем же они говорили тогда? Я удивился моей невнимательности: ведь в памяти Андрея Адамовича эти часы, наполненные Данте, ожили именно потому, что о них думал и Валерий, когда писал последние строки: «Помнишь, мы с тобой...»

Но, может быть, Андрей все забыл — минуло уже несколько лет. Нет, не забыл и рассказал: «Память у него была отличная, и он наизусть шпарил целые куски из Данте... Потом, помню, заметил, что, если бы ему нужно было выбирать между самыми страшными кругами ада и тем местом у порога его, где томятся ничтожные люди, не совершившие в жизни ничего ни доброго, ни злого, он выбрал бы, не раздумывая, любую муку, любой круг, лишь бы не оказаться в компании ничтожных, тех, кто, по определению Данте, не изведal «ни славы, ни позора смертных дел». А я, помню, возразил ему, что ничтожество все же лучше злодейства, и высказал такую мысль, что сам он, Валера, на злодейство не способен, и поэтому у него нет выбора между первым и вторым, а он, как ребенок, покраснел и говорит: на злодейство я действительно не способен... а вот о чем он говорил потом, я уже забыл, давно это было».

Может быть, он действительно не помнил, может быть оберегал доверенную ему тайну?..

Важно, что эта полуночная, шальная, «уличная» беседа о Данте была до любви Валерия к Ирине. Видно, в нем с детства жил страх перед судьбой, которая не будет озарена изнутри великой идеей, и встреча с Ириной обнадеживала...

Тут я должен позволить себе небольшое отступление. Психологи и психиатры давно установили часто повторяющуюся неадекватность самого последнего повода-мотива самому последнему роковому шагу — уходу из жизни. Последний повод, который кажется решающим, на самом деле не решающий, а завершающий — завершающий переплетение событий, мотивов, душевных состояний, делающий эти переплетения нерасплетаемыми для личности в ту минуту. Сам по себе этот «последний повод» часто бывает малосущественным (и даже иногда загадочно-незначительным).

Нельзя не согласиться с психологом, когда она восклицает: «...не наваждение ли это, не дурной сон?! Умереть из-за неудачи на экзамене, даже на двух, на трех?!» Из-за неудачи на экзаменах действительно не умирают... Меня потянуло перечитать «Митну любовь» И. А. Бунна.

Повесть эта при ее появлении вызвала большой интерес выдающихся писателей Европы. В числе их был и Р.-М. Рильке. Он писал о ней: «...«случай» Мити — это один из тех многочисленных случаев нетерпения (и притом один из самых чистых и трогательных), когда молодой человек теряет любовь и способность ожидать течения событий и выхода из невыносимого положения и перестает верить в то, что за этими страданиями, в которые вступил и вовлечен был весь мир, должно последовать что-то иное, может быть, поначалу и не более легкое, но, во всяком случае, ИНОЕ... Малейшая доля любопытства... к тому состоянию, которое должно было последовать за этим отчаянием, могла бы еще спасти его, хотя он действительно погрузил весь мир, который он знал и видел, на маленький, устремляющийся от него прочь корабль «Катя»... на этом корабле ушел от него мир».

Может быть, и у Валерия «иссякло любопытство» и на «корабль» с женским именем он тоже «погру-

зил весь мир»?.. Когда имеешь дело с человеческим страданием, в котором «мелочно-житейское», «сиюминутное» соседствует с великим и вечным, — рискованно, да и кощунственно что-то утверждать. Но можно думать.

Кто-то из афористически мыслящих писателей высказался однажды, что и надежда и отчаяние одинаково обманывают, то есть и первое и второе никогда не оправдываются полностью. Но, к сожалению, мы чаще думаем о том, что не оправдывается надежда, и реже — что не оправдывается отчаяние...

И все-таки есть основания предположить, что весь мир не смог бы поместиться на «кораблике» с именем «Ирина», если бы в этом мире оставалась у Валерия такая очень весомая вещь, как любимая работа. Вспомним, что все знавшие его спешат в первую очередь свидетельствовать об отвращении Валерия к навязанной ему профессии. Последней доле любопытства — «к тому состоянию, которое должно было последовать за отчаянием» — здесь было иссякнуть тем легче, чем ясней просматривалась впереди неотвратимая перспектива каждой дневных состояний отвращения к своей работе. Не забудем, что он — цитируем письмо Ирины — «страшно завидовал людям, которые любят дело, которое делают». Почему же он покорно шел к нелюбимому делу?

Объяснить эту покорность невероятной сыновней деликатностью? Боязнью огорчить, не оправдать надежд? Все знавшие Валерия настойчиво подчеркивают, как необыкновенно любили его родители.

Наверное, стоит пожалеть о том, что человеческие чувства в их «видах» и «подвидах» не поддаются столь точному и скрупулезному подсчету, как «исчезающие виды экзотических животных и деревьев», и если вдруг что-то исчезает, это остается незамеченным, пока кто-то не воскликнет: «Тут какая-то тайна, это надо понять!»

Все, кто имел какое-либо касательство к этой истории, хотя бы понять, хотя того, кто навсегда ушел по собственной воле — Валерия Барышева — понимание это не воскресит, а оставшиеся и не помышляют о добровольном уходе — они будут и дальше жить, любить, писать письма и рассказы, лечить людей, думать и искать истину, сомневаться, падать духом и вновь обретать надежду и мужество... Да, мужество, — отстаивать самое ценное в себе.

...Нельзя воскресить человека вне себя, если он умер, но в себе самом, пока ты жив, можно и нужно. Когда Ирина Туровская была у меня в Москве, мы говорили, говорили о Валерии и слушали, слушали музыку — Моцарта — его самое, самое любимое.

А за окнами шла нормальная, обыкновенная жизнь. Город был освещен большим, выпукло и низко висящим в небе закатным солнцем. И это сообщало будничному течению вечерней городской жизни какую-то несвойственную ей торжественность. Люди возвращались с работы, старики гуляли с собаками, играли дети, бежали автомашины... А Моцарт повествовал о бесценности бытия и странностях души, в которой печаль бывает веселой, а веселость печальной, повествовал о жизни, непредсказуемой, как и его музыка.

Комната была заполнена музыкой, и было в ней как-то пусто, словно кто-то ушел минутой назад — ушел человек, который не захотел или не нашел в себе сил стать большим человеком.



Поэзия



**АЛЕКСАНДР
ЗАГОРУЛЬКО**

☆☆☆

Мне и не вспомнить, как это было,
Мне и не вспомнить, слышано где,
Просто из недр моей памяти всплыло —
Не оставляй человека в беде!

Это в прибое, грозно режущем,
Это в печальном октябрьском дожде,
Это как колокол в каждом живущем —
Не оставляй человека в беде!

Слышишь, морзянкой бьются в эфире
Зерна породы в словесной руде!
Это ведь самое важное в мире —
Не оставляй человека в беде!

В боли своей или в радости тайной
Можешь забыться, спрятаться, но
Пусть это будет прохожий случайный,
В горе его не оставь одного.

Я презираю минутную славу.
Кем бы ты ни был, помни везде:
Есть за тобою главное право —
Не оставлять человека в беде!

О часов 10 минут

Спит командировочный усталый.
Не поймешь, откуда он и кто.
Спит по всей стране, на всех вокзалах,
Распахнув немодное пальто.
Вне гостиниц спит, все понимая —
Мало мест! Лишь дел неупорядочен.
Спит, портфель ответственно сжимая,
Одурев от завтрашних забот.
Что бы вы ему ни обещали,
Завтра он, не выспавшись опять,
Глотку будет драть на совещаньях,
Валидол испуганно глотать.
А вокзал вокзалом: нервно дышит,
Бьется в карты три на одного...
Спит командировочный, не слышит.
Не будите, граждане, его!
Он сидит, поджав неловко ноги.
Кажется — чуть тронешь — упадет!
Может быть, он выспится в дороге!
Может... Если очень повезет.



АРКАДИЙ
ШИМАНСКИЙ

ОХ, УЖ ЭТИ ПРИМЕСИ!

«Экономика должна быть экономной». Этот принцип, провозглашенный товарищем Л. И. Брежневым в Отчетном докладе XXVI съезду КПСС, горячо подхвачен советскими людьми. В предлагаемом очерке Аркадия Шиманского рассказывается, как группа молодых киевских ученых-новаторов, руководимых членом-корреспондентом Академии наук СССР Ю. К. Делимарским, совершила смелое научное открытие и, поддержанная производственниками, добилась его внедрения в практику. Это открытие уже дает крупную экономию на предприятиях цветной металлургии и машиностроения.



том, что в гостинице поселились три человека «с запада», через полчаса знал уже весь дальневосточный поселок. Впрочем, нельзя быть до конца уверенным в том, что жители его не знали о предстоящем прибытии гостей из Киева еще тогда, когда те лишь упаковывали чемоданы. И дело не только в стремительности людской молвы: здесь почти каждая семья связана с работой на комбинате, и его жизнь — их жизнь.

— Эти головастые приедут — хорошего не жди. Понавыдумывали такое, что кое-кто из нас в цехах и не нужен будет. Куда подадимся тогда, мужики? Эта тревожная мысль засела в головах многих «мужиков», в связи с чем особой приветливости в их взглядах приезжие на первых порах не ощутили.

И вдруг совершенно ошарашивающая весть перекрестнула все, чего опасались комбинатовские: эти «академики» приехали, оказывается, чтобы производство расширить!..

— Самым трудным оказалось, — смеются сотрудники лаборатории, рассказывая мне об этом, — устоять перед приглашениями и не обидеть при этом. Ведь двери каждого дома для нас вдруг открылись: «Заходите, гостями будете!»

И сегодня, когда в цехах, где идут уникальные, сложные электрохимические процессы, радуют глаз непривычные для такого производства белизна кафеля и вазоны с цветами, — это награда для ученых...

Да, сегодня они свои на многих предприятиях цветной металлургии и машиностроения Дальнего Востока, Сибири, Кавказа, Поволжья, Украины... Это сегодня. А как все начиналось?

— Есть у меня для вас одна тема. Правда, запутанная. В общем, почти бесперспективная... Прямо скажу, я бы на вашем месте за нее не брался. — Руководитель испытующе взглянул на закрепленного за ним студента-дипломника. Тот молчал, слегка сраженный таким началом разговора. После краткого изложения сути вопроса студент услышал: — Так что, как видите, неясности есть. И, наверное, ничего существенного у вас здесь не будет. Но диплом будет.

Это, конечно, была не бог весть какая, но все-таки перспектива, и студент-химик Олег Зарубицкий за тему взялся.

Работы было много, но действительно ничего толкового не получалось. Да и могло ли получиться?..

... металлы... выделяются около катода... Положительный электрод в... опыте потерял ровно столько свинца, сколько приобрел отрицательный.

...окончательная потеря свинца у анода была равна приросту его у катода...

(М. Фарадей. Январь 1834 года).

Процессы электролиза изучают в школе. То есть считается, что спорного здесь либо мало, либо нет вовсе. И даже школьникам понятно, что кусок металла, погруженный в электролит и подключенный к положительному полюсу источника тока,

ждет судьба куска мыла, неосторожно упущенного в воду: он постепенно растворяется, и вся масса металла, пропутешествовав через электролит в виде ионов, оказывается на катоде. Вся. За исключением примесей.

Ох, уж эти примеси! Почти иголка в стоге сена. Ну, а если очень надо? Тогда терпеливо перебирай травинку за травинкой...

«Черновые металлы, получаемые из сырья, содержат 96—99% основного металла, остальное приходится на примеси. Такие металлы не могут использоваться промышленностью из-за низких физико-химических и механических свойств».

(Большая Советская Энциклопедия).

Этим несколькими авторитетными строками рассеивается наивное убеждение многих, что получить металл — это значит лишь выплавить его из руды. Не тут-то было! Можно запрудить железнодорожными составами подъездные пути металлургических комбинатов и все же сделать при этом фантастическим дефицитом крючок обычной вешалки. Из-за несовершенства структуры металлы, полученные из руды (именно их называют черновыми), в ответственных узлах надежны, пожалуй, настолько же, насколько надежным может быть под трактором солидный мост из папье-маше.

С черновым металлом надо что-то делать. Его надо как-то лечить. Но почему «как-то»? Современный способ электрохимического рафинирования (очистки) металлов отменяет всякую растерянность в подобной ситуации.

Если, например, свинцовая отливка имеет один процент примеси висмута, то избавить свинец от неужижих включений можно по схеме школьных знаний из области электролиза. В свое время доброму молодцу из сказки для преобразования в писаного красавца с целым рядом достоинств понадобилось искупаться поочередно в кипящем молоке, в воде вареной и студеной. Довольно сложная технология. С той поры техника шагнула далеко вперед и для преобразования свинца — избавления его от примеси висмута — достаточно всего лишь раствора электролита. Под действием электрического тока бушующее месиво его заряженных частиц — ионов — постепенно разрушает анод — свинцовую отливку, вырывая из нее атомы, как кирпичики из прочной стены.

Но к месту будет сказано: свинец умер — да здравствует свинец! Ибо атомы его, направляемые и подстегиваемые электрическим током, стремятся к катоду, вновь воссоздавая здесь уют «родительского дома» — кристаллической решетки свинца. В этом «доме» нет ничего лишнего — только чистый свинец: ведь условия процесса электролиза таковы, что атомы висмута остаются безразличными к электрическим страстям, бушующим в электролизной ванне, а потому в ходе процесса они равнодушно оседают на ее дне.

Движущая сила всех этих разрушений, возрождений и оседаний — электрический ток. И, как мы видим, он в итоге добросовестно делает поручение ему дело.

Да, делает. Но какой ценой, если учесть, что избавить-то надо всего лишь от одной сотой массы отливки?! Разве не сродни по своей рациональности подобная работа добросовестной переборке травинки в стоге сена?

Оправдывала внушительные затраты энергии не только потребность промышленности в чистых металлах, но и одна существенная тонкость: в разряд примесей, удалявшихся при рафинировании, попадали не металлы-простачки, а олово, сурьма, висмут,

серебро, золото, ценность которых синмала вопрос о неэкономичности технологии.

Но неужели нельзя вести процесс так, чтобы энергию тратить только на перенос к катоду столь ценных атомов примеси, извлекая их, как изюм из булки? К сожалению, нельзя.

...Студента, который только что перед членами Государственной экзаменационной комиссии водил указкой по вычерченным на листах ватмана схемам, таблицам, графикам, пронзил испытующий профессорский взгляд:

— Все прекрасно. Но скажите, вы случайно не перепутали клеммы источника, когда работали?

— Нет, не перепутал, — ответил Олег Зарубицкий.

— Странно... Если не сказать больше. Ведь, в общем, этого не должно быть...

Конечно, странно. Конечно, быть не должно. Это Олег и сам понимал: если подготовить электролитическую ванну к обычному процессу электролиза и включить затем напряжение «неправильно» — иа отливку чернового металла подать минус, а иа другой электрод — плюс источника, — то не произойдет ничего особенно страшного, если не считать разложения электролита. Но и металл с электрода на электрод переноситься не должен. То есть очистки не будет. Об этом можно было прочесть в любом приличном пособии по электрохимии. Поэтому понятно некоторое смятение профессоров: ведь основная идея работы студента сводилась к тому, чтобы если и не доказать обратное, то по крайней мере убедить присутствующих, что какой-то процесс идет.

«Чертовщина!» — думало большинство из них. — Скорее всего рядовое студенческое заблуждение... Но ведь все равно интересно!»

— А разве вы сами этого не замечали?

— Да почему? Бывало свинцовый электрод берем на очистку от висмута, включаем ванну — процесс пошел. Все нормально. Вдруг, что такое! Электролит чернеть начал! Почему? Мы туда, мы сюда... Потом додумались: примесь, наверное, пошла. Висмут выделился... Да этого быть не может! Начали докапываться... И, онаывается, инженер питание и ванне подключил наоборот... Мы ему, конечно, выслали за нарушение технологии и уже потом этого не допускали.

(Из разговора с коллегами-химиками на конференции).

Олегу Зарубицкому в этом смысле несколько повезло. Ему не только не «выслали», а даже выдали диплом об окончании Киевского политехнического института, не погасив в выпускнике интереса к тому, что казалось противоестественным.

Столбики цифр, формул, робко заявившие о себе в дипломной работе, не давали ему покоя и в Институте общей и неорганической химии Академии наук СССР, куда он пришел на работу. С этого момента в научной части его биографии местоимение «я» абсолютно обоснованно заменяется более убедительным «мы»: он стал работать под руководством академика АН СССР Юрия Константиновича Делимарского. В руководителе он обрел надежного союзника, не сомневавшегося: «Здесь надо искать».

И теперь все, что до сих пор казалось мелким, а иногда даже призрачным, приобрело в их работе четкие очертания — появилась Задача.

О какой-то особой важности ведущихся поисков в их рабочей группе, которая к тому времени пополнилась отличным инженером Валерием Будником, речь не шла. Предстояло просто ответить на вопрос: что это? Неконтролируемая, повторяющаяся ошибка?

Частный случай? Исключение из известных законов электрохимии? Или, может быть... Но нет. Слишком емким становилось это «может быть», если воспринимать его всерьез.

И все же, все же, все же... На одной чаше весов были неколебимо авторитетные мысли известных, выдающихся и просто добросовестных предшественников, на другой — неизменно повторяющиеся результаты лабораторных экспериментов.

Но пока только лабораторных, от которых до четкого ответа на все вопросы, а тем более до заводского цеха, еще шагать и шагать.

В отделе тем временем гораздо ближе к завершению была другая тема, также связанная с разделением свинца и висмута. Но сказать «была в отделе» — значит ничего не сказать: группа Зарубицкого участвовала одновременно в разработке и этой, надежной традиционностью своих основных принципов, и своей, новой, которая ничем еще себя не утвердила, а только, как растущий ребенок, задавала своим «родителям» бесконечные вопросы.

Теоретически темы не могли мешать одна другой. Но практически нужен был результат. Производству требовались не эмоции и догадки, а метод очистки металла.

Для группы не было тайной: петля необходимости рано или поздно так затянет все узлы, что сотрудникам вряд ли даже придется выбирать между двумя темами — темы выберут их.

Наверное, в девяти случаях из десяти в подобной ситуации было бы принято разумное решение: лучше свинца в руках. Тем более что по теме, пусть не их кровной, можно было достаточно уверенно накопить диссертационный материал — со всеми вытекающими отсюда... Это в девяти случаях из десяти. Но в данном случае был как раз тот самый нелогичный десятый вариант.

Что именно думал тогда Зарубицкий, сказать не берусь. Сам он не рассказывал, и разговор наш при первой встрече шел, почти не затрагивая того, что не относилось к науке. И вообще при первом знакомстве его внешняя суровость почти обожгла меня. Осторожные, выверенные, взвешенные фразы, испытующий взгляд. Но уже через четверть часа что-то переломилось в нашей беседе, а когда Олег Григорьевич, терпеливо поясняя суть дела, стал выписывать на листке уравнения химических реакций, мне показалось, что все изменилось в нем... Но теперь-то, уже по прошествии многих дней, я убежден: не в нем изменилось, а во мне.

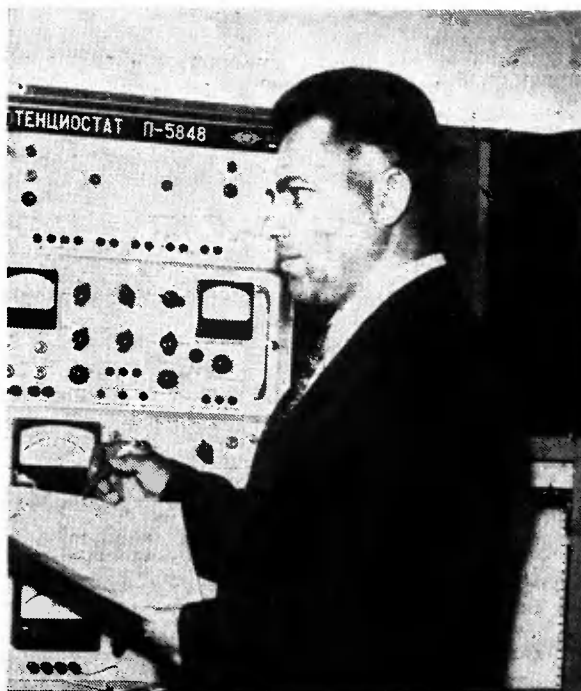
— Мы тогда не замечали, что на дворе — день или ночь. Все казалось, что времени не хватит. Мы не работали — пахали. Процесс у нас в расплаве щелочи идет. И вот однажды смотрю — яркие корольки на темном фоне расплава.

— Олег, — говорю, — смотри, металл. А он тоже глазами своим не верит и, чтобы не расстраиваться потом от очередной неудачи, говорит спокойно:

— Натрий, наверное. Из расплава. Добыли мы один корольек из ванны — и к нему с ножом. Ведь натрий мягок. Все и без химанализа будет ясно... Но приставили и ножом лезвие, а оно металл не берет. Значит, не натрий? Тогда что? Неужели висмут?! Как мы ждали этой минуты!..

(Из разговора с В. Будником).

Несколько лет поиска не оставили сомнений: в опытах с «неправильным» включением напряжения идет электролиз. Но главное — как идет! Из помещенного на катоде чернивого свинца к аноду уходили ноны примеси висмута — только висмута! Свинца же, облагороженный отсутствием посторонних включений, оставался на катоде. Понистине, иголка извлечена, а стог сена остался на месте.



О. Г. Зарубицкий.

Уже совершенно ясными становились перспективы, если даже говорить только об извлечении висмута.

«В большом количестве, но в малых концентрациях висмут встречается как изоморфная примесь в свинцово-цинковых, медных, молибденово-кобальтовых и олово-вольфрамовых рудах. Оноло 90% мирового потребления покрывается попутной добычей висмута при переработке полиметаллических руд».

(Большая Советская Энциклопедия).

Добавим, что обычный процесс извлечения висмута состоял из доброго десятка стадий, к тому же потери металла были изопозволительно велики. Но его получали именно так. Потому что выхода не было... И вот иа тебе, почти как в сказке: висмут можно получить в один-два приема!

— Юрий Константинович! — подошел к Делимарскому после его доклада один из академиков-металлургов. — Но это же открытие! А вы заявляю не пытались подавать?

— Нет, не пытались.

— А вы попытайтесь. Попытайтесь... Я вам говорю — это открытие!..

(Из разговора в перерыве общего собрания АН СССР).

Очень может быть, что открытие. Но тогда, в 1968 году, было четко ясно только, что особенно усиливает преимущества процесса примененный в отделе Ю. К. Делимарского новый состав электролита. Он был в двадцать раз дешевле прежнего. Но важнее другое — он совершенно изменял условия труда рабочего-аппаратчика, потому что в отличие от прежнего электролита не содержал вредных компонентов. Мало того, теперь процесс протекал настолько мирно, спокойно, что рабочий мог включить электролизер на несколько суток и заниматься другими производственными делами.

Изучение научной литературы показало — в мировой практике нет аналога методу электролиза, предложенному в Институте общей и неорганической химии АН УССР. Он уникален.

Контакт с инженерами-производственниками подтвердил этот вывод и одновременно обнаружил удивительное явление. После первых привычных, годами проверенных вопросов: «А вы полярность не перепутали?» — не было никакого противостояния. Следовало горячее: «Давайте внедряйте!» Слишком очевидны были преимущества предложенного метода.

Для реализации он не требовал ничего, кроме обычного электролизного аппарата. Но выгода! Выгода! Чистый расход электроэнергии уменьшался в 10—15 раз. И при этом извлечение примеси возрастало теперь до 98 процентов!

...Граждане Союза Советских Социалистических Республик Делимарский Юрий Константинович, Зарубицкий Олег Григорьевич, Буднин Валерий Григорьевич сделали открытие, определяемое следующей формулой: установлено неизвестное ранее явление переноса металла с катода на анод, заключающееся в том, что при электролизе расплавленных электролитов, содержащих катоды щелочных или щелочно-земельных металлов, и использовании в качестве катода металлов с высокими значениями электроотрицательности (например, висмута, свинца, олова, цинка, кадмия и их сплавов), происходит растворение металлов катода и осаждение их на аноде.

Настоящее открытие зарегистрировано в Государственном реестре открытий СССР...» (Из «Диплома об открытии» № 155 от 3.XI. 1976 г.).

Это, конечно, была победа! И тем более приятная, что продолжившийся поиск показал: возможности процесса катодного растворения не исчерпаны. Ведь очищаемый металл можно загружать одновременно на анод и катод, тогда получаем двойной выигрыш от одновременно идущих процессов растворения: обычного — анодного и нового катодного. Заметьте, без дополнительной траты электроэнергии.

Кроме того, оказалось, что предложенный электролит при обработке черновых металлов выводит из отливки в раствор вредные для металла вещества (углерод, фосфор, кислород), которые ухудшают его ковкость и увеличивают хрупкость.

Поразительно, но не в условиях лаборатории, а прямо в заводских цехах, в больших количествах стало возможным рафинирование материалов любой чистоты. Причем какое: при извлечении примеси висмута из чернового свинца метод дает степень очистки в несколько раз лучшую, чем требует общегосударственный стандарт. А это означает, что новый метод позволяет за счет более тщательного извлечения примесей дать народному хозяйству многие тонны дорогих металлов.

Если у читателя создалось впечатление, что девизом внедрения было «пришел — увидел — победил», то это верно лишь в первой трети: «пришел...» Увидеть — с точки зрения получения чистого висмута — на объединении «Дальполиметалл», которое первым в стране рискнуло применить новую технологию, было нечего: извлечением висмута объединение не занималось как делом слишком хлопотным. Настолько хлопотным, что более выгодным оказывалось грузить сплав висмута и свинца на пароходы и отправлять его в плавание по морям, чтобы затем к тысячам морских миль добавить еще тысячи километров сухопутных и закончить этот путь на заводах, где был налажен процесс электролитического рафинирования свинца. Далеко. Долго. Но принцип «нормальные ге-

рон всегда идут в обход» не вызывал протеста. А что, и не к такому привыкают. Процесс-то ведь все равно в конце концов шел.

И вот это, пусть мутное, но привычное надо было ломать. Представьте ситуацию: план выполняется, зарплата идет, идут даже совершенно обоснованные премии — и все это надо променять на то, чего нет, а точнее, на то, что есть только в головах ученых.

И вот здесь мы возвращаемся к ситуации, обрисованной в первых строках очерка... Настороженные взгляды. Невысказанность за душой. Моральной поддержки это не назывешь. А дело надо делать. И никому не пожалуешься, что конструкцию электролизера можно отработать только на заводе, а доodka — это не парад, от срыва в самом надежном ты при этом не гарантирован. Но долой эмоции! Скажем кратко: на создание надежной и приемлемой для промышленных условий установки ушло несколько лет. Несколько лет жизни.

Первенцем нашим был электролизер из жаропрочного бетона. Простая на вид робота со всякой начинкой. И предстояло с ее помощью доказать, что идея наша пришла не из фантастического романа.

Запустили электролизер. Работал он непрерывно две с небольшим недели. Неплохо работал. Первые десятки килограммов висмута словно сказали всем: металл на заводе получать можно.

(Из разговора с О. Г. Зарубицким).

Но радость в жизни, как правило, строго дозируется. На этот раз квант удачи был беспощадно скомпенсирован тем обстоятельством, что стенки бетонного электролизера при работе разрушались. И виной тому был свинец. Такой покорный и тихий в виде грузила на удочке, он в жидком состоянии коварно пробирался в микротрещины бетона и легко проходил сквозь него.

— Утечка свинца, — справедливо констатировал техсовет завода.

Возразить было нечего. Точно — утечка.

Но химики уже думали о конструкции другого, металлического электролизера, предлагали техсовету чертежи и убеждали:

— Помогите построить, а мы приедем и докажем.

Снова строили — и снова неудачи. У специалистов завода исчезало терпение, за ним уходила и вера, а второе дыхание все не открывалось.

И тогда техсовет дал последний шанс, суть которого в переводе на неофициальный язык была такова:

— Выдержит установка — внедряем. Не выдержит — хоть с билетами на самолет туговато, однако не беспокойтесь — мы поможем.

Но в тот момент среди немногих товких вятей надежды была одна, едва ли не самая прочная — характер, ум и руки Ивана Петровича Бровина.

— Когда мы внедрение начали, он механиком работал на заводе. Морская душа (в прошлом флотский механик), он, видимо, все еще жил морем и потому работающих с ним называл не иначе как «личный состав», а второй его натурой было стремление к познанию более чем емкому — «флотский порядок». Он сразу удивительно тонко оценил плюсы и минусы нашей работы и непрерывно курировал и механическую часть и технологическую.

Этот цех с цветами и кафелем — его детище. Неугомонный человек, он до сих пор журнал «Квант» выписывает.

Дело без Бровина не пошло бы. Сердце у него молодое.

(Из разговора с О. Г. Зарубицким).

Для любителей логических финалов здесь уместно добавить, что бывший моряк и заводской механик И. Бровин сегодня лауреат Государственной премии СССР и руководитель свинцово-плавильного завода объединения «Дальполиметалл».

И, видимо, точно сказано: «Сердце у него молодое».

Может быть, со мной будут спорить, может быть, даже энергично и мастерски уложат в этом споре на лопатки, но некоторое знакомство с жизнью научно-исследовательских институтов убеждает, что движение вперед в науке связано прежде всего с неисчерпаемой толчеей молодых на ее переднем крае. Объединить, координировать их усилия — да, направить, конечно, зарубить идею или благословить — тоже удел опыта. Но выстрадать идею, терпеливо согреть ее своей верой от пеленочного возраста до первых шагов (и, чего греха таить, часто оставаясь в итоге даже без права «отцовства») — это чаще всего удел молодости, для которой поиск — нормальное жизненное состояние. Конечно, для далекого от науки человека блеск граней отшлифованной научной идеи непременно отяжелается позолотой званий и наград, но наука жива не славой — она жива риском молодости, которую истинный ученый носит в душе до седых волос.

Большинству из тех, кто воплотил в металле идею катодного растворения, до степенной седины еще весьма далеко. Валерий Будник, Андрей Малашок, Виталий Горбач, Владимир Мелехин, Анатолий Омельчук — они росли вместе с делом, которое возвращали сами, порой проводя в командировках больше времени, чем дома, чтобы молодыми своими руками утвердить в цехах то, что было надежно опробовано в институтских лабораториях. Сейчас каждый из них уже имеет десятки авторских свидетельств: Омельчук — 20, Мелехин — 26, Будник — 40...

— В лабораторию я аспирантом пришел, когда открытие уже было сделано. И вскоре — в командировку. Приехали — край земли. Тихий океан перед тобой. Дальше ехать нелегко. Романтика!..

А дело новое. Ждешь: выдержит ли электролизер? выдержат ли люди?

(Из разговора с А. Омельчуком).

Последние успешные испытания уже к тому времени включили «зеленую волну» работам по внедрению. В 1972 году висмут получали в маленьком помещении, в конце 1973-го построили цех, а в 1978-м метод ударной комсомольской стройки позволил объединению «Дальполиметалл» пустить в эксплуатацию висмутное отделение.

А до этого молодые ребята из Института общей и неорганической химии (ИОХ) стали учителями: вместе с ними, обучаясь, непрерывно несли вахту у электролизеров заводской инженер и рабочий. И так в три смены изо дня в день. Сторонников нового — даже невольных — становилось все больше.

Простота и надежность нового метода внесли в производство искру радостной новизны. О кафеде и цветах в цехе мы уже говорили. Гораздо важнее, что предприятия без значительных затрат могут теперь вести высококачественную очистку металла.

— Я в ИОХ с химфака университета пришел. И там, на химфаке, все в научные кружки записывались. Пришел записаться и я. А мне вместо объятий радостных говорят:

— А зачем?

— Хочу, — говорю, — над чем-то новым в науке работать.

— А вы знаете, в науке неоткрытых вершин нет. Принципиально все открыто. Но вот суметь разглядеть новое в уже известном — этого на наш век вполне хватит. Вы готовы?.. Тогда как ваша фамилия...



Ю. К. Дешмарез.

И насчет нового в уже известном — эти слова в моей судьбе просто вещами были. Ведь что уж, кажется, суесться: открытие сделано, процесс внедрили... А он столько еще перед нами вопросов поставил! Знаете, их и для тех хватит, кто только сегодня в научный кружок решил записаться.

(Из разговора с А. Омельчуком).

Распространен термин «круговая оборона». К тому состоянию, в котором находится сейчас работа в отделе Зарубицкого, применимо, пожалуй, понятие «круговое наступление» — идет и поиск и внедрение. Значительная часть из полученных им и его сотрудниками шестидесяти авторских свидетельств разработана совместно с производственниками и связана с совершенствованием заводских технологий. Открытое явление оказалось настолько заманчивым, что его промышленным решением заинтересовались специалисты зарубежных стран.

«...Я не могу, положу руку на сердце, сказать: я желал бы, чтобы обнаружилось, что я ошибался. Но я горячо верю, что развитие науки... даст новые открытия и такие общеприложимые законы, что оно... заставит думать, что все то, что написано и разъяснено... принадлежит уже пройденным этапам науки».

(М. Фарадей, Март 1839 года).

Нет, Фарадей, великий Фарадей, не ошибся. Он словно предчувствовал, предвидел. Он создал азбуку электрохимии и как бы призывал начать складывать слова. Ждать отклика пришлось около полутора веков. Как часто бывает в науке. Как часто бывает в жизни.

Но разве сказано все?.. Мы только начинаем складывать слова.



ДВЕ ДУЭЛИ В МЕРАНО



*В чем секрет
столь ошеломительной
победы Анатолия Карпова
в Мерано?
Надо думать,
что более компетентного
собеседника,
чем постоянный секундант
трехкратного чемпиона мира
гроссмейстер Игорь ЗАЙЦЕВ,
в данном случае не сыщешь.
Беседу с ним ведет
журналист Сергей ЛЕСКОВ.*

*На снимке:
Анатолий Карпов
с женой Ириной в победный день
в Мерано.*

Фото Д. Донского.

- Первые чемпионы мира — Стейниц, Ласкер, Капабланка, Алехин — готовились к турнирам и матчам в гордом одиночестве. Впервые к помощи секундантов регулярно стал прибегать, как известно, Эйве. Насколько возрос с тех пор круг обязанностей секунданта, постоянно работающего с чемпионом мира?

— В современных шахматах процент непредсказуемого ведущие гроссмейстеры стремятся свести к минимуму. Значительная часть борьбы переносится в «домашнюю лабораторию», где гроссмейстер детально анализирует всевозможные позиции и системы развития в каждом дебютном варианте. Очень часто анализ заканчивается даже не в миттельшпиле, а в глубоком эндшпиле, когда уже можно определению сказать, на чьей стороне перевес. Обратите внимание: в изобилии публикуемые журналами партии-миниатюры, где неприязнительный король быстро и изящно заматован, большей частью относятся к шахматной классике. Теперь в восьмидесяти процентах партий развязка наступает в эндшпиле. И, между прочим, поколение Анатолия Карпова как раз и отличается не только полетом фантазии, но и умением виртуозно использовать небольшой технический перевес...

— Выходит, ситуация в шахматных исследованиях чем-то сродни той, что сложилась в современной науке, — пришла пора взаимосоотрудничества, когда группа единомышленников скрупулезно ищет истину...

— Вот именно. И я предпочитаю, когда говорят «тренер», а не «секундант». Так, конечно, вернее. Но неправильно думать, что Зайцев и Балашов «подгоняют» Карпова: «Эту схему надо бы изучить, такой-то вариант может пригодиться». Чемпион мира сам ни дня не проводит без работы, из его поля зрения не выпадает ни один крупный турнир. Но разумно ли при подготовке к матчу на первенство мира тратить время и силы на изучение буквально всех теоретических достижений? Дебютный репертуар каждого крупного шахматиста известен, он складывается годами, и пойти против своих вкусов не так-то просто. Но кто знает, что предпримет соперник, чтобы захватить инициативу! И поэтому в каждом варианте готовится новинка, чтобы быть хозяином положения, а не статистом. Особенно тщательно прорабатываются излюбленные построения соперника. Здесь неисхоженных троп не остается.

— В таком случае напрашивается еще одна параллель с наукой. Проблема психологической совместимости, возникшая во время долгосрочных космических полетов, существует, как видно, и в шахматах....

— Да, это так. У нас с Анатолием Карповым взгляд на шахматы во многом совпадает. Шахматы по своей природе игра позиционная, рациональная, и лихие, неподготовленные атаки часто противоречат самой сути игры. Правда, два с лишним десятилетия назад я ездил за сорок километров в Москву посмотреть на фантастические жертвы молодого Тала, а в турнирах и сам играл излишне эмоционально. Но это, как говорится, происходило помимо моей воли. Теперь же я окончательно убежден, что на высшем уровне та шахматная философия, которой следует сегодня Карпов, единственно верная.

— В предстоящем матче в Багио соперники долго не могли открыть счет. А в Мерано начало было таким, что организаторы забеспокоились, как бы матч не закончился за пару недель....

— Да, первой результативной партией в Багио была лишь восьмая. За три прошедших с тех пор года соперники ни разу не встретились, но как бы вели непрерывный шахматный диалог, и на этот раз готовность к бескомпромиссной борьбе сразу же получила выход. Перед Мерано мы предполагали, что результативность будет выше, чем в Багио. Так оно и получилось. Нам удалось предугадать и изменение шахматного стиля претендента. За границей он попал в иную шахматную среду — там равные по силе соперники встречались ему реже, чем у нас в стране. Начал сказываться и возраст. Корчной стал тяготеть к спокойным позициям, где, полагаясь на громадный опыт и высокую технику, каждый участок доски можно не торопясь «препарировать». При подготовке к матчу претендент сделал ставку на наигранность. Едва ли не до последнего месяца продолжал выступать в турнирах, пытаясь на волне успеха подойти к Мерано. Но ни в одном из трех последних турниров ему не удалось завоевать первого места. Карпов же, закончив на высокой ноте турниры в Москве и Амстердаме, затем целиком переклонулся на подготовку. К Мерано мы располагали новинками во всех излюбленных дебютах претендента. Впрочем, немало сюрпризов было заготовлено и к Багио, но тогда претендент, на наш взгляд, острее чувствовал опасность, старался раньше свернуть в сторону. Однако на этот раз опасность подстерегала его буквально на каждом шагу. У нас сложилось впечатление, что Корчной по ходу матча почувствовал, что ему не удалось выстроить дебютную линию обороны. Не случайно он ни разу не сыграл французскую защиту, защиты Каро-Кани и Уфимцева, в прежние годы применявшиеся им без особой опаски. В итоге мы использовали наше досье только процентов на пятнадцать — двадцать.

— Претендент всегда считал себя большим знатоком теории. Еще в 1974 году он заявил, что знает дебюты «лучше, чем Спасский, Петросян и Карпов, вместе взятые»? И вдруг на этот раз такой узкий дебютный репертуар: черными — открытый вариант испанской партии, белыми — ферзевый гамбит....

— В открытом варианте испанской партии он одержал немало побед, и закономерно, что, несмотря на осечки, прибегал к оружию, которое столько раз его выручало. Каждый гроссмейстер экстра-класса отстаивает на доске свои взгляды, свою шахматную философию, излюбленные построения, методы расстановки фигур и захвата полей.... Что же касается ферзевого гамбита, то построение, к которому стремился Корчной, обезвредить было совсем не просто. Правда, уже первую партию чемпиону мира удалось выиграть. Но

при анализе мы отыскивали за белых сильное возражение, которое за доской Корчному найти не удалось. Что это за план, говорить не буду, поскольку он так и остался в «запаснике» — в дальнейшем Карпов уклонялся от этого разветвления. По-видимому, нашим соперникам тоже удалось найти данное усиление, иначе бы претендент не пытался раз за разом повторять белыми эту расстановку фигур.

Поединки на первенство мира чем-то напоминают бой с тенью. После каждой партии необходимо внести коррективы даже в самый проверенный вариант — «штаб» соперника тоже работает, ищет усиление. Думается, что в этом матче и дуэль секунданта завершилась в нашу пользу. Ни нам, ни помощникам претендента отложенные позиции много анализировать не пришлось — так уж получилось, что все они были достаточно просты. Спор шел в дебюте, где мы уступили лишь в шестой партии. Ситуация, возникшая тогда на доске, неожиданной для нас не была — эту позицию мы анализировали еще дома. К сожалению, анализ шел в основном вширь, а не вглубь — мы стремились проверить как можно больше вариантов. Карпов сделал даже не ошибочный, а необязательный ход, и черные перехватили инициативу. Позиция возникла любопытная: черным играть можно было почти не задумываясь, а белым всякий раз приходилось отыскивать единственное возражение. В итоге перед самым контролем Карпов, который даже в близких обычно рассчитывает сложнейшие комбинации, не нашел контрхода. И на «совете» мы решили временно отказаться от применения открытого варианта испанской, пока анализ не внесет в него окончательную ясность. Этот отказ «потянул на дно» множество других продолжений, которые тщательно разрабатывались перед матчем. Но тактика борьбы потребовала и такого маневра.

Зато в ферзевом гамбите на этом отрезке матча нам удалось отыгаться. Как раз после той, не особенно приятной шестой партии я анализировал разветвления ферзевого гамбита. В половине четвертого ночи ко мне в комнату неожиданно вошел Карпов. Безмятежно заснуть после досадного поражения не так-то просто. Сидели мы с ним за доской долго — до семи утра, — и в итоге родился интересный план. Для меня та ночь кончилась тем, что машинально я хлебнул в буфете вместо воды уксус (слава богу, разбавленный!)... Но бессонная ночь дала и свои плоды, и в девятой партии Карпов использовал ту ночную заготовку и красиво победил.

Секунданты Корчного работали до определенного момента, видимо, с большой отдачей. Как сообщала зарубежная печать, Стин и Сейраван после победы Корчного в шестой партии впали в состояние эйфории, думая, что повторится «сценарий Багио». Потом, видимо, поняв, что чуда не произойдет, приуныли. Трудно было сохранить оптимизм, когда всем, кто смыслил в шахматах, стало ясно, что чемпион бесспорно превосходит претендента. Думаю, что шестая победа Карпова была воспринята секундантами Корчного даже с облегчением — наконец-то все кончилось....

— Чемпион мира и претендент — люди диаметрально противоположных взглядов, гражданских позиций....

— Они диаметрально противоположны и в понимании шахматной борьбы. Карпов в первую очередь ищет самовыражения за доской. Он на каждом ходу старается последовательно претворять свои планы. Для меня, например, сделать неудачный ход да еще заметить, что соперник понял всю его неудачность, — что-то вроде шахматного нокаута. Карпов же и после не самого удачного хода продолжает играть, как

будто абсолютно ничего не произошло. Он реже, чем другие, попадает «под обаяние» позиции, избегает внешние привлекательных, но не самых убедительных ходов. Как можно меньше расходуя эмоций, как можно тщательнее скрывать от противника свое настроение — вот к чему стремится чемпион мира.

Корчной же «уютней» ощущает себя в конфликтной ситуации. Он тонко чувствует едва заметную неуверенность соперника, и тогда противостоять ему трудно. Но за три года, отделяющие Мераио от Багио, Карпов сумел повысить психологический иммунитет от внешних раздражителей. Корчной, судя по всему, почувствовав это, заиграл нервно. Этим объясняются постоянные цейтноты, которые весьма преследовали его. В принципе сильнейший ход шахматист, как правило, видит сразу, все остальное время

он лишь доказывает самому себе преимущества этого хода перед другими. Поэтому четкость принятия решения — верный признак формы, в которой находится шахматист. Если он мнется, колеблется — значит, в его мышлении не все в порядке. Гроссмейстер, претендующий на мировое первенство, должен быть абсолютно уверен, что играет лучшим образом, что его шахматная программа, его видение позиции совершенны. И здесь преимущество Карпова было неоспоримо.

— Вы рискнули бы предположить, кто победит в следующем претендентском цикле и станет соперником Анатолия Карпова?

— Сейчас это сделать трудно. Круг соискателей достаточно широк. Я уверен лишь в том, что в претендентском отборе победит тот, кто обладает наиболее глубокой шахматной философией.

ГЕННАДИЙ ШВЕЦ

ПРИГЛАШЕНИЕ К БОБСЛЕЮ



«П» рисутствие близ трассы собак, даже если они на поводке, запрещается» — гласят правила соревнований по бобслею. А спортсмена эти правила обязывают непременно иметь при себе свидетельство, удостоверяющее группу крови.

С холодным грохотом боб несется по ледяному желобу. Умостились, пригнулись в кабине — только шлемы торчат — четверо рискованных парней. Второй и третий номера экипажа, предельно выложившиеся на старте, неподвижно сидят за спиной у рулевого, который меньше всех работал на разгоне и первым запрыгнул в кабину и который теперь, молниеносно принимая решения, ищет кратчайший путь к победе — заметим, что спуск длится примерно минуту! Но стоит рулевому (которого также называют пилотом), спрямляя траекторию, повернуть передние полозья на лишний градус, и боб сделает фигуру высшего пилотажа — «бочку»...

Я много раз прокручивал кинолентку, эпизод олимпийских соревнований Лейк-Плэсида: желтый боб шведов опрокинулся на вираже, пропахал бортом по льду, потом чудом снова встал на шасси, но один из гошников продолжал дальнейший путь к финишу уже отдельно от сотоварищей, колотил в отчаянии кулаками по льду, куда досада была сильнее боли...

А тормозами ведает тот, кто сидит последним, его так и называют — тормозящий. Но только в самом крайнем случае он решится чуть застопорить ход, до роковой черты надеется: а вдруг пронесет, не грохнемся... Дай бобсленам волю, они вообще отвинтят тормоза. Недаром их правила содержат и такой пункт: «Категорически запрещается снимать тормоза на тренировках и соревнованиях».

Сто лет назад на швейцарском курорте Санкт-Мориц какие-то удалыцы соединили ремнями пару обычных санок в одну упряжку. Получился управляемый спортивный снаряд, который разнообразил ощущения любителей катания с крутых гор. Американец Таусенд развил идею: скрепил сани общей осью, усовершенствовал руление. А в 1888 году швейцарец Маттис смастерил экипаж, который со стороны уже мало походил на санки: жесткая рама с парой подвижных стальных полозьев, рукоятки для первоначального разгона на бегу. Зимой 1903 года в Санкт-Морице была создана для боба специальная ледяная ложбина со множеством хитрых поворотов. А в 1924 году бобслей (заезды на двойках и четверках) был включен в программу первой Белой олимпиады. Наибольшее количество олимпийских медалей — 2 зо-

лотые, 2 серебряные, 2 бронзовые — у знаменитого итальянского бобслеиста Эудженио Монти, выступавшего на Играх с 1956 по 1968 год.

Современный боб соединяет в себе качества разнообразных механизмов — обыкновенных саей, гоночного автомобиля и даже самолета. За совершенствование этого снаряда берутся солидные фирмы, не связанные профилирующими интересами со спортом. Например, бобслейную команду ФРГ обслуживают «Оппель» и «Мессершмитт». На программу по созданию нового четырехместного боба они потратили полмиллиона марок, но при этом так увлеклись технической стороной, что великолепным образцом можно было лишь любоваться — он остался загадкой для четверки западногерманских гонщиков, они так и не смогли совладать со своим бобом на трассе Лейк-Плэсида.

Советские спортсмены оседлали боб и пустились в погоню за соперниками лишь весной 1980 года, а не за горами очередная Белая олимпиада, где впервые будет выступать наша бобслейная команда. Это и есть главная забота всех, кто причастен к новому виду спорта. Они часто собираются в Институте механики МГУ, где работает заместитель председателя Всесоюзной федерации санно-бобслейного спорта доцент А. А. Шахназаров. Здесь есть испытательный стенд, являющийся собой одновременно и небольшой тренировочный комплекс, на котором можно встретить членов сборной команды страны. Есть механизм со множеством датчиков, этакая карусель на саночном ходу, во время кружения испытываются разнообразные сплавлы, рассчитывается самый надежный, самый быстрый конек. Ученые и спортсмены составляют дружную команду.

Хотя я впервые пишу про бобслей, но могу похвастаться, что лично знаком с одним олимпийским чемпионом в этом виде спорта. И познакомился с ним еще в 1967 году. Правда, тогда швейцарец Эдди Хубахер был лишь средней руки легкоатлетом. Он приезжал к нам участвовать в соревнованиях на призы братьев Знаменских. Двухметрового роста добродушный парень толкнул ядро метров на 18. А через пять лет, зимой 1972 года, Эдди стал олимпийским чемпионом в составе швейцарской бобслейной четверки. Неожиданное превращение? Совсем нет — закономерное. Представляю четверку чемпионов мира 1977 года — бобслеистов ГДР. Пилот Майнхард Немер ранее выступал за сборную страны в метании копья, его личный рекорд говорит сам за себя — 81 метр 50 сантиметров. Второй номер — Юрген Герхард пробегал стометровку за 10,4 секунды — с таким результатом он мог бы стать финалистом Московской олимпиады. У его товарища Раймунда Бетте лучшее время в барьерном беге на 100 метров — 13,4 секунды. А тормозной Бернхард Гермесхаузен набирал в легкоатлетическом десятиборье 7534 очка.

На личности Гермесхаузена следует задержать внимание. Он долго сидел за спиной опытного Немера, беспрекословно повинувшись ему. Зная, что его называют «рюкзаком Майнхарда Немера», Гермесхаузен не стеснялся признаться: «Я стараюсь быть тенью моего рулевого. Радуюсь, когда мы безукоризненно проходим трассу. Но испытываю удовлетворение и в те моменты, когда мне случается повторить даже ошибки Майнхарда, они подтверждение того, что я прекрасно чувствую все движения и мысли моего друга». Пришло время, когда Майнхард Немер сказал своему партнеру: «Попробуй себя на месте рулевого. Не так уж долго мне осталось выходить на старт, и команде скоро понадобится новый лидер». И в Лейк-Плэсиде Гермесхаузен впервые выиграл золото как рулевой (на предыдущей Олимпи-

аде он завоевал две золотые медали, как член экипажа Немера и в двойке и в четверке). Бернхард Гермесхаузен лучшей тренировкой считает легкоатлетическое десятиборье. Особенно любит прыжки с шестом, которые, полагает, чем-то близки (может, по степени риска?) к ледовым гонкам.

Так что, когда тренер Спорткомитета СССР Михаил Михайлович Басов, рассказывая о наших новобранцах бобслея, называл имена, знакомые мне по легкой атлетике, я не очень удивлялся. Среди тех, кто был приглашен попробовать свои силы в новом виде спорта, был даже олимпийский чемпион в десятиборье Николай Авилов. Они собирались два года назад неподалеку от Риги. Здесь в школе-интернате работал преподавателем Роланд Рихардович Упатник-екс, успевший к этому времени уже достаточно поднабраться в бобслейной теории. Для начала пионеры нового в нашей стране вида спорта фотографировались всей командой на память, расположились перед объективом в несколько церемонных позах, повторяя классическую композицию групповых портретов минувших времен: один — в полный рост, другие присели на корточки, а кое-кто прилег, подпирая рукой голову. Снимавшиеся не без основания полагали, что эта фотография со временем будет иметь историческую ценность. Но в лицах уже угадывалось нетерпение: в центре композиционного построения поблескивал новенький боб.

Прекрасно содружество людей, начинающих неизведанное. У них есть свой язык, свои словечки, которыми они щеголяют перед непосвященными. Я уже слышал даже песенку, которую вовсю горланят бобсленсты: «Все сметая пред собой, катят вниз головой, из-под боба слышно: «Дима, ты живой?» «Не высовывайся, гад, опрокинешь, говорят, агрегат...» Участники того первого сбора тратили на стометровку меньше одиннадцати секунд, прыгали в длину дальше семи метров, вскидывали над головой стокилограммовую штангу. А потом, на горке, начались сплошные завалы. И некоторые матерые десятиборцы, наблюдая за опасными кувырками приятелей, благодушно возвращались под сень ласковых стадионов, где падения не чреватые нестерпимой болью.

Оставшиеся быстро научились хорошо брать старт. Да, стартовый разгон дается нашим гонщикам пока что лучше всего. На 30—40-метровом отрезке, катая перед собой боб, они достигают отменной скорости. Другое дело, как научиться использовать это начальное преимущество. Специалисты подсчитали: чтобы войти в мировую элиту, нужно 3—4 тысячи раз съезжать с гор разной крутизны и сложности. А это 5—6 лет тренировок. Однако за полтора года наши бобслеисты уже смогли приблизиться к лидерам. В январе 1981 года сборная СССР впервые участвовала в европейском чемпионате. Сергей Хайлов и Янис Ванушка заняли 13-е место среди 29 экипажей из 16 стран, советская четверка тоже была тринадцатой в итоговых протоколах. А через два месяца на чемпионате мира в Кортина д'Ампеццо наша двойка заняла уже девятое место, а четверка — восьмое.

Но не спешите, юнoshi, в бобслей, ибо заниматься этим видом спорта разрешено лишь с восемнадцати лет. Займитесь пока бегом или прыжками, подтяните тяжелестей или боксом. У вас есть в запасе время.



БОРИС ЛАСКИН

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Рисунки
И. Оффенгендена.



Музыка звучала мягко, неназойливо, а это всегда производило благоприятное впечатление на окружающих. Человек идет по берегу моря в ритме мелодии, что льется из его портативного магнитофона. Гремела бы музыка на полую железку, каждому понятно — человек желает привлечь внимание на то, какой он нестандартный мужчина в широкополой шляпе, в фирменных плавках и в темных очках. А так все развивается нормально — спокойно себе идет, слу-

шает музыку и радуется, что отгулял только три дня.

Обогнув бухту, заполненную галдящей ребятней, владелец магнитофона сдвинул на лоб очки и, найдя уютное местечко у полосы дюн, положил спортивную сумку, полотенце и посмотрел по сторонам.

Теперь время сказать, что перед нами был молодой человек по фамилии Тетерин, сотрудник столичного НИИ, проводивший свой очередной отпуск в благословенной Прибалтике, на Рижском взморье.

Итак, герой наш поглядел направо, налево и...

Буквально в нескольких шагах от него под палящими лучами солнца лежала стройная, коричневая от загара девушка в бирюзовом купальнике. Часть лица ее закрывали большие темные очки. Такие очки, как известно, имеют существенный недостаток. Не угадаешь, как вот и сейчас, то ли девушка таращит на тебя глаза, то ли дремлет и даже не подозревает, что привлекла пристальное внимание молодого человека.

Тетерин уселся на свое полотенце, порывшись в сумке, достал кассету, зарядил ее взамен первой, уже отзвучавшей, положил магнитофон на сумку и распластался на песке.

Было неясно, заметила ли девушка его появление и возню с магнитофоном, так как она не сделала ни единого движения, однако, что было совершенно очевидно, девушка не спала. Кончики пальцев ее руки, нацеленной в сторону Тетерина, плавно перебирали сыпучий песок.

Тетерин нажал кнопку «пуск», повернулся на бок и принял позу спящего человека.

«Прошу прощения. Вы не скажете, который час? — вежливо спросил магнитофон голосом своего хозяина и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Я понимаю, довольно примитивно так начинать знакомство...»

Девушка оставалась неподвижной, лишь пальцы ее продолжали перебирать песок.

Магнитофон сказал:

«Большое спасибо».

Это можно было истолковать двояко — или как простую благодарность, или как легкую иронию в ответ на молчание.

Между тем магнитофон исправно исполнял свою службу.

«Вам нравится Рижское взморье?.. Лично мне очень нравится. Потрясающий воздух, сосны, море... Колоссально сказал один мудрец: Прибалтика — это северное Черноморье, а Черноморье — это южная Прибалтика... Какой пляж! Сплошной песок... Вы молчите, я вас понимаю. Тут так хорошо и спокойно, что вам не хочется нарушать тишину... Мне кажется, мы с вами уже где-то встречались...»

После недолгой паузы магнитофон как бы подвел итог:

«Бывает часто, что молчание красноречивей всяких слов...»

Девушка сняла очки, села, щурясь от солнца, поправила волосы и, казалось, только теперь увидела магнитофон и его владельца, который, улыбаясь, смотрел на нее, надеясь на хотя бы безмолвную улыбку одобрения. Ведь это же неплохая придумка — магнитофону поручить хрупкую процедуру первого знакомства.

Тетерин нажал кнопку «стоп» и осведомился:

— Я вас разбудил?

Девушка кивком указала на магнитофон:

— На работе он тоже вас замечает или только на отдыхе?

— Работа — дело ответственное, — улыбнулся Тетерин и пожалел о сказанном, но было уже поздно.

— Я понимаю. В девятнадцатом веке вам бы помог говорящий попугай.

— После соответствующей подготовки.

— Под вашим непосредственным руководством.

— Само собой.

— С попугом вам бы пришлось потрудиться подольше.

— Что правда, то правда, — мирно сказал Тетерин. Начало сделано, беседа вроде бы завязалась. Шутливый тон девушки вселял некоторую надежду, что это столь оригинально начатое знакомство так же успешно продолжится. — Мы живем с вами в век больших скоростей... Меня зовут Вадим. Вас?

Девушка ответила не сразу:

— Наталья... Николаевна.

— А если проще?

— Тогда Маруся.

— Намек понят, Наталья Николаевна. Извините.

— Сами извиняетесь или магнитофон?

— Оба.

Девушка опять помолчала, вероятно, обдумывая, как себя дальше вести, и потом сказала:

— Вадим... как вас по отчеству?

— Сергеевич.

— Вадим Сергеевич... Мне страшно понравилась ваша смелая идея. Одолжите мне до завтра эту говорящую кассету. Я перепису ее на память... И мало ли, вдруг случится, что и мне некогда будет

самой познакомиться с человеком, и тогда в ход пойдет ваша запись, а все остальное приложится.

— Вам придется все это повторить своим голосом, женским.

Тетерин вынул кассету и вручил ее Наталье, как он уже мысленно ее называл.

— Мне приятно, что вы оценили мой эксперимент, который, так сказать, сближает людей и укрепляет коммуникабельность.

— В наше время это более чем актуально, — сказала Наталья, и Тетерин не совсем понял, шутит она или говорит серьезно.

— До завтра, — со значением сказал Тетерин.

— До завтра, — улыбнулась Наталья.

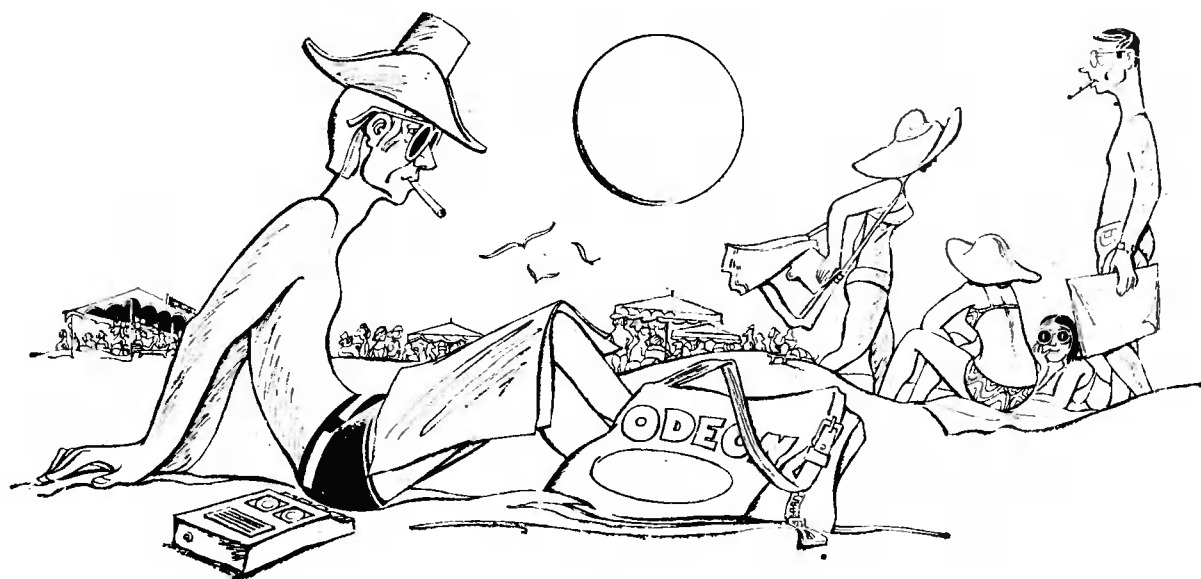
Открытая улыбка ее вие всякого сомнения была залогом новых встреч.

Прошел день, миновала ночь, и наступило утро.

Эта фраза, исполненная эпического звучания, вобрала в себя всю гамму чувств и размышлений, что охватили пылкое сердце и горячую голову Тетерина В. С.

Он явился на пляж раньше других соискателей стойкого балтийского загара. Студеная вода сперва обожгла его, а затем придала изрядный запас бодрости, в результате чего мечты его обрели вполне конкретные очертания.

Сейчас она придет, синеглазая, еще вчера недоступная. Она вер-



нет ему кассету, с которой все и началось. Они изовут друг друга по имени, без отчества и вдвоем уплывут далеко в море. И там он ей скажет: «Я благодарю судьбу за бесценный подарок, за то, что она подарила мне тебя».

Включив музыкальную запись, Тетерин лежал на еще прохладном песке, просматривая популярное приложение к вечерней газете «Ригас Балсс», где публикуются чаще застенчивые, а иногда и страстные предложения дружбы и любви, собранные под единым заголовком «Знакомства». На сей раз Тетерин ничего подходящего не нашел, да и, кроме того, ему предстояла встреча с той, которая станет ему подругой и спутницей на весь срок действия путевки, а возможно, и на последующий отрезок жизни...

Погруженный в мечты, он услышал негромкий голос:

— Доброе утро, Вадим Сергеевич!

Тетерин открыл глаза.

Перед ним стояла полная женщина. Ее круглое загорелое лицо излучало жажду общения.

— Здравствуйте. Садитесь,— сказал Тетерин и встал.

— Спасибо. Я на минутку.— Она достала конверт с кассетой.— Это вам просила передать Наташа.

— А где же она сама?

— Мы с ней сегодня уезжаем домой в Москву...

— Ясно... А вы что... ее старшая подруга?

— Соседка по комнате.

— Да?... А вы ее московского телефона случайно не знаете?

— К сожалению.

— Тогда все.— Тетерин сел на песок.— Больше вопросов не имею.

— Желаем вам хорошего отдыха, а также новых больших успехов!

Пропустив мимо ушей это искреннее пожелание, щедро одобренное иронией, Тетерин спросил:

— Наташа ничего не просила мне передать?

— Ничего, кроме кассеты. Привет!..

И она удалилась.

Тетерин мог ей сказать «до свидания», но не сказал. Пусть эта толстая соседка сообщит Наташе, что он остался один— молчаливый и даже отчасти убитый тем, что она не пришла.

Он приглушил музыку и демонстративно углубился в изучение газетной подборки «Знакомства».

Конечно, ему это следовало сделать чуть пораньше, на глазах у соседки, и та увидела бы, что он сумел взять себя в руки, и если Наташа не нашла нужным прийти, пускай теперь пеняет на себя: такие мужчины, как он, на улице не валяются...

Мимо Тетерина медленно прошли две девушки— длинноногие, складные, обе смеялись.

Пройдя несколько шагов, девушки синхронно бросили на песок свои полотенца. Это было совсем, как на ринге. Брошенное полотенце— знак капитуляции.

Бегло оценив обстановку, оправившись от удара судьбы, Тетерин извлек из магнитофона музыкальную кассету и поставил ту, что побывала в руках у Наташи. Он нажал кнопку «пуск» и сел.

«Прошу прощения, вы не скажете, который час?»— вежливо спросил магнитофон голосом Наташи.

Девушки обернулись. Странно— у молодого человека явно женский голос. Однако удивлялись они недолго— увидели магнитофон.

«Я понимаю, довольно примитивно так начинать знакомство...» Тетерин встал.

— Присмотрите за моей техникой. Я быстренько окунусь.

И он побежал к воде.

Девушки пересели поближе. «Большое спасибо!»— сказал магнитофон.

— Ой, это, наверно, радио,— сказала первая девушка.— Послушаем.

«Вам нравится Рижское взморье? Мне лично очень нравится. Действительно волшебные места. Чудесное море, прекрасный пляж. Все здесь хорошо и замечательно, но ужасно раздражают трепачи и пижоны. Большие они мастера рисоваться и морочить голову наивным, доверчивым девушкам... Вадим... я уже забыла ваше отчество... не стирайте эту мою запись. Если вы меня правильно поняли и хоть немножко устыдились, отдайте эту запись в местный радиоузел, пусть ее услышат все девушки, что отдыхают в Юрмале. Им это будет полезно услышать, а вам... вам, конечно, будет потрудней. Это все. А сейчас я сделаю маленькую паузу, чтобы представить себе ваше лицо...»

Девушки переглянулись.

— Современная пьеса на морально-бытовую тему,— сказала первая.

— По-моему, играет Алиса Фрейндлих,— сказала вторая.

«Вы молчите, да?— спросил

магнитофон.— И правильно делаете, что молчите. Бывает часто, что молчание красноречивей всяких слов. А теперь прощайте».

И магнитофон умолк.

— Интересно, что будет дальше,— сказала вторая девушка, а первая, немного подумав, поднялась навстречу Тетерину.

— Вот, ваша техника в целости и сохранности.

— Мерси, что в переводе с немецкого означает бонжур,— улыбнулся Тетерин.

Девушка не приняла шутки, и тогда Тетерин заметил:

— Я считаю, здесь не хуже, чем на Лазурином берегу.

— Это вы и есть Вадим?— спросила первая девушка, внимательно глядя на него.

— Да. А откуда вы это знаете?

— А мы догадались.— И она потащила за собой подружку.

— Постойте! Куда вы?..

— Пока, что в переводе с турецкого означает мерси.

Пожав плечами, Тетерин опустился на песок, перемотал кассету на начало, а затем с меняющимся выражением лица прослушал то, что вы уже слышали.

Стоял дивный летний день. Сияло солнце. Музыка звучала мягко, неназойливо, а это всегда производит благоприятное впечатление на отдыхающих.

Тетерин шел по берегу моря в ритме мелодии, что лилась из его портативного магнитофона. Гремела бы музыка на полную железку, каждому понятно— человек желает обратить внимание на то, какой он нестандартный мужчина в широкополой шляпе, в фирменных плавках и в темных очках.

А так все развивается нормально— спокойно идет, слушает музыку и радуется, что отгулял только четыре дня. Всего-навсего.



Ю. ПОДЛЯСКИЙ.

Трудные километры.

ЮНОСТЬ 2

Индекс
71120

Цена 70 коп.